



АСКАД
МУХТАР

**ЖОЛЖЕ
ШАД ОБРЫШОМ**

ПОВЕСТИ



Экспертизадан утказилди
УМКХ № 19.07.2006 йил

198-оқуғунидан асосан
Қўмағида раҳбар
Сиддикова Г.Т.
Абдулар

ПРОВЕРЕНО
сбс

Книга должна быть возвращена
не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдач _____

15.12-402 92

X

1988
0,95

Б.О.

А 2866

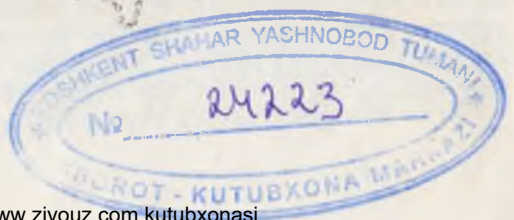
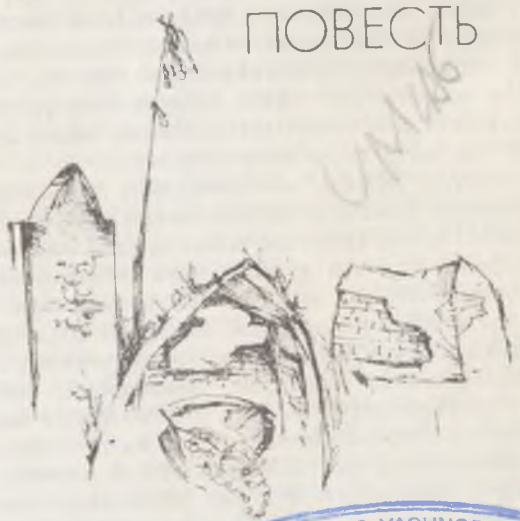
Л 1340



МОЛНИЯ НАД ОБРЫВОМ

ПОВЕСТЬ

2866



ВСТУПЛЕНИЕ

С годами память словно бы отцеживает пережитое. Чем дальше, тем она отбирает все жестче, но то, что сохраняется в ней, особенно фигуры людей, оставшиеся от детства, становятся лишь крупнее; сущность выявляется все отчетливей, так что, будь время и силы, о каждой из этих фигур можно бы написать отдельную книгу.

Я вырос в детском доме номер один в Фергане. Любому из моих сверстников-детдомовцев досталась не легкая и необычная доля, памятная навсегда; и облик каждого взрослого, приласкавшего сироту, врезался в душу. Но одного из таких людей, его удивительные рассказы о себе я вспоминаю особенно часто. Эти воспоминания я и хочу пересказать теперь.

Было ему, я думаю, лет пятьдесят пять — пятьдесят шесть: возраст, с мальчишечьей точки зрения, более чем почтенный. Но странно, он вовсе не казался нам стариком — просто, как мы думали, был он не очень молод. Может быть потому, что брил голову наголо и перепоясывался широким ремнем, который был предметом нашего восхищения. Или — не знаю почему. Звали мы его — Ахмедов-ака. Это был невысокий, невзрачный человек с низкой переносицей и обвислыми мясистыми ушами; носил старую гимнастерку, на поношенную тюбетейку наматывал, как чалму, поясной платок. Словом, ничего в его внешности не было особенного, но все мы, сироты, с малолетства ходившие по чужим дворам, только благодаря ему оседали в детском доме и терпеливо сносили холод и голод. Он отдавал нам душу.

Если нам доставалось вкусное блюдо, он с радостью

глядел, как мы яростно двигаем челюстями; если что-нибудь вызывало на лицах наших улыбку — он и сам расцветал. Он жаждал, чтобы мы все время хоть чему-нибудь радовались: новой одежонке, вкусной еде, заново придуманной игре, заинтересовавшей работе.

Ахмедов-ака не был воспитателем; будь он воспитателем, возможно, показалось бы слегка неуместным или шаблонным рассказывать о его внимании и любви к детям. Нет, он был простым завхозом, но свой хоровод вокруг него мы водили с такой неизменностью и силой привязанности, что иные воспитатели ему явно завидовали. Нас это, однако, не заботило.

— Дети — удивительные... — печальным тоном говорил иногда Ахмедов-ака кому-нибудь из взрослых. — Мы теперь уж не можем быть такими честными... такими сильными в чувствах. Не можем, и стараться нечего. Хватит, если отдаем им остаток дней. Лично у меня больших планов нет, что осталось от жизни — это им, и это благодаря им...

1. УЧИТЕЛЬ-НОГАЕЦ

Месяц сунбула еще не наступил, но утренние лучи уже ласковы и приятны. Рассвет, тишина, в большом дворе пусто, только в сарае, где хранится солома, негромко хрумкает ожеребившаяся вчера кобыла.

Мамат, пришедший с гор за одеждой для пастухов, сидел на солнышке, прислонясь спиной к почерневшей стенке тандыра. На кизьяках жужжали мухи, посреди двора валялся чугунный кувшин, на берегу водоема торчала короткая шерстка травы, корячился старый искалеченный тал; Мамат размышлял, глядя на все это, и ждал приказа хозяина, совершавшего в комнате намаз.

Ворота, что отделяли двор от улицы, со скрипом приотворились, и вошел учитель-ногаец. Мамат еще весной его видел, и теперь он был так же тощ и убог, в дырах штанин видны колени, на плечах переметная сума да мешок с хлебом, в одной руке — ящик, в другой — сверток, к поясу приторочен заколотый цыпленок. Башмаки латаные-перелатаные, клочковатая борода отросла, но глаза — как сливы.

Едва он вошел, один из мешков развязался; учитель никак не мог с ним управиться, с грузом-то на плечах: одно берет под мышку — другое падает; другое завя-

жет — третье развалится. Замучившись, он огляделся и увидел Мамата:

— Эй, курносый, помоги же!

Мамат выпростал колени из-под мешковины, что была на нем вместо рубашки, и, криво ступая чарыками, направился к учителю. Ногаец открыл где-то приют — открыть-то открыл, но пришел голод, власти не могли прокормить ребят; теперь он и другие учителя ходят по кишлакам, выпрашивая что придется во дворах побогаче — собирают сиротскую долю. Мамат приподнял сползавшую с плеча учителя переметную суму и поддел пеньковую веревку, которая связывала четыре угла тяжелого мешка. От маленького тела учителя пахло потом, кожей, сюзьмой, заплесневелыми сухарями. Повернув тонкую шею с выступающим кадыком, ногаец сказал, задыхаясь: «Молодец...» Мамат вернулся назад, сел на приступок айвана, спустил ноги.

Из михманханы вышел хозяин в накинутом на плечи почернелом суконном чекмене. Был он хмур — младшая жена, которую он ласково звал Бегим, умерла недавно во время родов, и теперь он старался избегать людей. Старшая жена, рано постаревшая и почти ослепшая, жила со служанкой где-то в глубине дома, он к ней и не заходил. Мамат знал это — как и все, что делалось в доме. Знал и то, что правители волости оставили хозяина в одиночестве: при подношении подарка какому-то сановнику бай не внес своей доли. Вот и ведет теперь праведную жизнь, как отшельник, и бессонницей страдает. А все его помыслы о двух отбившихся от рук сыновьях: один ушел с красными, другой — с белыми. Людей-то он сторонится, но едва стукнет калитка — набрасывает чекмень и выходит в надежде услышать какие-нибудь новости о пропавших.

— А, добро пожаловать, учитель... — сказал он. — Долю сиротскую собираете?

Только теперь учитель сложил свой груз на землю.

— Ох, — сказал он, — пуста округа, изобилие кончилось, да и честь у баев пропала... — На его освободившихся плечах видна была сквозь прорехи рубахи стертая до крови кожа.

— Сколько ж у вас там ребят?

— Сейчас триста девять, таксыр.

— Э-э-э... разве им хватит того, что у вас в мешках?

— Ну, хоть раз поедят... — Учитель сглотнул слюну; видно, и сам не ел уже бог весть сколько времени.

— Все мусульмане?

— Да-а... узбеки... киргизы... — Учитель даже подрагивал от усталости.

— Замучили вы себя, — сказал бай. — И зачем насобирали такую голодную ораву?

— Э, бай-ата... увидели бы вы их хоть раз! В тот год черный мор, знаете сами, как людей косил. Сколько сирот... сил нет глядеть.

Это Мамат помнил. Ураза припалась как раз на самую жару, на саратан; сперва унесло стариков. День пылал, и трудно было понять, от чего человек умер — от мора или жажды. Над кишлаком стоял вой. И сильных и слабых — всех косило одинаково. Разве отец Мамата похож был на обреченного? Силач, с семифунтовым кетменем на плечах ходил на поденщину, зимой таскал кирпичи на кирпичном заводе. Мать вопила над усопшим день и ночь — и сама испустила дух там, где сидела. Хоть и вопреки шариату, но положили обоих в одну могилу. Что ж было делать: один из могильщиков умер, другой сбежал. Кишлак опустел меньше чем за месяц. Одного Мамат не мог вспомнить: кто увел его оттуда за руку. С той поры он и знал только этого вот хозяина. Вместе с поденщиками, корчевавшими на земле бая пни, поел он кукурузной похлебки и остался здесь насовсем. Бай-ата хоть и был из тех, что не носят рубах из простой бязи и много чего накопил в сундуках, Мамата однако кормил не объедками: кто, мол, притесняет сироту, не заслужит хорошей жизни. Пригрел он мальчика, и Мамат, с шести лет пасший здесь коров, трудился без усталости. А сейчас ему вспомнился смутно его первый день здесь, и жалость к тощему, дрожащему всем телом учителю переполнила его.

Бай-ата вынес таз проса и высыпал учителю в мешок. У того тряслись руки.

— Приют-то ваш где? — спросил бай.

— В Симе, таксыр, в самом Симе.

Бай-ата покачал головой и, полуприкрыв глаза, глянул на Мамата. Мамат понял: «Далеко-о...» — и с готовностью нырнул в дом, вынес на подносе чай и лепешку. Учитель присел на краешек стула, выпил чаю, нерешительно повертел в руках лепешку — должно быть жалел ломать, — проглотил слюну и сунул лепешку в мешок с хлебом. Потом Мамат помог ему снова нагрузить все, продел под мышки пахучие ремни. Эти переметные сумы были слишком знакомы Мамату — их, полные собранными по дворам кусками сухого хлеба и пшенич-

ной каши, подпаски подчас неделями не снимали с плеч.

— А эти, ваши... все маленькие? — спросил он учителя.

— Все курносые, как ты... — на сразу вспотевшем лице учителя появилось подобие улыбки.

— Я тоже сирота, — сказал Мамат, как бы успокаивая. — Скот пасу.

Болезненная гримаса улыбки на лице учителя стала отчетливее.

— Твой бай-ата честь сохранил, — сказал он. — Уж не теряй тепленькое местечко, около скота не помрешь.

У Мамата отчего-то запершило в горле. Он поспешно сунул руку за пазуху, пошарил, вытащил общипанную с краев лепешку, приготовленную в дорогу, и протянул учителю. Тот какие-то мгновения глядел, словно раздумывая — брать или нет, потом быстро схватил, сунул опять-таки в мешок с хлебом. И тут же, отвернув лицо, пошел со двора. В клочковатых волосках на лице его что-то блеснуло — слеза, что ли?

Бай-ата и Мамат-подпасок сквозь незапахнутую калитку глядели ему вслед. Он шел и покачивался, как старый больной верблюд.

2. АЛИМ И ХАЛИМ

Мамат сочувствовал хозяину. Вот учитель ушел, следом и Мамат отправится. Подпасок сложил в свою переметную суму кукурузные лепешки, мешочек с солью, иголку и нитки для стежки ватного одеяла; чарыки и чекмень подвязал кусками веревки. Заждались его в горах! Он уйдёт, а бай останется один на один со своей горькой думой о сыновьях. «Салим-скотник», как его называли, что еще недавно мог всех в округе поставить навтыжку, сегодня не имел и единого собеседника, чтоб отвести душу. На старую жену в ичкари тошно было и глянуть: слепая-то слепая, а до сих пор подкрашивала усьмой родимое пятно на щеке, схожее с навозной мухой.

— Бай-ата, какие будут поручения? — сказал Мамат, тем самым испрашивая позволения отправиться в путь. Бай, в своем черном казахском чекмене и побитой молью шапке из сура, мрачный, как дождевая туча, сидел на сури.

— Слушай, Маматкул, может, пойдешь после пятни-

цы? — В голосе бая подспудно звучали почти просительные нотки. — Подмел бы, водой полил... и дом, и двор. В подворотне полно дорожных мух, а ведь, может, кто и зайдет...

Живая душа надеется. Сидит и думает бай-ата: авось да заглянет кто и принесет весть о сыновьях. Нет, он и впрямь не из тех кровососов, что изо всего и всех выжимают все новые толики богатства. Если и старается — так для детей.

И вот поход на пастбище снова откладывается. И босые бедняги в горах, дрожа от холода, будут клясть Мамата на чем свет стоит!

Сам-то Мамат не может стоять без дела ни секунды, и руки-ноги, и мысли у него — в непрерывном движении. Дом он подмел так чисто, что с пола можно слизнуть упавший кусочек масла. И двор тоже, и дорожку, ведущую в хлев, в подворотню. Потом сел на веревочный гамак и, грызя морковь, стал плести тростниковую корзину. Плетению его научил Халим, старший из байских сыновей. Халиму, кажется, и девятнадцати не исполнилось, но все-то он знает, приказывает только раз и неизменно добывается своего. Рука у него твердая! «Учись! — говорил он Мамату, показывая, как плести. — Это ремесло как раз для таких бездельников, как ты!» Стоило Мамату ошибиться, Халим брал вымоченную в воде тростину и бил мальчика по пальцам. А если корзина получалась все же кривоватая, растаптывал ее сапогами: «Вот так, вот так, вот так!»

Халим был страстным любителем коней и улака, ему принадлежали конюшня в Кушкургане, навесы для лошадей, где он укрывал от чужих глаз могучих, с широкими крупами карабаиров. Стоило пронестись вести об улаке — никто и ничто не могло удержать Халима в кишлаке. Он обожал славу, любил прислушиваться к встречавшим его шепоткам: «А байбача-то... приз получил...» — и отчаянно завидовал баям в обширных шубах, что сидели, как на троне, на квадратной супе и раздавали призы. Мечтал выращивать коней для улака и торговать ими. Утешеньем в зависти служил ему замечательный, красивый, легкий, словно олень, скакун. Оседлав его, он будто сам садился на трон! Зажимал в зубах камчу и носился по округе, как ветер. Но однажды он приехал с пятазарядной винтовкой за плечами, с пулеметной лентой через плечо, соскочил с коня и больше не промолвил об улаке ни слова. Помрачнел, стал неразговорчив,

иной раз привяжет любимого коня — и давай хлестать! Или к отцу привяжется — да так грубо:

— Вы знаете, что это все — уже не наше?

— Что не наше, сынок?

— Да все! Все это богатство... имущество... надежды наши, наша жизнь!

— Как же так, сынок?

— Не знаете, значит. Что у таких баев, как вы, с душком, все отбирают, а самих — в ссылку?

— Кое о чем слышал... а что делать?

— Падать! — орал Халим. — Падать, как скот на бойне!

Однажды он сел на скакуна и исчез. Вскоре дошел слух, что Халим — в басмаческой банде.

Брат его Алим, должно быть, ни о чем этом и слыхом не слыхивал: он уже давно уехал на учебу в Джелалабад. Сперва все ходил в соседний кишлак, к снимавшему там угол учителю; тот, видно, и сбил его с пути. Из города он присылал письма, в которых мало что можно было понять: то якобы уже поступил учиться, то снова собирается поступать. Алим был парень грамотный, начитанный и выглядел вовсе не как большинство недоростков из медресе: крепкий, выше брата ростом, и на вид куда старше своих семнадцати. Когда Халим скрылся из дому, бай стал вдвойне беспокоиться о младшем. Сплоховал, говорил он, надо было обоих женить, наделить имуществом — «на цепь посадить». И тут пришло от Алима новое письмо, да такое — хоть стой, хоть падай: записался в Красную гвардию! Показывает судьба фокусы: одного же отца дети.

У бая ни к белым, ни к красным душа не лежит, он только за сыновей болеет, а что делать — не знает: хоть пополам разорвись! И вроде не стало ему дела до хозяйства, только коран читает да поминает покойницу младшую жену. Но вдруг найдет на него — продаст оптом косяк отборных коней из табуна! Конюхи разбежались; под навесом остались только скакун для улака да лошадка для арбы. В хлеву была пара быков, так они ранней весной околели на скотном дворе — не нашлось человека, чтоб зарезать их живьем! Теперь три загона в горах тоже в опасности; как бы хозяин не надумал продать овец да сунуть денежки в сундук.

В один из таких смутных дней закудахтала за навесом пепельная курица. Там, в конце усадьбы, широкий хлев,

рядом курган, обнесенный стеной, а дальше — глухие холмы... Кто бы мог прийти с той стороны?

Оказалось — Халим. В длинном халате, с двойным поясным платком, под халатом патронташ в два ряда, у пояса кинжал с ручкой слоновой кости — басмач и басмач. Задыхаясь, он обнялся с отцом, потом огляделся по сторонам.

— Пришел?

— Кто?

— Алим! Кто...

— Н-нету...

— Где он?!

Бай растерялся, испугался. Вот тебе и радость — сын пришел!

— Н-не зна-аю... — пробормотал он.

— Как не знаете?! Почему не знаете?! — Халим орал, лицо у него было красное.

Мамат подумал: он сейчас и не видит, кто перед ним — отец, не отец, — ему Алимджан нужен! Даже не спросил про мать, не выпил горячего чая, хоть из приличия.

— Если вернется — свяжите и запирайте в кладовке, приду и сам порешу! Коли выпустите — не увидите больше и тени моей!

Даже не попрощавшись, поспешно пошел, откуда появился. Послышался топот коня, за курганом поднялся столб пыли, словно дым из хумдана.

Бай совсем раскис — как перестоявшее тесто.

Весна наступила, ожил и забеспокоился дехканин, а тут у него даже палисадник не вскопан, все поросло бурьяном. Однажды, когда тополя сбросили сережки и в арыках потекла мутная вода, снова в усадьбе застучали копыта. Бай в надежде и страхе увидеть сыновей выбежал на порог — и встретил незнакомцев. Трое на конях, все молодые красивые джигиты в новых бекасамах, свежих бобровых шапках... Похоже, соратники Халима. Бай пригласил их в дом, а Мамат по его знаку быстренько принес поднос с едой. Но они к еде не притронулись.

— Откуда вы, джигиты почтенные?

— Кони нужны, бай-ата! За конями приехали! — Это ответил самый красивый из троих, с богато вылепленными бровями и в пышных усах.

— А-а, кони... коней у нас нет, джигиты.

— Не-ет? — усатый с усмешкой поглядел на спутни-

ков. — Если у вас нет, у кого ж есть? Или... или, может, все Красной гвардии отдали? А ?

Второй, рядом, тоже скривился в усмешке:

— И неудивительно: сына не пожалел для красных, разве коней пожалеет!

У бая, видно, горло перехватило.

— Мой... мой сын...

Усатый яростно хлестнул камчой по голенищам своих сапог.

— Да знаем мы вашего сына!

Мамат поглядел на него, и ему показалось, что это уже не тот красавец, что увиделся сначала: глаза его налились кровью, лицо исказилось. Бай попытался снова что-то сказать:

— Мой... мой старший сын...

— Ваш старший сын нам и велел — выводите коней!

При этих словах в бае словно бы что-то отмякло.

— Поверьте, джигиты, коней давно... давно продали.

Но тут усатый моргнул третьему, худощавому, с простым лицом. Этот соскочил с коня, прошел на задний двор и несколько мгновений спустя вывел обоих оставленных на черный день карабаиров. Он вел их, лаская, как своих.

— Все?!

* — Все. Однако... — сказал худощавый и по-пастушески поцеловал скакуна в блестящий круп.

— Эй, бай! — издевательски сказал усатый. — Что приуныли из-за двух-то коней? Мы же вас от большевиков защищаем!

— Он махнул рукой, его спутники привязали карабаиров к лукам своих седел, и все умчались. Бай, казалось, утратил дар речи. Только когда пыль рассеялась, его вдруг прорвало:

— Нечестивцы... нечестивцы! Берите, подавитесь! Не зря вас... не зря вас зовут басмачами! Всех давите!

Мамат прятался у ворот, на глаза его навернулись слезы: то ли коней жалко, то ли бая. Он и сейчас, сплетая вымоченные тростинки, невольно вытер глаза.

3. СНОВА КОНСКИЙ ТОПОТ

Ни на что не похожа краса горных пастбищ! Над тобою неохватное взором небо, и вокруг тоже — неоглядный простор с дымчатыми закраинами дальних вер-

шин, а в тебе самом — воля без конца и без края; только тебе подчинен целый загон скота. Хочешь — беги до границ света, хочешь — валяйся весь день, гляди ввысь да пой свое «куррей-куррей», а вечером, когда потемневший купол расцветится бессчетными узорами звезд, веселись с пастухами и подпасками, жуй хлеб с сюзьмой, пей заваренный из кожицы джиды ароматнейший чай с легким запахом дыма или под тихое пение черного кумгана на огне сиди у костра, раздумывая о чем-то неясно-прекрасном, а когда наконец сморит сон, явятся тебе тонкостанные девушки в нежных одеждах.

Пятнадцать дней привольно жил Мамат на пастбище. Но пастухи, чуть что, именно его посылают к хозяину — знают: бай ему ни в чем не откажет. «Езжай привези ваты! Съезди попроси две кошмы!» Мамаг не отказывался, он легок на подъем. И хотя с виду он совсем неказистый — мало того, что курносый, так еще и рябой, толстые губы на плоском лице, сам тощий, — все, от бая до батрака, остро чувствуют и присутствие его и отсутствие.

И на этот раз посылали его в кишлак с поручением, а он опять оказался очевидцем скандала. К колям за курганом привязано было десятка полтора коней, там и сям раскиданы седла: ржанье, нерекрикиванья, всадники подъезжают, уезжают. И в доме и во дворе полно народу, стоят группами; в михманхане кто-то зажигает фитиль, надевает стекло лампы, и при свете становится виден другой, он втягивает дым из чилима. Двор захвачен чужими, и они распоряжаются здесь. Может, Халим с дружками? Но его не видно, и бая тоже.

Сильно обеспокоенный Мамат не решился пойти в дом, да и убраться ни с чем восвояси счел неудобным; оглядевшись, он по столбу навеса полез на крышу. Там, под прикрытием прошлогоднего сена, прошел к крыше хлева, перебрался на крышу «людской» и улегся на чердаке. Он даже похвалил себя, что так здорово придумал: здесь, в пространстве меж крышей и дряхлым потолком, место было на редкость удобное, и весь разговор «гостей» слышен, и видно всех, кто входит и выходит, а тебя, если быть поосторожнее, никто вовек не заметит.

Потолок обширной комнаты, где ночевали раньше батраки, был дыряв, а некоторые места между полукруглыми закопченными балками и вовсе ничем не крыты. В последний год в «людской» держали молодой клевер

для новорожденных телят и ягнят да прятали от снега и дождя большие деревянные кровати. Они теперь завалены ароматным сеном. На сене восседает безбородый мужчина, он с шумом тянет чилим да изредка отдает пронзительные приказания входящим и выходящим. Должно быть, во дворе закололи и жарят барана — аромат подсушенного клевера перебивается волнующим запахом жареного сала. А из михманханы, что дверью сообщается с «людской», доносится приятный и почти не умолкающий мужской голос. Правда, говорящий то и дело прочищает горло, как бы давая себе передышку или набираясь сил.

— Смиритесь с судьбой, бай-ата...

Ого! Бай-ата! Значит, бай здесь, в михманхане!

Мамат наострил уши. Должно быть, сидит на пороге или, нет, скорей в каком-нибудь углу, посеревший, невзрачный, со склоненной головой, как все последнее время. А приятный голос увещевает, обступает его со всех сторон.

— Смиритесь с судьбой, это не мы сделали, чтобы люди относились друг к другу, как кошка к собаке, а они, ихние вожди. Вот ваш меньшой сын, он теперь без конца твердит «изм-пизм», а потом будет убивать людей или сам погибнет.

Отсюда, сверху, голос представлялся Мамату округлым и мягким, как ватный мяч, который безжалостно загоняет бая в угол. Вдруг ровное течение приятного голоса прервал другой — грубый, чавкающий — видно, говоривший уплетал мясо. «Что за чушь!» — буркнул грубый голос. Бай никак не отзывался. Приятный голос снова откашлялся и продолжил:

— Мы шагаем по крови — а за кого? Да, за кого? За вас, бай! За землю нашу, за нашу честь! А от вас не дождешься и двух приятных слов.

Тут только вступил голос бая — тусклый и отчаявшийся:

— У меня ничего не осталось, мусульмане.

— Прячете...

— Но вы же видите...

— Мы видим! — вдруг заорал грубый, перестав чавкать. — Мы ви-идим! Ну-ка, поклянитесь, что, кроме этих денег, у вас ничего нет, — тогда поверим!

И что-то упало на ковер. Коран, должно быть, баю кинули. Что же там делается? Мамат даже дышать перестал, вслушиваясь. Тишина давила. Потом что-то

стукнуло, стук повторился — глухой такой: тук-тук, тук-тук... Где это — во дворе или снаружи?

— Э! — сказал вдруг приятный голос. — А не замурована ли здесь ниша? — И снова «тук-тук, тук-тук», только звук уж совсем тупой. Оказывается, это в михманхане стучат.

Чилим клокотал точно под тем местом, где лежал Мамат. Потом в соседней комнате что-то обвалилось, посыпалось. Слышно было, как люди вскочили на ноги и следом отворились обе створки двери из михманханы в «людскую», оттуда со звонким смехом вышел рослый худощавый молодой человек. Видно, тот, с приятным голосом. На голове белая баранья шапка, в руках небольшая, присыпанная пылью полукруглая шкатулка с черной инкрустированной крышкой. Да это же «дуржи-бекунж», догадался Мамат: та самая шкатулка, о которой рассказал ему как-то вечером байский конюх. Никто не ведал, что бай в ней держит, где прячет. Знали только: захлопнется крышка — никому, кроме хозяина, ее уже не открыть.

Человек со шкатулкой присел на край сури, все к нему нагнулись — и безбородый с чилимом, и коротконогий толстошей пузан, который вошел чавкая, так что Мамат сразу признал в нем обладателя грубого голоса, и другие: кто-то поднес факел, но молодой курбаши только ткнул под крышку кончиком ножа с таким видом, словно занимался этим ежедневно, — и крышка со звоном откинулась. Все разом замолкли, даже дышать перестали: шкатулка была полна золота, алмазов и других драгоценных самоцветов!

— Что за чушь! — сказал наконец грубый пузан. Его бессмысленная реплика ко всему подходила.

Молодой держал шкатулку обеими руками, как касу с лагманом; пузан сунул туда волосатые пальцы, вытащил коралловое украшение и уставился на него.

— Вот это насобира, скупердяй!

— А еще говорил: ничего нету! — крикнули сбоку. — Клятвопреступник!

Принялись поносить хозяина, словно самого его и близко не было.

Тут Мамат и увидел бая. Бледный, обвисший, будто из него выпустили воздух, он вошел и прямо у двери опустил на колени.

— Уважаемые! Все это... это честно заработано... надеялся построить... новый дом... женить сыновей!

В ответ на последние слова грянул хохот, от которого затряслась вся «людская», но бай словно не слышал.

— Братец, милый... — говорил он в отчаянии, подползая на коленях и протягивая руки к молодому курбаши. — Вы же ровесник моему сыну... пусть всевышний дарует вам долголетье! Не разоряйте меня, старика... не берите грех на душу... Приготовлю угощение, гуляйте хоть до утра.

Они все снова захохотали, но едва курбаши открыл рот, замолкли.

— Угощение? — переспросил тот. — Угощение — это хорошо. Буза есть?

— Есть! Есть... — торопливо сказал бай и с надеждой поднялся на ноги. — У Шади-узачи всегда есть... тут, на углу. Я сейчас...

— Не надо, мы сами разыщем!

Бай замер. Курбаши сделал знак пузану:

— Э-гей, бери моего коня, лети к беку и скажи: все вышло, как он сказал, приедут, мол, завтра.

— Что за чушь! — рявкнул пузан, играя плеткой.

— Скачи... коня не жалея!

Пузан еще раз жадно глянул на богатство, вываленное из шкатулки на платок, и выскочил из «людской».

Курбаши, не трогаясь с места, горстями сложил драгоценности обратно в шкатулку: золотые кольца, сережки с подвесками, браслеты с изображениями бараньей головы, ожерелья, броши, золотые кругляшки монет; сверху положил кораллы, закрыл крышку — она слабо щелкнула. Курбаши поднял шкатулку, подержал ее в руках, словно взвешивая, и снова опустил на сури. Напряженное лицо его прояснилось: видно, тяжесть шкатулки его ублаготворила.

— Джигиты! — сказал он громко. — Сегодня ночуем здесь. Пировать будем, бузу пить будем!

Все в комнате как-то обрадованно и несыто загудели, заворчали. Курбаши поднялся, оставив шкатулку на сури, взял бая под руку и втокнул в михманхану, захлопнул за ним двери, повесил невесть откуда взявшийся замок, и снова потек его приятный голос:

— Только до утра, не посчитайте за обиду, бай-ата, сами понимаете, иначе не заснем спокойно. А сыновья ваш... не убивайтесь вы о них, хе-хе... скоро они пере-режут друг друга и избавят вас от волнений! Вот так! Не горюйте.

Старое помещение для батраков было ветхим, но

№ 24223

оказалось весьма подходящим для ночной попойки. Над дверьми и еще на двух стенах для торелы факелы, широкие деревянные кровати устланы клевером, у очага посередине — большой почерневший кувшин, глиняные касы, два чилима. Чуть погодя принесли бузу в кожаном мешке, холодное вареное мясо, завернутое в скатерть, лепешки. Джигитов было человек десять; они составили в углу пирамидку из винтовок, кое-кто сбежал на коней поглядеть, потом все расселись — кто на кроватях, кто у стены, просто на снопах клевера — и принялись тянуть бузу. Просторная комната заполнялась дымом — от факелов, очага, чилимов. Компания быстро пьянела — от бузы или от сознания свалившейся на них удачи?

Мамата, лежавшего наверху, дым и вонь доводили до одурения, но он больше всего боялся, как бы в сено не завалился горящий уголек. Эти пьяницы схватят свои пятзарядки и давай бог ноги, а бедный бай, посаженный под замок, сгорит заживо! Да и Мамату несдобровать — ведь придется поневоле себя обнаружить. Но он-то уж как-нибудь, а тому, несчастному, и теперь, небось, кажется, что он в темной могиле, как бы и впрямь до утра чего-нибудь над собой не натворил.

4. ПРОКЛЯТЫЙ ЯЩИК

Хорошо, что они так шумели в «людской». Зато, когда опростали кожаный мешок, когда один свалился набок, другой стал зевать и потягиваться, третий осоловело прислонился к стене и разговор начал сходить на нет, положение Мамата осложнилось: сено колетса, а пошевелиться нельзя, лежи как истукан. К черту любопытство, надо было спускаться и бежать, пока шум стоял!

Дальше — хуже. Все утихло, только иногда слышался храп да шорох сена. Огонь в очаге почти затянуло золой, факелы тоже потухли. Глаза Мамата не отрывались от щели в потолке. Как раз под ним, на сури, лежал курбаши; прежде, в общей суете, Мамат и не заметил, как тот сунул шкатулку себе в изголовье, но теперь, когда все смолкли, курбаши снова вытащил шкатулку, завернул в свой чекмень и положил рядом, в высокую нишу, прикрыв сверху сеном, потом подпер палкой дверь, сунул под бок кинжал — и жст. Заснул так уж много, да и Курсатни ХХХ

ХАМЗА МАШИНИ ХИЗМАТ
КУРСАТНИ ХХХ
БОБОРА БЕСУРС
128800

нелегко, небось, уснуть рядом с такими сокровищами. Лежал он, по крайней мере, неподвижно. Наступила тишина, душная и давящая. У Мамата затекло все тело, то тут, то там ныло и чесалось, но он боялся дышать, не то чтобы пошевелиться. Еще хорошо, что на нем мешковина! Сон стал подкрадываться, клеить веки — да ведь не приведи господи заснуть. Захрапишь или чихнешь — коней, стащат за ноги и как пить дать повесят — тут же ящик, полный золота!

Мамат затаился, а чтобы облегчить себе неподвижность, позволил на мгновение закрыться векам... и задремал! Впрочем, как ему показалось, он тотчас и пробудился. Который час, он не знал, но по какой-то особой глухо установившейся тишине заключил: полночь. Глазам снова пришлось привыкать к темноте. Он осторожно повернул голову — рядом с ним еле-еле пробивался тусклый свет. Что за черт! Он долго глядел, прежде чем сообразил, что это в очаге какой-то уголек разгорелся, а наверху, рядом с Маматом, дыра в потолке, едва прикрытая соломой. Где же эта дыра — далеко от стены? И тут душа у него ушла в пятки: ведь дыра почти над самой нишей, куда курбаши положил шкатулку! «Ну, лежи тихо!» — сказал себе Мамат. Он представил, что ящичек совсем рядом. Вот ведь бог покарал! А может... может, и не карал вовсе?

Страшно было думать, что все — басмачи и сокровища — так близко! Колотящееся сердце, казалось, ощущимо сотрясает воздух. Надо поразмыслить! Успокоиться и поразмыслить. Долго лежать здесь опасно, торопиться — еще опасней. Как же быть? Спасительные выдумки не приходят, в голове шумит, каждый шорох сена — как горный обвал. Внизу, слава аллаху, кто-то начал храпеть, сперва потихоньку, потом все громче, все оглушительней. Воспользовавшись этим, Мамат слегка пошевелил правой рукой. Если при каждом взрыве храпа он будет чуть-чуть продвигать руку, то сможет очистить дыру, откуда пробивается свет. А там... Ну, там, разумеется, станет виднее! Он чуть не хихикнул. И мысленно выругал себя — тоже, развеселился!

Дело оказалось не слишком трудным. Храпун совсем разошелся, стал еще и бормотать во сне, ворочаться. Мамат испугался даже, что он других разбудит. Но сам пока что под скрип его кровати успел отодвинуть сено и, вытянув шею, глядел вниз. Под сеном, из-под

полы чекменя, поблескивал черный лакированный бок шкатулки.

Та-ак! Теперь бы только успеть до рассвета. Нельзя уйти отсюда без этого драгоценного ящичка. Собственно, когда он это решил? Только что еще и мысли ведь такой не было! Ну да ладно. Решил — так тому и быть. Надо ведь проучить этих грабителей, что мучили невинного человека! А потом что будет? Э, пока лучше не думать. Еще шкатулку надо достать!

Тело у него горит, из носу течет, высморкаться — и думать нечего. Он осторожно утер нос рукавом и стал тянуть руку к шкатулке. С каждым вздохом — на длину ладони. Если кто не спит, подумает — крыса шуршит. Но что это он затеял? Дотянуться до шкатулки — надо же самому наполовину просунуться вниз, в дыру! Ладно, попробуем еще! Не успел он потянуться, кто-то внизу как закричит: «Руби саблей!» У Мамата чуть сердце не разорвалось от испуга, он замер, как ящерица на камне, и руку не втянул — так и повисла с потолка. Уф-ф... видно, все тот же храпун бредил. Сосед поднял голову, сказал со сна: «Чтоб ты сдох!» — и снова тишина, взрываемая храпом.

Мамат, однако, долго не мог успокоиться — лежал весь в поту, сердце колотилось, как муха о стекло. Проклятый ящичек! Не блестеть бы тебе, как черная змея, сгореть бы к черту! «Достану — сожгу со всем золотом!» Хотя, нет, глупо: жизнью не дорожить, только б достать, — разве сожжешь? Надо возратить бедняге баю. Сидит там, запертый под замок в пустой михманхане с разрушенной нишей, и думает свою горькую думу о сыновьях.

Отдышавшись, Мамат полез дальше. Не будь сена, как было бы просто! А ведь он, дурак, летом сам его сюда натаскал. Вспомнишь — зло берет. Но кто ж знал? Э, хватит думать черт-те о чем — сейчас все мысли должны быть в руке, в пятерне. Кончики пальцев, оказывается, такие чувствительные бывают... как нос у собаки. Вот ворот чекменя... вот... нет, пустота... вот! Сердце Мамата екнуло: под пальцами очутился холодный гладкий бок шкатулки! Все свои силы Мамат передал пятерне. Стронуть бы с места! Ох! Шкатулка выскользнула из чекменя неожиданно легко. Но как теперь ее из сухого сена вытащить? Рука дрожит. Не то он устал, не то волнуется. Та-ак... только б не вырвалась... тогда — все... конец.

Он едва помнил, как удержал ее, тяжеленную, в пальцах правой руки, как втянул себя обратно на чердак. Снова лежал неподвижно, чтоб отдышаться. Потом стал думать. За пазуху сунуть? Тяжела, выскочит. Завязать в поясной платок да за собой волочить? Сено так зашуршит, что не только эти — вся округа проснется! Выходит, самое трудное впереди. Выбраться с чердака — всего-то пять-шесть шагов сделать, а попробуй сделай...

Мысли Мамата крутились упрямо и безостановочно, как мельничные жернова, — недаром с выпуклого лба ручейками тек пот. Есть выход! Он будет держать ящичек обеими руками и тихонько перекатываться. Медленно-медленно, как солнышко на небе. Сколько потребуется времени на путь в шесть шагов?

Но тут случилось то, чего он никак не ожидал. Кто-то заколотил в наружные двери или ворота, и грубый голос пузана завопил:

— Что за чушь! Эй, открывайте!

По голосу ясно: он свое сделал.

А Мамат? Ему-то до своего ой как далеко! Теперь все проснутся, и курбаши, чуть очухается, первым делом протянет руку к нише. А в нише пусто. Конец, нет избавления! Разве что выбросить шкатулку? Так ведь и его сразу найдут!

Внизу и впрямь стало шумно, кто-то открывал гонцу двери, кто-то стонал от головной боли и смачно ругался, кто-то, зажав в руках комок сухой глины, собирался в отхожее место, кто-то мурлыкал песню, искал угли для чилима.

И вдруг страх Мамата прошел и в голове прояснилось: да ведь сейчас самое время встать и убежать! В таком шуме никто ничего не услышит, хоть пляши на потолке. Конечно, станешь действовать на авось, но разве есть другой выход? Сейчас или...

Он даже не успел додумать — вскочил, туго завязал груз, сунул под мышку, на коленях вылез из чердака и с крыши хлева прыгнул прямо в кучу навоза. Оттуда перелез через забор в загон, дальше, по грядкам огорода, вышел к краю усадьбы, не оглядываясь, вытащил свое сокровище и сунул под каменную кормушку. Сверху набросал навоз, притоптал чарыками — и все так же, не оборачиваясь, зашагал по дороге. Поле, поросшее по краям тамариском и сизолистым тополем, пряталось в тумане, но рассвет уже начался.

Теперь — прямиком на пастбище!



Он так стремился на вольный простор, словно выбрался из душного ада. Так оно и было! Чарыки Мамат перебросил через плечо и, ступая босиком по мокрой росистой земле, ощутил себя свободным, сильным... словно не мыкался ночь без сна, а всласть отсыпался. Дышалось полной грудью, в мыслях совсем просветлело. Да, уж повезло ему, как и в семи снах не приснится! И ведь ничего не задумывал, все сделалось само. Удивительно, как только хватило хитрости и бесстрашия! А этих-то... этих кровавых бездельников... как их проучил! Вот бы поглядеть, что они там делают! Но тут же он от этой мысли поежился. Нет, лучше уж быть подальше. Наверняка схватились за ножи, обвиняют друг друга. Или, может, бая? Да нет, бай ведь под замком! Хоть бы они все друг друга поубивали. Не найдут ящичек, хоть с собакой ищи. Лежит ихнее золото в трухе, под навозом. Там ему и место! Не для себя его Мамат брал, нужно больно... грязным штанам да золотая сорочка! Тьфу! Нет, пусть только все затихнет — и вручит Мамат эту проклятую шкатулку самому баю.

5. ЯГНЕНОК-СИРОТА

Дня три-четыре спустя Мамат по какой-то надобности снова отправился в кишлак, да ему и не терпелось обрадовать бая. Небось, лежит в пустом доме и ноет. Зато какой сделается у него вид, когда Мамат вручит драгоценную шкатулку! Вот будет здорово! Очень уж простой он человек, бай Салим. Ведь потому и прозвали его «Салим-скотник». Не из-за одного скота: «чорва» — значит и «скотник» и «простак». Взять хоть бы тогдашнюю ночь: просидел ее без толку в запертой михманхане. Что ж там, оконца не было, дыры, щели? Да хоть бы стену пробил, шум поднял, людей позвал. Имущество-то ведь твое! Нет, покорился... как баран, которого стригут. И хотя в ту ночь Мамату это тоже не приходило в голову, но ведь сам-то он, Мамат, даром что мальчишка, сумел обдурить насильников. Вспомнишь — и до сих пор душа радуется! А может потому и обдурил, что мальчишка, они о нем и не подозревали? Ну, так ли, сяк ли, а он свое сделал.

Мамат невольно улыбнулся. Тропинка, уходящая зигзагом по солнечному склону горы и знакомая ему, как собственные чарыки, сбегала к лоскутным полям внизу, к

подвядшим, но еще густым, не тронутым осенью тутовникам. Лето на исходе, но долина по-прежнему полна зеленой жизни: кажется, глядит на Мамата и улыбается, как на собственное вернувшееся дитя. Он же здесь вырос, и помочь кому-нибудь здесь в такие тяжкие времена — радость. После трехчасовой дороги он на этот раз не чувствовал никакой усталости.

Дойдя до усадьбы, Мамат пополз на коленках по высохшему пруду, в тени спадающих с дувала виноградных лоз. Со стороны дома не доносилось ни звука. А все же надо сперва разузнать, что там и как. В сторону каменной кормушки он даже не глянул, хотя, когда проползал мимо, сердце так и забилося.

Вроде, действительно тихо. Он поднялся, огляделся, вошел во двор. Никого. Но, распахнув двери бывшей «людской», замер: там словно неделю буран бушевал! Котлы перевернуты, сено раскидано, двери вырваны, окна разбиты. Искали как следует! Хорошо — не подожгли!

В дверях, ведших в михманхану, показался Салим-бай. Он брел не глядя, как удрученное привидение — истощавший, в болтающемся белом бязевом халате, глаза на осунувшемся лице ввалились, даже бородка вроде съезжилась.

— Бай-ата... — сказал Мамат.

Бай поднял глаза, увидел мальчика — и весь затрясся:

— Это... это ты, нечестивец?! Ты где пропал? — закричал он неестественно обиженным голосом, и вдруг заплакал.

Шайтан, что ли, подменил бая? Никогда хозяин так с ним не обращался! Бай проглотил слезы и заговорил тем же тоном:

— Правду, видно, говорят: кто родился от пса — в жертву не годится! Твоего бая-бобо ограбили, разорили, а тебе и горя мало: столько дней не показываешься! — Бай перешел на крик. — Когда не нужен, так и вертишься под ногами, чтоб тебе молодым помереть! Воспитай ягненка-сироту, рот и нос твой будут в молоке, воспитай мальчонку-сироту, рот и нос твой будет весь в крови. Ох, проклятье на могилу твоей матери!

Бай замолк, горестно качая головой: видно, запал кончился, Мамат понял: баю надо излить на кого-то свое горе. Но и у него, Мамата, есть гордость — пусть и ничего больше нет. Упреки бая пронзили его до кости. Он-то старался, жизнью рисковал, всю ночь мучился, пока

бай смиренно сидел в михманхане, — и спас ему шкатулку. Тут ему пришло в голову, что, выложи он вот сейчас шкатулку да отдай — все бы тотчас переменялось! Выходит, дело в шкатулке, а не в человеке? Ему, Мамату, этот поганый ящичек со всем добром и на понюх не нужен, ему бая-ата жалко было. А баю... Нет, надо подумать. Подумать надо!

Мамат принялся подметать двор и дом, вытаскивать мусор, битый кирпич, обломки битой посуды и дерева, а сам воображал, как тут все было после его бегства.

...Курбаши, едва глаза продрал, сразу, конечно, протянул руку к нише. Клад исчез! Меж пышных бровей курбаши разом вырос бугор. Он вскочил и уставился на спутников:

— А ну, — проговорил он грозно, — кончайте шутить!

Джигиты глядели, ничего не понимая. Не проснулись толком.

— Я кому сказал — кончайте шутить! Со смертью играете!

До пузана дошло до первого.

— Что за чушь! — буркнул он испуганно.

— Чушь?! — заорал курбаши. — А шкатулка где? Где-е?! — Он стряхнул на пол сено, на котором спал, потом выдернул из ниши камень и встряхнул, потом стал выбрасывать сено из ниши, заглянул под кровать. — Ну?! — заорал он снова. — Где?! Кто взял? Ищите! — И обвел всех глазами. Лица у всех были испуганные, без притворства. — Дверь на замок!

Пузан кинулся запирать входную дверь. Он один был вне подозрений, ездил к беку. Запер дверь и стал около нее с винтовкой. Но у курбаши мысли, видно, направились в другую сторону. Одетый кое-как, волоча один сапог, он как вскочил, так больше и не приводил себя в порядок — идет к дверям в михманхану, подрагивающей рукой вставляет ключ в замок и, когда резко распаивает обе створки резных дверей, все видят Салимба в той же позе, в какой оставили его вчера: серый, безучастный, он сидит на полу, прислонившись к полуразрушенной стене. Его поднимают, тащат за руки в батрацкую, расспрашивают с угрозами, но очевидно, что он ничего не знает и как бы не в себе. Курбаши осматривает полутемную михманхану — никаких следов. Он возвращается в «людскую», начинает прыгать по сури, разбрасывая и топчя ногами сено; потом принимается за своих спутников — одного за другим хватая

за воротник и со зверским выражением лица вглядываясь им в глаза. Пузан тем временем все стоит у двери и, торжествуя по поводу своей непричастности к событиям, выкрикивает:

— Что за чушь! Эй! Спали, как собаки после поминок! Что за чушь? Беку что скажем!

До полудня только тем и занимаются, что на глазах у хозяина разрушают стены и потолок «людской», ломают и выбрасывают деревянные кровати, то и дело перетряхивают и вышвыривают во двор сено, потом обыскивают ниши во всех комнатах, осматривают очаги, печки, рушат их, рыщут даже возле нужника.

Все напрасно! Шкатулка испарилась... улетела! Курбаши в отчаянии, джигиты в недоумении, один пузан злобно и торжествующе поблескивает маленькими узкими глазками. Только он тут вправе никому не верить! Но ведь подозревать некого — вот в чем беда. Разве что нечистую силу! Но на нее беку не сошлешься, нет, не сошлешься. И курбаши снова с бессилием отчаяния принимается за явно бесплодные поиски там, где все уже перерыли. Надо же! Поспешил послать гонца к беку, получил благодарность за добрую весть... а что сказать теперь? Кто поверит? Кто простит? Только не бек. Красивое лицо курбаши побелело, он то мечется, то присаживается с безнадежным видом, то орет на всех, то шепчет молитву.

...Так все оно и было, думает Мамат, продолжая уборку, куда замолкший после вспышки Салим-бай, как заводная кукла, ходит по своим разоренным владениям взад-вперед, взад-вперед. Мамату и невдомек было, как в самом деле все кончилось: после захода солнца тело курбаши нашли в хлеву — упереv приклад в кучу сухого навоза, пальцем босой ноги он нажал на спусковой крючок ружья. Джигиты, измотанные этим сумасшедшим днём, даже почти не удивились своей находке. Всем было ясно: бек так и так не оставил бы курбаши в живых. Кое-кто помолился, кое-кто пробормотал из приличия: «Вручил долг... призвал его владыка... да будет в раю!» Только пузан, увидев мертвого курбаши, неожиданно прослезился. Но тут же словно раздулся вдвое: он теперь становился старшим! Сели на коней, перебросив тело через седло, — и умчались.

Мамат подмел золу, убрал мелкие обломки. Когда он тужился, пытаясь поднять упавшую с крыши тяжелую балку, к которой крепилась разрушенная теперь печь,

тихонько подошел бай и, ухватясь за другой конец балки, молча помог мальчику. Когда он нагибался, Мамат искоса глянул и увидел на лице хозяина что-то похожее на раскаяние. Но обида Мамата еще не прошла. «Э, нет, — думал он. — Хорошее в беде проверяется. Теперь-то я тебе, хозяин, цену знаю — тебе и твоей доброте. Не зря говорят: рана от ножа зарастает, рана от слова — нарастает. А тот ящик проклятый пусть сгниет в навозе! Хотя...» Мамату вдруг вспомнился учитель-ногаец со своим грузом. Вот кому бы, наверное, пришлось кстати добро из шкатулки. Да где его найти? Кто знает, по каким кишлакам он бредет. А может, прямо в приют снести? Но где и приют-то этот? «В Симе, таксыр... — вспомнил он. — В самом Симе...»

6. МАМАТ МЕНЯЕТ РЕШЕНИЕ

Под столькими ударами судьбы Салим-бай растерялся. Причина таких напастей, решил он, может быть только одна: его собственные грехи. Жизнь в одиночестве, не требовавшая усилий ни ума, ни тела, расслабила его и превратилась в простое ожидание — ожидание сыновей. Хозяйство, думал он, все равно рухнет — вот и стал продавать что можно, полагая, что так спасёт хоть что-то для наследников; дошла очередь и до овечьих гуртов, он отдавал их оптом. Одно его мучило — воспоминание о словах покойного курбаши насчет его сыновей: «Скоро они зарежут друг друга...» Сам-то, говорил себе бай с мстительным злорадством, сам-то и дня после тех слов не прожил, а мои сыновья, слава аллаху, живы! И давал клятву: если хоть один из мальчиков здесь появится, посадит под замок и никуда больше не выпустит. Как же, возражал он себе, посадишь их! Не выпустишь! Нет, уговаривать надо, умолять, в ноги броситься, может, поймут, опамятуются, жестокосердые, сообразят, какова цена отцовского наследства, как дорого стоит родительская боль и забота. Поймут, где уж там! Вот помру — тогда и поймут. Видно и мальчишка Мамат не очень-то верит, что Алим и Халим могут вернуться. Змееныш! Или, нет, не змееныш он, неплохой паренек, иной раз посмотрит так добро, с жалостью, спасибо и за то, все-таки живая душа.

Салим-бай большей частью возится в заднем загоне, там у него есть лошадка, приведенная с пастбища, чтоб в

арбу запрягать, и он ее обихаживает, кормит овсом. К тому же из этого загона весь кишлак — как на ладони. Появится чья-то фигура — бай встанет, упрет подбородок в черенок вил и не сдвинется с места, пока не узнает, кто там идет или едет.

Однажды пробирались через холмы три всадника. Бай стоял, смотрел, сощутив глаза, никого вроде не узнал, но надежда и тревога сменяли в нем друг друга. Всадники не проехали мимо — остановились у ворот, спешились, коней привязали за колья в тени вяза и ступили во двор. Первым шел худой хромоногий человек в кожанке, из-под которой торчала деревянная кобура, второй был, верно, его помощник — Салим-бай видел, как у первого он принял коня и приоткрыл ворота. Третьим оказался председатель местного Совета, словоохотливый маленький человек, который зимой и летом носил киргизскую шапку. И как это Салим-бай не узнал его сразу? Видно, зрение портится.

— Раньше на дворе собака была... — сказал председатель, беспокойно озираясь.

— Нету, давно нету, входите! — сказал Салим-бай.

Гостей он принял на вытащенной из «людской» деревянной кровати; вместо сломанных ножек под нее подставили кирпичи.

— Аминь! Откуда будете, дорогие гости?

— Мы из Узгена, бай, — сказал тот, что в кожанке.

— Ладно, был бы мир и спокойствие... — И бай велел подать чаю.

Пока Мамат собирал на поднос угощение, в голове у него словно вспыхнуло: «Красные!» В самом деле, раз пришли с председателем Совета, кем же им быть еще? Он давно ждал — ждал и боялся. Не сегодня, так завтра, но они обязательно должны были прийти — за лошадьми ли, хоть лошадей больше и не было, или по другой причине... И вот они здесь! Расстилая скатерть, ставя поднос, заваривая чай, он лихорадочно размышлял. Может, отдать ящичек им? Приют-то Совет открыл. Если отвезут сокровища в Совет, так, наверно, купят сиротам и еду, и все, что нужно. Только вот болтливому этому коротышке — председателю — не очень-то верится. Сидит, мелет чепуху.

— Зачем ставите колышек для телки, что на свет еще не родилась! — говорил коротышка баю, наливая в пилу. — Только и знаете, что жаловаться, а у вас вон

две ниши бархатных одеял! У меня так и циновки нет.

Даже хромой в кожанке его оборвал:

— Ну, председатель, вы вроде хвастаетесь, что циновки нет! Нет — так сплетите. Камышка еще хватает.

Мамат не слишком прислушивался к беседе, своих забот выше головы. Если отдавать сейчас ящичек, надо успеть сбежать на задний выгон, вытащить, очистить от навоза. И передать этому, в кожанке, да так, чтобы бай не заметил. И еще наверняка спросят: где взял? Разве это наскоро объяснишь? И не приведи бог, бай увидит — позор!

Наконец Мамат обдумал все до мельчайших подробностей, стал прислушиваться к разговору, чтобы не упустить нужный момент, и обнаружил, что беседа приняла крутой оборот. Хромой в кожанке, поначалу вроде доброжелательный, говорил теперь жестко:

— Когда приходят басмачи, для них все есть: и кони, и еда. А для Красной гвардии — вы бедняк! Чуть не нищий!

Странно, подумал Мамат, с виду вроде добрый человек, а говорит несправедливо. Ему вспомнились те, первые трое: «Если у вас нет, у кого ж есть! Или все Красной гвардии отдали?» Ну что мог бай с басмачами поделаться?!

Бай как раз отвечал, склонив голову:

— Ни белых, ни красных я не знаю.

— Не знаете! — уже совсем зло сказал худой в кожанке. — А джигитов бека вечерами поите бузой! И золотом снабжаете!

— Снабжаю? Как же это снабжаю, они меня ограбили! Порушили тут все, разве не видно? Ну, не верите — ищите, в конюшню зайдите: там одна кобылка для арбы, желаете — отдам.

— Для нас, значит, тощая кобылка! А скакуны Халима, приученные к улаку? Басмачам подарил? — Это встрял коротышка-председатель.

— Смотрите, мы над собой смеяться не позволим! — начальник в кожанке, кривясь, массировал колено.

— Что ж вы от меня хотите-то?

— Мясо нам нужно, бай! Мясо! Красную гвардию создаем, ее надо едой обеспечить, понятно? Мы ведь не просто берем — расписку дадим. Обещаем сохранить жизнь сыну вашему, что с басмачами! Ну, что скажете?

То ли потому, что напомнили о сыне, то ли от безжалостного напора гостя — сторбленные плечи бая задро-

жали, и он беззвучно заплакал. Худой в кожанке воспринял это как отказ: он резко поднялся, отчего кровать качнулась, и с края упала и разбилась пиала. Спутники его тоже, чуть суетливо, встали и засобирались.

— За оказание помощи врагу Советской власти, — гулко сказал начальник, — мы конфискуем все ваше имущество. А вас, бай, отправим в ссылку!

Салим-бай еще больше сгорбился, теперь он весь трясся в беззвучном и бессильном плаче. При виде этого и Мамат чуть не заплакал от обиды. Неужели и у этих не оказалось жалости? «Враг». «В ссылку». Зачем же лежачего топтать? Выходит, будь худой на месте того курбаши, тоже бы искал и забрал шкатулку насильно? Нет, нельзя ему отдавать... нельзя!

Когда осела пыль, поднятая ускакавшими всадниками, и все вокруг стихло, Мамат почувствовал себя вконец растерянным, словно и он, как этот несчастный бай, оказался меж двух огней. Да нет, каких там двух... ему и один не светит. Надо все-таки разобраться. Бая жалко, конечно... но душа к нему больше не лежит, нет! Вот только забота — сокровища под навозом. Хранить их там долго нельзя: разве знаешь, кто тут будет хозяйничать. Что явится кто-нибудь и поможет — ждаль дальше глупо. Одно теперь Мамат знал твердо: сокровища эти не байские и не басмаческие, и не того, в кожанке, и не Маматовы: конечно, — это — сиротская, приютская доля. Что он сам сирота, Мамат и не вспомнил. Так что же остается? Самому искать тот приют? На арбе, или пешком, или на огненной арбе? Кто знает, как далека эта дорога. А-а, подумал он, учитель-ногаец одолевает же ее на своих двоих, да еще с грузом, а я что? Да, но учитель знает, куда идти. И я узнаю! Язык и до Сима доведет! Растерянность Мамата как рукой сняло — предстоящие поиски представились ему чудесным приключением. Но тут он подумал о шкатулке. Да, в ней-то и загвоздка. Если кто учует хоть бы тень ее — не рассчитывай больше ни на совесть, ни на жалость. Запросто можно голову потерять. Один уже расстался с жизнью. Да, наверное, и не один. Ну, авось никто не догадается: вид у него не ахти какой! Знать бы, как долго идти. Осень ведь на исходе. И пропитанья — кот наплакал. Ничего, свет не без добрых людей.

И все равно ведь другого выхода у него нет!

7. ОПАСНАЯ УЛИЦА

Когда воробьяха на выступе камышовой крыши про-
чирикала рассвет, Мамат был уже на ногах. В веревочном
гамаче лежали приготовленные в дорогу переметная
сума и пастуший мешок. Бай сулил за труд по одной козе
и одной овце за год — но он уйдет, даже не напомнив
о плате: значит, обижаться баю не на что. Вот только у
Мамата у самого заныло сердце. Кокандские цветы по
берегам арыка пожухли, листья черной шелковицы
падают, не успев пожелтеть. После его ухода все тут
и вовсе осиротеет, и что будет с этим разоренным дво-
ром? А его, Мамата, — что ждет впереди?

Под матрацем у него хранился оставшийся от ба-
бушки серый камзол. Мальчик достал его, встряхнул
и напялил на себя. Запахло перцем. В мягких носках
старых разбитых чарыков утопали пальцы; чарыки не-
парные, ну да ладно, пригодятся в такой дальней дороге.
Он намотал портянки, обулся. Веревки пастушьего меш-
ка, наполненного сухарями, толокном и сушеным урю-
ком, продел под мышки и вскинул мешок на спину,
переметную суму перекинул через дувал. Потом сам
поставил ногу в провал около очага, перелез в задний
загон. Перелезая, он задел глиняную крышку печи,
она сорвалась и напугала горлиц, сидевших на желобе,
Мамат замер, переждал, потом по грядке огорода подо-
шел к каменной кормушке, ногами разворошил навоз,
землю. Показался перламутровый ящичек, по-прежнему
блистающий и нарядный. Сердце у Мамата екнуло. Он
чувствовал, что словно бы выходит на какую-то страш-
ную и опасную, полную неизвестности улицу. Но и
назад тоже пути нет! Он рукавом протер ящичек, вер-
нулся к дувалу, сунул драгоценности в большое отделе-
ние переметной сумы, из маленького вынул портянки
и кусок кукурузной лепешки — положил поверх шка-
тулки. Потом перекинул суму через правое плечо, боль-
шим отделением вперед, надвинул на глаза замызганную
ковровую тибетейку — и двинулся в путь.

Выбравшись из огорода, он должен был идти по
склону холма, по тропинке, проложенной скотом, пока
не выйдет на большую дорогу. От тяжести груза он за-
метно сгорбился и ступал носками чарыков. Дорогу в
город он знал, хоть в городе не бывал никогда: сколько
раз провожал Халима на улак! Дорога доведет до города,
а там должна быть огненная арба — так он слышал, она

и довезет до Сима. Доберется он! Только вот шагаты неудобно, тропинка неровная, вся в выбоинах, а главное — этот ящичек на груди! Что тяжел — это еще полбеда, но давит на грудь, дышать мешает... и торчит: наверное, всем будет заметно!

Ну, ладно, дайте только выбраться на ровную дорогу. Легче станет идти и можно будет подумать о том, как встретят его в приюте, когда узнают, с чем пришел. Ради этого стоит постараться! Но, увидев впереди, в рассветном тумане, человеческую фигуру, Мамат испугался, словно с волком встретился. Слава аллаху, фигура ушла с дороги в сторону. А пройдя еще немного, он увидел, что и бояться было нечего: какой-то рано поднявшийся старик опралялся у тополя и теперь, поддерживая штаны, шагал в огороды. Однако что ж это будет, если так пугаться каждого встречного? В городе-то, небось, полно людей. Не вор же он! Не вор... Это уж как посмотреть. Бай, если б знал, счел бы его самым что ни на есть настоящим вором. И кто знает, с кем придется встретиться. Коль рассудить, жизнь его на волоске висит!

Тропинка для скота давно осталась позади, развеялся привычный запах кизяка. Дорога была ровной, но зато пыльной, дырявый чарык сразу отяжелел. В полдень Мамат присел у обочины под кустом и съел кусок кукурузной лепешки. Росы давно и след простыл, земля накалилась. Мамат снял чарыки, вытряхнул, положил в суму поверх ящичка. Опять же и ящик так подалеже от глаз.

Дышать становилось все труднее. Встречные и обгоняющие арбы — Мамат усиленно их сторонился — поднимали густую пыль; привыкший к чистейшему воздуху пастбищ, мальчик сильно устал. И он, и вся одежда на нем были в поту; щипало все ссадины, порезы, болячки. Ближе к вечеру осторожности в нем поубавилось: он упросил дехканина, который вез солому на базар, посадить его на верблюда. Но едва отдышался, опасения вернулись. Вдруг погонщик спросит: чей ты сын, что у тебя в суме? Стоило тому повернуть голову, Мамат вздрагивал, сердце уходило в пятки. Никогда он ничего не боялся, пока не вошла в его жизнь эта проклятая шкатулка!

К счастью, хозяин верблюда оказался человеком неразговорчивым. В начинавшихся сумерках подъехали к кишлаку — и тут Мамат, сказав: «Спасибо, дядя!», съехал наземь по рогожным мешкам с соломой. Верблюд

через несколько мгновений исчез на одной из боковых тополевых улочек кишлака, а Мамат на плохо гнущихся от неудобного сидения ногах зашагал дальше. Ему казалось, драгоценности в ящичке стучат друг о друга на весь поселок; может, это сердце колотится? Осенний вечер надвинулся быстро, надо ведь какой-то ночлег найти! Остаться на дороге или на улице нельзя, в баню или хумдан вряд ли заберешься, да и подозрительно это; в чужую дверь в такое время стучаться бесполезно. Мамат миновал пустырь, которым завладела стая бродячих собак, и вдруг увидел свет впереди, в ноздри ударил сырой запах водоема и тальника. Это оказалась большая чайхана. Мамат сел на край сури, стоявшего снаружи, и стал в темноте дожидаться ухода последних посетителей. Наконец чайханщик прикрутил фитили в лампах, вытряс паласы и циновки и стал стелить себе постель. Тут Мамат и вошел в чайхану.

— Дядя самоварщик, можно мне переночевать тут? — сказал он просительно.

Чайханщик был низкорослый, толстый человек с отвислыми щеками; лицо его казалось добрым.

— Деньги есть? — спросил он мягко.

— Я из приюта. В кишлаке своем побывал... — Мамат и сам удивился, как ловко соврал.

— Эх-ха... — не то сказал, но то выдохнул чайханщик и оглядел Мамата. Не остановил ли он взгляда на большом отделении переметной сумы? Мамат сжался, словно стараясь занимать как можно меньше места. — Где приют-то твой?

— В Симе, дядя!

— Ох-хо-хо-о! — Снова непонятно было, говорит чайханщик или только вздыхает. Отвислые щеки его надулись, и весь он словно округлился.

Надо что-то сказать, подумал Мамат. Может, спросить про дорогу в Сим? Ох, нет, вот бы ляпнул! Скажет, как же ты из Сима, если дороги не знаешь?

— Ладно, заходи, — сказал, наконец, чайханщик. — Бог воздаст... Вон там ложись, у столбика.

Мамат поклонился благодарно, поднялся на большое сури, облегченно вздохнув, сложил свой груз возле столба, на который указал хозяин, и уселся на циновку. В чайхане было тепло, уютно, пахло печеным хлебом. Он вспомнил, что говорил старый табунщик бая: «В дороге ночь всего страшней, а сон всего опасней!» — и решил, что пролежит до рассвета, не сомкнув глаз,

лишь бы отдохнуло уставшее тело. Он положил переметную суму в изголовье, сверху накинул снятый камзол и развязал мешок — чего-нибудь пожевать. Но тут чайханщик снял с огня чайник и снова зажег черную лампу.

— А ну, путник, давай-ка пить чай, — сказал он, расстилая на кошме квадратный платок.

Мамат вздрогнул:

— Не-е, спасибо, дядя, у меня... у меня толокно есть!

— Бери чай, бери, без горячего усталость не выгонишь!

Отказываться не было причин, но с переметной сумой что делать! И оставлять боязно. В первый раз за дорогу Мамат скрепя сердце отошел от своего драгоценного ящичка — и будь что будет!

Чайханщик молча пододвинул ему большое красное яблоко, налил чаю. Чай из самовара Мамату не понравился — он привык к чаю из чёрного кумгана. От этого ли, или из-за сведавшей его тревоги — жажду Мамат не утолил. Он был только рад, что чайханщик оказался так добр и при этом не задавал вопросов.

Однако, едва они улеглись, вошли каких-то три дружка и разом испортили эту счастливую, обещавшую отдых ночь. То ли они бузу пили втроем, то ли с вечеринки шли и решили добавить себе ночного веселья, но вошли с шумом, с гамом и громко, нагло стали будить чайханщика. Один сразу задымил анашой, другой привязывался к хозяину с дурацкими вопросами и, наконец, заорал:

— Эй, чайханщик, кто это там лежит, а?!

Чайханщик объяснил: прохожий, мол, сирота.

— А ну, позови сюда, потолкуем.

У Мамата даже волосы на голове зашевелились.

— Оставьте его, мулла-ака. Спит, издалека пришел, бедняжка. И не годится он вам в дружки, сопливый еще.

— Сопли-ивый! Сейчас все беды от сопливых. Откуда знаете: может, украл золото у хозяина и сбежал! Таких теперь полно!

Чайханщик не стал спорить, только сказал: «Сейчас чай несущ», — а Мамат прямо-таки заледенел весь от страха. Что сейчас будет? Надо же, в точку попал, проклятый гуляка!

Аромат крепко заваренного чая разнесся по чайхане, хозяин принес дружкам чайники и миндаль да леденцы на подносе. Они стали прихлебывать, громко беседуя. Пахло анашой. Мамату казалось, что угол ящичка у него

под головой вонзается прямо в мозг. Убежать бы, да разве убежишь. Дружки хохотали.

— Порази меня бог!— говорил тот, что одолевал хозяина вопросами.— Я ж говорю: все беды от сопливых!— Он выпускал изо рта вонючий дым и крикливо рассказывал о каком-то слуге, который поджег бая и скрылся.— Не то камсамон, не то гвардия называется. А сам — тоже сопливый. И этот еще говорит... Чайханщик! Чилим есть? Нету? Найдите!

Бедный чайханщик среди ночи пошел искать чилим, а Мамат лежал скорчившись, обняв суму. Он решил: если тронут, будет кусаться. И весь напрягся, как маленький, надутый воздухом мячик перед броском.

Дружки ушли на рассвете.

— Ворье проклятое... последнюю кроху покоя крадут!— ворчал чайханщик, запирая за ними дверь чайханы. Он подбросил углей в самовар и улегся. За окнами уже серело.

«Покой!— думал Мамат, всю ночь продрожавший от страха.— Где там покой... его теперь и не будет никогда...»

8. ГОРОД

Мамат видит город впервые. Лучше бы не видел. Еще недавно сердце у него вздрагивало в испуге от каждой человеческой тени, а здесь людей — толпы! Сумерки наступили, а на улицах и площадях люди все суетятся, как мураши — туда идут, сюда проходят, — куда их всех несет в такой неурочный час? Разглядывая, Мамат чуть было не забыл про свой опасный груз. Ну, забыть-то не забыл, но куда ему теперь податься? Прошагал весь день, в коленках сил не осталось, стер пятки так, что ступить невозможно. Чарыки обул — еще хуже! И есть хочется — сил нет, а пастуший мешок давно пуст, и в суме тоже один этот проклятый ящичек остался. Ноша должна бы легче стать, а сделалась, кажется, еще тяжелей.

Сколько же тут все-таки людей! Каждая улица похожа на базар, один идет сюда — толкает, другой идет туда — толкает; то лишь хорошо, что никому до тебя дела нет, никто тебя вроде и в упор не видит, каждый занят своим; иначе, будь Мамат у стольких на виду, он вконец бы издергался. Теперь он поуспокоился и даже

рисковал задавать вопросы встречным. У горбатого, похожего на грузчика прохожего он спросил, как выйти к огненной арбе; тот сперва удивился, потом с улыбкой оглядел Мамата с головы до ног.

— Истанса?

— Да-а...

— Истанса не здесь. В Джелалабаде! Отсюда четыре дня ходу, — сказал он и, тотчас забыв о Мамате, пошел дальше.

Вот это да! Выходит, огненная арба здесь не ездит? Мамат вдруг почувствовал, как в желудке словно разозленная кошка царапается; а впереди — дорожные муки длиной в целую жизнь! Изнутри-то его грыз голод. Да еще и ночлег найти надо! А здесь, он понимал, за просто так никто не приютит. Вместо чайхан — шумные кофейни, на каждом углу полно пьяных. Мамат постучал в две-три двери, но их только приоткрывали, окидывали его подозрительным взглядом и захлопывали снова. Город.

Идти — ногам не вмоготу, присесть у какой-нибудь лавки — станут спрашивать, что он здесь делает. Не будь с ним этого проклятого ящика, он бы ответил! Сколько ж ему скитаться, как вору? Или выкинуть его куда-нибудь в уборную — и свобода, и покой, иди на все четыре стороны! Мамат застонал, слипшиеся от пустоты кишки требовали хотя бы остатков вчерашнего толокна; начинал донимать ночной холод, чарыки мучили, а он все шагал, словно босиком по горячей сковородке. Людей становилось все меньше. Впереди на улице замаячил темный холмик, оказалось — куча золы. Видно, неподалеку находилась баня, зола еще не утратила тепла. Мамат как был, с грузом, свалился на теплую золу и тотчас словно растаял: провалился в забвенье.

Очнулся он перед рассветом от холода. Вокруг него на золе лежало еще человек десять похожих на него бродяжек или сирот. Он судорожно пощупал суму: ящичек был на месте. Мамат встал потихоньку, поправил груз на плечах, отряхнулся и поскорей ушёл. Сон вернул ему силы, но есть хотелось отчаянно. Свернув в переулок, он нежданно-негаданно вышел на базар. Хотя только что рассвело, базар был полон. В нос ударили несчетные запахи, разжигающие аппетит: пахло тмином, чесноком, перцем; в соседнем ряду жарили тонкие лепешки, пирожки с тыквой, мясо. В арбузном ряду он увидел, недалеко от горы полосатых шаров, истекающие крас-

ным соком корки, облепленные мухами. Некоторое время смотрел на них, но прикоснуться не посмел: к чести бая, обедками его не кормили! Да, бай... Дожил до старости, а жить толком не научился — где уж это уметь Мамату, «сопливому», как говорил тот гуляка в чайхане. Это ж только рассказать кому, таскает на плечах золото, а сам с голоду помирает! Будь он сейчас на байском дворе, сидел бы в веревочном гамаке, макал кукурузную лепешку в варенье, запивал чаем. Тьфу ты, что толку себя растравлять — здесь, на базаре, голодному растравы и так хватает!

Он не заметил, как очутился в дровяном ряду — прямо перед ним какой-то дехканин постелил овчину в тени высокой кокандской арбы, налил кислого молока в горшок с дымящейся кукурузной похлебкой и так начал хлебать большой деревянной ложкой! Мамат остановился перед ним как вкопанный, глаз не мог отвести. Не толкай его то и дело проходящие, он бы на колени опустился перед этой картиной! Тут кто-то задел за выпирающий из сумы ящичек, и Мамат опомнился, пошел прочь — мимо бешиков, сумаков и прочего деревянного товара.

Эге, вот и ювелирная лавка. Белолицый ювелир с остроконечной, подкрашенной хной бородкой подает чай богатому покупателю, а сам, не умолкая, расписывает достоинства поблескивающих на черном бархате золотых изделий. Мамат безотчетно подвигается ближе. К ювелиру подходят еще покупатели: «Хорманг... Будьте всегда здоровы...» Они рассматривают драгоценности, беседуют, и золотые с завитками серьги, кольца с красными камнями, горящими как огоньки, гладкие кольца, ожерелья — то выходят из витрины на свет божий, то снова возвращаются на свою бархатную подстилку. Покупатели торгуются, торгуются — и идут прочь: дорого. Мамат тянется, глядит, а сам думает горячечно, как в лихорадке: «Да ведь те, что у меня в суме, — не уступят этим! Они даже лучше... а я так дорого не стал бы запрашивать! Всего одну штуку... одно не стоящее колечко... за полцены!»

Он даже устремился было за удаляющимся покупателем, который смахивал на байского сынка, но что-то треснуло у него под ногами: откатившийся от прилавка деревянный сумак. Надо уйти, пока мастер не хватился!

Он ушёл из ювелирного ряда, но тот все стоял перед глазами. Как это ювелир в феске улыбался, обна-

жая золотые зубы, — небось, думает, он шах базара! А не знает, что есть человек, который не взял бы всю его лавку даже на заплаты для переметной сумы!

Странное дело: Мамат почувствовал, что может собой гордиться, — и теперь даже есть меньше хотелось. Он бродил, больше не боясь этой шумной толпы. Он здесь равен многим, а может — кого и повыше! Вот если бы только не дразнящие запахи... Конечно, невелик грех продать задешево какой-нибудь заплесневелый байский перстенок и поест. Если суждено добраться до приюта в Симе — так он запросто может объяснить свои мучения и его наверняка поймут! И простят! Но как предложить эту золотую побрякушку? Об этом он не подумал. Стоит ее вытащить, сразу: «Где взял? Чье это? А ты сам кто такой? А как тебя звать? Да откуда ты?» И наконец: «Ну-ка, а что у тебя там еще в переметной суме?» Не-ет! Придется взять себя в руки, дети в приюте сейчас тоже, может, умирают с голода, а продать нечего. Так что — помолчи, желудок, не нойте, кишки, — есть причина терпеть. Стоящая причина.

Мамат бессознательно расправил плечи, сгорбившиеся под тяжестью ноши, мешок и веревки сдвинулись, и стертая кожа тотчас стала саднить. Надо хоть ненадолго снять груз и присесть... Кучка людей в лохмотьях пристроилась близ дровяного базара, и один из них пел — каландар не каландар? попрошайка не попрошайка? — но голос у него был хороший. Мамат присел рядом. Певец замолк было, потом минуту-другую рассказывался с заунывным плачем и снова затянул:

*Ни отца и ни матери.
Все на свете черно.
Лишь лохмотья лохмотые —
больше нет ничего.*

*Ни родни, ни пристанища —
только степь широка.
Кем ты стал, тем останешься —
сирота, сирота...*

У Мамата на глаза слезы навернулись — это ж о нем пелось! Как хорошо, что дал себе волю и присел здесь! Это вот нищие — они ему, может, ближе всех!

Певец умолк, выудил из медного сосуда, что держал на коленях, черную монету и купил лепешек у проходя-

щего мимо хлебного торговца с корзиной. Лепешки, видно, были еще горячие, он свернул их вдвое и завязал в поясной платок. Эх, была бы у него, Мамата, такая почерневшая монетка! Опять захотелось плакать, внутри всё бурчало, жгло, поджилки дрожали — пожалуй, и с места на встанешь. Сам не зная как, он снова очутился в ювелирном ряду, только позади лавок. Здесь был свой неубранный мирок, иной, чем с фасада. Какие-то приниженные подобострастные фигуры; маклеры, трясущие руки покупателей с такой энергией, словно надеются вырвать их и унести с собой;двигающиеся, как фигурки кукольника, женщины в паранджах, которые пришли за своими заказами. А вот мастер и ученик: в руках ученика крошечные весы, а мастер держит за ручки форму, похожую на наперсток, и вливает туда жидкое золото. Спустя недолгое время тонкие серьги уже поднимают парок, падая в пиалу с водой, и тут же другой ученик принимается их полировать; но покупателю с женской походкой, только что сошедшему с извозчика, серьги не нравятся: не блестят! И правда: в ящичке у Мамата есть старинные серьги — не чета этим! Глаза слепят блеском.

Коленки у Мамата опять дрожат, и какой-то бесенок так и нашептывает в уши: «Догони, догони этого, с женской походкой, возьмет он твои серьги без слова — отдашь дешево, возьмет и скроется». Ах, это бес голода, он может все загубить! И, собрав все силы, чтобы подкрепить дрожащие колени, Мамат снова спешит уйти отсюда прочь: ему кажется, что идет он быстрым решительным шагом, но в действительности еле волочит ноги. И тут, словно в страшное назидание, появляется перед ним дородный мужчина, который тащит из толпы за уши худого мальчугана — карманного воришку. Мальчик весь посинел, семенит на носках. Толпа гудит — кто за кого, понять невозможно; мужчина и мальчик снова исчезают за спинами, но страшное и жалкое лицо воришки так и стоит перед глазами Мамата: что будет, если оторвется ухо?

А базар все гудит, гремит, издает нескончаемые запахи, слепит невыносимыми расцветками и суетится, вертится, крутится, словно тысяча веретен. Но кто управляет этим гамом, кто запускает эту суету, поддерживает этот жар? Такие, как дородный мужчина с ухом воришки в руке? Или женоподобные лавочники с крашеными бородами? Или жадность чья-то, торгующая без



удержу, или голод, раздирающий кишки рядом с этим изобилием, — голод, заставляющий кружить по базару и его, Мамата, и того несчастного посиневшего воришку? У него вдруг остро заболел передний зуб... или рядом с зубом. Может, попало что? Но что? Когда это он всыпал в рот последние крошечки кукурузной лепешки — вчера или позавчера? Надо снова скрепить все силы, а то упадешь — и конец.

Пойти к мелочным торговцам, продать одежду! Как он раньше не подумал? Та-ак. На чарыки никто и не посмотрит. Ковровой тюбетейкой, грязной донельзя и к тому же треснувшей, тоже всякий побрезгует. Зато камзол, бабушкин камзол на плечах, вполне хорош! Ну, запылится немного, пропотел... дело житейское, почистят! Камзол что надо! Правда, рубашка под ним расползается... ничего не поделаешь!

Выйдя к нужному ряду, он отыскал место величиной с ладонь, сел на переметную суму, расстелил камзол на коленях:

— Подходи, камзо-ол... новый камзо-ол!

Прозвучал его голос или пропал в базарном гвалте — кто знает? Его лишал сознания запах еды — на этот раз пахло наперченными голубцами да еще лагманом. Ну да, кривой ряд мелочных торговцев, похожий на змеиный след, огибал место, где готовят лагман. Вон и котлы кипят... и парень-уйгур, молоденький такой, растягивает лапшу... растягивает... растягивает... его лицо приближается. Ох, да он и впрямь стоит рядом, весь красный от жара очага! Схватил камзол обеими руками, примеряет на себя. Грудь у него широченная. Мамат видит, что камзол ему подошёл бы вдвое шире — значит, не возьмет... не возьмет.

— Распустить, что ли... — говорит между тем парень, все еще держа камзол в руках и размышляя вслух. — Эй, мальчик, а сколько стоит?

Внутри у Мамата все заликовало:

— Мне деньги не нужны, ахун-ака... издалека иду... дадите четыре лепешки — хватит.

Четыре... Почему он попросил именно четыре? А-а... тот прохожий сказал — четыре дня ходу до Сима. «Ахун» не уходил, не вздрогнул, не возмутился — наоборот, глядел на Мамата с улыбкой; Мамат вскидывает на плечи свой груз, идет следом. Помещение пропитано густым, плотным запахом лагмана. Мгновение

спустя парень ставит перед Маматом на сури полную касу дымящегося, чудесно пахнущего варева:

— Мы хлеб не печем, вот, поешь-ка этого...

Мамат чувствует, что теряет себя... от запаха, от счастья, но встряхивается, как птица, обеими руками хватая глиняную касу за бока... никто ее у него не вырвет! Никто!

9. С О Н

Насытившись, Мамат покидает базар. Базар, но не город! Из города надо еще суметь выбраться. День меж тем клонится к вечеру, вот-вот упадут сумерки. На дорожку, неведомо сколь длинную, надо бы запастись хоть парой лепешек в поясном платке, а пока что... ох, тишина ли тополевой улицы, как жирный густой лагман после долгого поста — что-то вдруг расслабило Мамата. Разморила его сонливость, глаза слипаются, до слуха еле доносится стрекот сорок, устраивающихся на ночлег в голых ветках тополя. Улица, должно быть, проходит меж садами — людей не видно. Мамат спотыкается о кучу слежавшихся палых листьев — и падает ничком. Этого и ждала его душа! Нет сил ни на ноги подняться, ни подумать об опасностях такой ночевки невесть где. Обняв руками переметную суму, он погружается в дрему, как в теплую воду, говоря кому-то недвижными губами: знаю — нельзя, да я немножко, чуть-чуть, самую малость.

Проспал он до утра — разбудил его далекий голос суфи, звавшего на молитву. Он поднялся, дрожа всем телом. Куча листьев — в инее, темнеет только след его тела, похожий на большое птичье гнездо: и все — взгорка дороги, гребень дувала, морщины древесных стволов — все серебрится от замерзшей росы. Он поднял на плечи суму и побрел по улицам, даже не зная, в какую сторону надо идти. Господи, как холодно! Теперь нет на нем теплого камзола, а каса лагмана, которую камзол оплатил, давно растворилась в холодной ночи. Надо во что бы то ни стало добраться до огненной арбы — говорят, у ней есть топка, стало быть, там тепло.

Топлевая улица оказалась очень длинной. Мамат, пока дошел до перекрестка, почти согрелся, перестал дрожать. Вымыл в арыке лицо и руки, огляделся. Пыльные улицы уходили в трех направлениях — если не счи-

тать того, откуда он пришёл. Он выбрал улицу, обсаженную вишнями, в конце ее смутно виднелись голые холмы. Двери домов были еще заперты. Мамат заглянул в одну щель, приложил ухо к другой, не осмеливаясь постучать. Кто знает, найдется ли в этих дворах хоть один человек, кто не пожалеет ему лепешки на долгую дорогу?

Наконец он постучал на авось в старые, тяжелые узорчатые двери. Тут, похоже, живут люди не бедные. Изнутри послышался сперва долгий кашель, потом хриплый мужской голос:

— Сейчас.

— Дядя, не нужен ли помощник? Могу хворост собирать...

Здоровенный угрюмый человек в наброшенном халате, с открытой волосатой грудью показался в дверях, глянул — и молча, с силой захлопнул створки.

Мамат торопливо пошел прочь. От таких лучше держаться подальше. Не зря говорят: «пища — птице западня», можно и попасться. Если счастье не поможет, то и каша зубы съест.

Немного погодя он постучал в другие двери.

— Не нужен ли помощник? Хворост собирать?..

Молчание. Он поднял голову — и только теперь заметил, что дувал весь полуразрушен, а в прорехи проглядывает нежилой, с виду убогий дворик. И тут с другой стороны улицы раздался голос:

— Эй, мальчик!

Он обернулся: в дверях напротив, прикрывая рот концом платка, стояла старуха в старом бархатном камзоле, в точности похожая на его покойную бабушку. Он торопливо пересек улицу.

— Ой, какой маленький работник... — жалостливо сказала старуха.

— Что прикажете, тетя?

— Ты же спрашивал, не нужен ли помощник... Раскорчевать надо бы...

— Я раскорчую, тетя! А что — пень от тополя?

— От тополя, сынок. Только тополь был черный, смотри — не одолеешь.

— Одолею, тетя, одолею! Я привычный... Где он, покажите!

Мамат засуетился, боясь упустить такой счастливый случай. И голос у старухи похож на бабушкин. Она, видно, не поверила, что он в силах одолеть пень,

но, может быть, ее подкупит его усердие... Он пошел за ней следом и увидел огромный тополиный пенёк в конце двора, похожий на слоновью ступню.

— Начнём, — деловито сказал Мамат, осторожно кладя переметную суму возле арыка.

— Начинай, молодец, — сказала старуха.

Чтобы найти и обрубить корни, надо большой кусок земли перекопать, и для взрослого — на два-три дня работы, старуха не может этого не понимать. Но раз сказала: «Начинай» — значит, знает что к чему.

— Топор, кетмень — вон там, сынок, в кладовке! — сказала старуха и пошла к дому.

Дом был из одной комнаты и айвана — бедновато, конечно. Что здесь нет мужчины, видно и по заросшим арыкам, и по рухнувшему карнизу. И кетмень лежит без хозяина, и топор давно не точен. Старуха в доме весело разговаривала с кем-то — впрочем, ясно, с ребенком. Ребенок, похоже, маленький: он пару раз ответил ей, голос то-онкий.

— Заррагуль, сейчас вынесу тебя на айван, посмотришь, как братец работает! — говорила старуха.

Заррагуль... Значит, девочка. Больна, что ли? «Братец» подвязал разинутые носы чарыков веревкой и принялся за работу. Иней стаял, земля сырая, мягкая. До раскинувшихся во все стороны корней было еще далеко, но работа пошла. В обед старуха вынесла касу подогретой кукурузной каши. Мамат деловито вымыл руки, пошел на айван. В солнечном углу сидела Заррагуль с завернутыми в одеяло ногами, у губ она держала медный чанковуз. Так вот кто выводил эту слабо доносившуюся до него грустную мелодию! Заррагуль оказалась вовсе не маленькой, ей, как и ему, лет тринадцать, только голос слабый, тонкий — наверное, от болезни. Старуха вышла на айван, встала чуть поодаль, опершись на столб. Пальцем подпирая щеку, она, казалось, с упоением наблюдала за Маматом, который с истинно мужским аппетитом уписывал кашу.

— И кому, богом данному, ты доводишься сыном? — спросила она, когда он доел и, осторожно отдуваясь, выскребывал касу. — Кого ищешь в этих краях?

Ласковая старуха, по голосу ясно. И Мамат, всё время опасавшийся расспросов, на этот раз коротко рассказал ей обо всём, что с ним случилось в жизни, умолчав только историю ящичка в переметной суме. Он уже встал, чтоб идти работать, но старуха все не унималась:

— А этот приют... куда ты собрался... годится он для тебя, сынок?

Мамат пожал плечами.

— Ну, ладно, сынок, да пошлет тебе бог удачу!

До вечера Мамат заметно углубился в землю. Если завтра удастся найти и перерубить главные корни — бог даст, можно будет уже перевернуть пень. Но все тело так ломило и ныло, что он не мог вспомнить потом, где и как лег спать. Проснулся под навесом, где была привязана коза, на сене, обнимая руками свою переметную суму, а над ним, улыбаясь, стояла старуха с ведром в руке.

— Хотела постелить тебе, а ты уже уснул. Ну и не стала будить. Видно, здорово устал, сынок, а? Спал-то хорошо?

— Очень хорошо. Спасибо, тетя!

Мамат удивился, что переметная сумка оказалась с ним: как ни старался, он не мог вспомнить, чтобы тащил ее сюда и положил в головы. Видно, это вошло у него в привычку. Ну да ладно, ведь здесь-то опасаться нечего. Да и старухе, кажется, большее удовольствие потолковать с ним, чем увидеть пень выкорчеванным. Вот и сейчас: работы — край непочатый, а она зовет его завтракать козьим молоком.

Заррагуль грелась на солнышке — на том же месте, что и вчера.

— Я испугалась, что вы ушли, — сказала она своим тоненьким голоском. Мамат быстро глянул на нее. Испугалась? Чего? Девочка, словно услышав немой вопрос, улыбнулась, приподняв черные брови.

— Пока не выкорчую пень, не уйду, Заррагуль, — сказал он.

— А потом? — в голосе ее прозвучала жалобная мольба. Ну, что ей ответить!

— И потом... и потом, Заррагуль, буду с тобой разговаривать!

Стыдно будет, если и сегодня не выкорчую пень, думал Мамат, орудуя кетменем. Обедать он не пошел. Горки красноватой земли вокруг ямы доходили уже ему до пояса. В сумерках он отряхнул одежду и пошел на айван. Заррагуль сидела там и чуть не плакала: она ждала его с утра, измучилась вся.

— Чего ж ты спать не пошла?

— Вы же обещали поговорить со мной... — Тон у нее был разом и ласковый и обиженный. Ему захотелось

погладить ее по голове. «Была бы у меня такая сестренка...»

— Что у тебя болит, Заррагуль?

— Нога. Весной поправится, дядюшка лекарь говорил. Весной на холмах растет такая трава... Я забыла, как-то чудно называется... ну, лечебная трава. Бабушка нарвет ее — и потом...

Обиды в ее голосе как не бывало, она зачестила, затараторила. Оказывается, она такая же болтушка, как все девчонки. Мамат поглядел на ее красиво сведенные брови и улыбнулся.

— А потом... потом, когда я выздоровлю... вы не уйдете?

— Весной, когда ты выздоровеешь, я вернусь, Заррагуль.

— Правда? Правда, вернетесь? Обманщик вы...

Тут вышла старуха.

— Эй, девчонка, не разговаривай так с братом! — сказала она строго. — Пади я за тебя жертвой... Идем, идем, я уж постелила тебе... — И она унесла Заррагуль вместе с одеяльцем. Видно, легка, как перышко, бедняжка. Эх, будь это возможно, Мамат носил бы ее на руках и, глядишь, вылечил бы ее. В ушах звучал ее сладкий голосок, в глазах стоял болезненный, невинный милый облик.

Старуха снова вышла:

— А тебе, сынок, я постелила здесь, на айване. Ты заставил меня вчера устыдиться — заснул в хлеву, вместе с козой. Что ж, у меня в доме места нет? — Она вгляделась в его лицо и присела рядом. Лампа на столбе горела с треском, отбрасывая круги тусклого света.

— Если у тебя какие неприятности, сынок, ты скажи. Мы тебя полюбили, веришь? А какая-то заноза есть у тебя в сердце, я же чувствую...

— Да нет, тетя...

— Кажется мне, не тянет тебя в этот приют.

— Почему?

— Да уж не знаю. Ты сирота, мы тоже. Оставайся. Буду тебе вместо матери, наш дом — и твой будет. Прокормимся, сынок. И Заррагуль поправится, бог даст. Ей уж недалеко — скоро взрослой станет. Будет лежать к ней сердце — поженю вас... Она хорошая девушка, Заррагуль, умница...

— Да, — сказал Мамат невольно, но тут же опом-

нился, даже отодвинулся чуть. — Что вы, тетя, о чем говорите....

— Ну-ну, хороший ты паренек.

— Вы же меня не знаете!

Старуха глянула на него пристально, помолчала мгновенье.

— Значит, мы тебе не понравились, — сказала она и снова умолкла.

Молчал и Мамат, хотя слова внутри у него теснились и рвались наружу. Не понравились! Понравились, тётушка! И он бы счастлив тут остаться. Но не может. Не может! Он — раб шкатулки, той самой, что прячется в его трепаной переметной суме. И он тут же начинает корить себя, что расслабился, как не подобает мужчине. Ишь, издевается он над собой, поработал за еду — и привлек к себе беду!

Старуха собрала бедный дастархан и пошла было, потом остановилась.

— Судьба, сынок, — сказала она. — Плов за нами... — В голосе у нее были слезы.

Она задула лампу и исчезла. Вот, думал Мамат, обидел женщину, которая тебе, сироте, готова была стать матерью! Можно сказать, оттолкнул мать ради этих чертовых сокровищ! Да ведь не мне эти сокровища, не мне, сказал он с отчаянием. Он бросился на постель, закрыл глаза. Где-то далеко возникла грустная мелодия. Это Заррагуль играет на чанковузе, и тонкий звук смешивается с отдаленным блеянием овец.

Уснув, он оказался участником какого-то удивительного обряда с карнаями и сурнаями. Все бы ничего, но болела поясница. Это — от того ящичка, понял он и махнул на все рукой, продал и ящичек с содержимым, и все остальное, что у него было, починил старухе карнизы, возле старого дома выстроил новый, тоже с айваном, на месте вырытого пня посадил цветы. В конце концов, это не чья-нибудь, а его свадьба: он женится на Заррагуль. И старуха так рада, так рада...

Ведь это его бабушка!

— Бабушка, где ваш камзол? — спрашивает ее Мамат. В ответ бабушка начинает плакать, и Мамат понимает, что с камзолом дело плохо.

— Не плачьте, бабушка, я ваш сын, я остаюсь здесь, не плачьте! Я истрочу все золото, но осчастливорю вас с Заррагуль! — говорит Мамат, но старуха все плачет, не может остановиться.

И когда на рассвете Мамат открывает глаза — и в самом деле, немного поодаль от него сидит на айване и плачет старуха. Странно, наверное; он и во сне слышал, как она сидела тут и плакала. Тут другая часть недавнего сна всплывает у него в памяти — как он продал ящичек, — и он встревоженно щупает суму под головой. Слава богу, ящичек на месте, никому он его не продал! Вставай же, вставай, раб божий, не знающий, что будет с тобой завтра! Идти надо...

Заметив, что он проснулся и возится, старуха подошла.

— Что тебе дать, сынок, чтоб ты был доволен?

— Мне? Две лепешки, тетя, больше ничего. Две лепешки на дорогу и ваше благословение.

— Только-то?

— Да-а... я у вас ел-пил, слушал ваши добрые слова. Дай бог вам силы, а внучке вашей здоровья и счастья.

Старуха пошла в дом — на цыпочках, чтобы не разбудить Заррагуль. И вышла с четырьмя лепешками и бязевым халатом («от сына умершего остался, отца Заррагуль»), поясным платком, старыми сапогами.

— Хоть и старые, но от души, сынок! Обуйся, осень холодная наступает.

У Мамата душа переполнилась благодарностью, нежностью... может, и слезами... Но он постарался не показать виду — просто поклонился низко. Халат был длинноват, но если затянуть платком — ничего, сойдет. Сапоги... для мужчин не бывает маленьких и больших сапог! А вот лепешки — сказал «две», значит — две! Все! Конец!

Старуха его благословила.

— Будем живы, тетя... увидимся! Приду повидать Заррагуль, обязательно приду! Не плачьте.

И он — груз на плече, лепешки в поясе — шагнул за калитку, не оглядываясь, пошёл по улице. Калитка не стукнула ему вслед. Значит, старуха стоит, смотрит.

10. «МАСТРАПЫ»

Мамат легко одолел холмы и вышел на проселок. Горизонт впереди побледнел; холодный, медный, лишенный сияния диск осеннего солнца уже показал краешек, но в утреннем холоде земля затвердела, тянуло пронизывающим ветерком. Когда солнце поднимется выше, по-

теплее, конечно, — недаром воздух так чист, а на ветках тутовника серебрится паутина.

Сегодня надо пройти как можно больше: он сыт, обут, отдохнул, день хороший. А главное — он доволен собой. Лишь бы удача не отвернулась. Еда пока что есть, надо обходить кишлаки, сторониться больших дорог. Ясно, людей больше хороших, чем плохих, но рисковать глупо. Придет время — и Мамат обзаведется кучей друзей, не будет шарахаться от встречных, досыта поговорит и повеселится, а пока что — в Симе ждут его триста сирот! Он несет им избавление, они же оставят его с собой, оплатят верной дружбой.

Весь день он шагал в одиночестве, выбирал полевые тропки, где пахло клевером; на пастбищах ласкал жеребят за холки; жевал куски лепешки, намочив в холодной родниковой воде; в пожелтевшей тутовой роще перематал портянки, передохнул, даже подремал немного в безлюдных зарослях. Но без людей тоскливо — тяжело, если не с кем перекинуться хоть словом! Когда в сумерках у подножья дальнего холма замигал огонек, Мамат обрадовался. Это костер подпасков! Точно, точно... Осенью, когда стадо возвращается, ребята, оказавшись в ночном, разводят большой костер, закапывают в угли овощи, чтоб испеклись, пьют кобылье молоко, ведут рассказы о девушках, волках...

Так и оказалось — подпаски. Когда Мамат подошел, он услышал треск огня, хруст сухой травы под копытами стреноженных лошадей; но подпасков было всего двое: один сидел на пятках, опершись на колени, другой лежал на боку, на темных лицах играли отблески пламени: кобыльим молоком и не пахло, и разговоры были не о девушках. Один из подростков, чуть старше Мамата, тот, что лежал на боку, сбегал на ближний, осенний, перекопанный огород, принес свеклу, закопал в золу. С виду невзрачный, уши торчат, лицо все в угрях, зато умное и серьезное. Второй — помоложе — был худ до невозможности, вспылчив и зол. Узнав, куда Мамат держит путь, он сказал злорадно, с усмешечкой:

— Гляди-ка, на поезд захотел... Умора! Ты разве не слышал, что поезд сожгли? Так что возвращайся домой, малый!

— Не поезд, а станция сгорела, — возражал старший. — Поезд из железа, разве железо горит?

— Гори-ит! Три дня и три ночи горело, дым, говорят, до Оша дошел!

— Это вагоны сгорели, дома на станции, понял? А железо не горит. И путь для поезда — тоже из железа, сам видел. Что ему огонь? Иди, брат, иди, если доля твоя — там, уж как-нибудь доберешься. Только ночами, смотри, по улицам не расхаживай! Кто бродит по Джелалабаду ночью, тех всех хватают.

— Там что, басмачи есть?

— Не басмачи, а мастрапы.

— А это кто такие?

— Да все они одно, хрен редьки не слаще!

Но старший объяснил терпеливо:

— Это казаки-солдаты. Одеты хорошо, на конях, говорят тебе «Здрасти-пожалиска», а детишек, оказывает, на пики сажают. Тёте Халдар отрезали груди как матери красноармейца... так и померла, бедняжка.

— Сам видел? — спросил Мамат.

— Правда это! Хоть сам не видел. Когда они в нашем кишлаке появились, их красные прогнали, но, говорят, они опять вернулись.

— Что же будете делать?

— Ну, бабушка будет дома сидеть, старая она, я с конем за холмами... как-нибудь пробуду, пока не уберутся. А вот Эргашу худо. Отец его ушёл, в Красную гвардию записался. Теперь Эргаша с матерью прятать надо, вот мы о чем думаем. А откуда ты пришёл — там спокойно?

Мамат подумал.

— Спокойно, — сказал он наконец. — Вот что... я там в одном доме пень корчевал... — И он стал подробно рассказывать, как найти дорогу к дому старухи. — Скажете, от Мамата... он, мол, просил... — Он искоса глянул на Эргаша: не будет ли заглядываться на Заррагуль?

Тут и свекла испеклась. Эргаш достал нож, счистил кожуру, нарезал свеклу ломтиками, положил на циновку; потом облизал покрасневшие пальцы, вытер нож о мешок и сунул в ножны. Мамат наблюдал за ним с интересом, во всем, что тот делал, чувствовалась сноровка. Мамат достал лепешку и щедро ее разломил. Ребятам это понравилось. Они ему тоже понравились. Молча поели. Костёр догорал, кони ржали. Ребята растянулись у костра, а Мамат, узнавший для себя столько важного, стал прикидывать, что да как — и вдруг ему стало страшно. Так страшно, что даже во рту кисло сделалось, и пропал сладкий вкус свеклы. Но что ему делать? Возвратиться

не может, выбора нет. Остается только дальше идти да быть поосторожней. Он посмотрел на заснувших подпасков: они, по крайней мере, знают, что им делать, могут все обдумать заранее. А он...

Он ещё немного посушил над затухающим костром снятые портянки, обулся. На востоке светлело. Переметная сума отяжелела от инея, он встряхнул ее, надел на плечо и тихонько пустился в дорогу.

Тропинка для скота, которой он шел, петляла понад оврагами, по кукурузным полям и наконец вывела к проселку. Арбы истолкли пыль в мельчайший порошок, она доходила до щиколоток, летела в ноздри. Даже ночная сырость не могла ее утихомирить.

Вскоре вдали показались купы деревьев, одинокие шалаши и усадьбы. Когда встало солнце, вдалеке, по соседней большой дороге, проскакали какие-то всадники, и Мамат с тревогой глядел на оставляемое ими пыльное облако. Несло запахом гари: так пахнет, когда загорится кошма или хлев. Наверняка впереди городок или большой кишлак. Неизвестно только, в чьих он руках! Но как найти обходную дорогу? Только — подойдя ближе.

И впрямь, когда солнце уже клонилось к западу, Мамат увидел с холма городок. Он раскинулся широко и упирался в горизонт. Чтобы его обойти, надо было вернуться обратно, до ночи не успеешь. Городок был какой-то голый, почти без деревьев, низенькие домики стояли редко и беспорядочно, безлюдные улицы и площадь пылились на солнце. Мамат пошел огородами и вскоре вышел на окраинную улицу. Тихий пустой перекресток, в тени двух акаций разбитые сури с неубранными листьями. Внизу, у испорченной мельницы, журчит арык. Мамату хотелось пить, но к арыку он спускаться не стал — хотелось побыстрее миновать открытое место: было слышно, как по дальней улице проскакал всадник. Топот, казалось, разнесся по всему городку. Когда он смолк, Мамат в тени дувала перешел на другую улицу. Снова стояла тишина, но какая-то особенная, наводившая панику: казалось, в самой сердцевине ее таится источник страха. Мамат пошел было по улице вперед, потом вернулся, снова пошел в прежнем направлении, скользнул в первый попавшийся переулок. Он попытался сказать себе, что так нельзя: если кто-нибудь его видит — что подумает! Но взять себя в руки не мог, чувство страха было сильней.

Он опять шел вдоль дувала узкой улочки, когда впереди, за углом, ему послышались голоса. Каждый звук доносился четко, как выстрел, и заставлял вздрагивать. Вдруг он увидел: через перекресток впереди движется конник (не тот ли, что скакал недавно?), а за ним пятеро солдат гонят толпу ребятишек в лохмотьях. Мамат прижался к дувалу. Шапки с зелеными полосами... кавалерийские сапоги... казаки! Это они и есть, мастрапы, о которых говорил Эргаш! Но дети-то, дети что могли натворить? Неужели все это воришки? Во всяком случае, отсюда надо убраться подальше.

Он пустился назад по пыльному лабиринту, уже окончательно потеряв представление, где находится и куда можно выйти. Пройдя десятка два шагов по какой-то очередной улочке, свернул и очутился на голой площади. Мамат даже не успел сообразить, что именно ее видел с холма: одновременно с ним из другого переулка вывалилась погоняемая казаками толпа ребятишек. Из третьей улочки в нее влилась еще одна. Дети сбивались в тесную кучу перед деревянным заграждением — большие и меньшие, босые, грязные, чесоточные. Наверняка их собрали отовсюду — с улиц и базара, из развалин, бань, хумданов... Может, собираются отправить в приют? Или... Додумать ему не дали, за спиной неожиданно раздался топот, он обернулся — красивый офицер с усами цвета латуни с огромной лошади нависал над ним. Миг — и, схватив Мамата за ухо, дернул так, что солнце померкло, мир погрузился во тьму — и рассыпался каскадом искр.

11. БАНЯ

Совсем близко от себя он видит офицера: прядь волос выбивается из-под фуражки, усы отливают латунью, белые зубы сверкают, когда он приоткрывает рот в усмешке, пахнет потом и табаком. Нет, Мамат не теряет сознания, вот сейчас даже посветлело перед глазами, только ноги как-то заплетаются, это оттого, что он не видит, куда их ставит. Как ухо болит — нет, это уже не ухо, вся левая половина головы, вся голова горит, распухает, как огромный нарыв. Куда его ведут? Да не все ли равно, лишь бы скорей... Он пробовал вырваться, но этот «мастрап» шутики не шутит, он может ухо с корнем вырвать.

Мамата мутит от запаха седла, что скрипит рядом. Похоже, сейчас он все-таки потеряет сознание... что ж тогда будет? Надо сделать что-нибудь, но что... Собрал последние усилия, он вцепился обеими руками в обшлаг офицерской гимнастерки, на мгновение повис в воздухе, как бы для того, чтобы облегчить боль в ухе — и, как-то изловчившись, укусил волосатую веснушчатую руку! Вскрик, сильный удар, он летит на землю, мокрую от конской мочи, ударяется боком... Первая мысль: ухо осталось в руках усатого! Нет, вот оно, горящее, распухшее... А сума? Где переметная сума?! Да вот и она здесь, рядом, на нее-то он и свалился.

Рот у него полон пыли, он и сам весь в пыли, один сапог почти слетел с ноги. Он поднимает глаза: толпа ребят, которую он видел издали, окружила его и хихикает. Значит, это офицер так пнул его, что он отлетел к загнанной в загородку толпе! Удивительно, как это сума уцелела. За деревянной загородкой прохаживаются несколько солдат с винтовками, всадников нет, усатого тоже не видно. Но Мамат его вовек не забудет. «И он меня тоже, — с удовлетворением думает Мамат, — здорово я его укусил...»

Ребята, поглядев на него и посмеявшись, расходятся, а он исподтишка разглядывает их: рваная одежда, ноги, обмотанные расплзающимся тряпьем, обутые в старые калоши, непарные чарыки; лица сопливые, грязные (сейчас и у него не лучше!), рябые, с кривыми выступающими зубами... Непонятно только, почему они так равнодушно воспринимают все это? Они — ровесники Мамата, или моложе, их набралось уже человек сто, вон даже строятся в очередь вдоль дувала, толкаются, препираются, обмениваются тумачами, галдят, меняются какой-то мелочью.

Перед Маматом останавливается подросток с болячками на голове, смотрит на Мамата не то с интересом, не то с недоумением и спрашивает, наконец:

— Чего ж ты его укусил? Для твоей же пользы... Подумаешь, искупаешься в бане...

— В бане?! — говорит Мамат, не веря своим ушам. Впрочем, не верить левому своему уху он никак не может: горит, мучит, проклятое. Но то, что сказал этот, с болячками, прямо-таки откровение. Значит, всего-навсего баня... — Что ж, вы в баню в очереди стоите?

Кто-то из стоявших поблизости засмеялся. Мамат не понял — почему. Подросток пожал плечами и отошел.

Перед Маматом остановился длинный парнишка с крючковатым носом, в какой-то необычайно засаленной тюбетейке — такой грязной Мамат и не видел никогда. Длинный оглядел Мамата спокойно, по-хозяйски, оценивающим взглядом.

— Ёлки-палки! — сказал он. — Да у тебя ухо — как подстилка!

Сбоку снова засмеялись, Длинный прекратил смех одним взглядом. Мамат пощупал ухо: оно опухло, стало как маленькая сдобная лепешка, и на каждое прикосновение отзывалось острой болью. Он скривился.

— Что, правда... нас в баню?! — спросил он Длинного. Похоже, на его слова можно положиться.

— А как же? Правда. — Длинный усмехнулся. — Что, в бане никогда не был?

Подбежал маленький пацан в огромных калошах.

— Смотри! — закричал он. — Ухо уже как свекла стало!

В толпе подхватили:

— Скоро будет как головешка!

— Как арбуз!

— А в бане — лопнет! Ха-ха!

Длинный опять глянул — выкрики разом смолкли. Главный он тут у них, что ли?

— А зачем тогда... солдаты? Насильно? — спросил Мамат.

Длинный презрительно глянул на толпу мальчишек:

— Ха! Если их насильно не заставить, в жизни не помоются!

Тут подал голос подросток с болячками:

— Это не простая баня! Вши, гниды, зараза — все сгорит...

— Зараза?

— Да ты что, не знаешь — в городе мор? Откуда ты свалился?

— Разве болезни в бане лечат?

— Э, темный какой!.. Это такая баня, что сперва тебе волосы наголо снимут. Всю одежду в огонь побросают...

— Всю одежду? В огонь? А как же потом?

— Слушай его больше, — лениво сказал Длинный. — Одежду не в огонь бросают, а только обрабатывают... на жару или на пару...

— Это как?

— Внутри железного сундука.

— А потом?

— Все.

Мамат ничего не понимал. Зачем солдатам чистота этого рванья?

— А потом, — сказал он, — наденем свое тряпье и можно уходить?

— Ёлки-палки! — Длинный потерял терпение. — Да можешь катиться на все четыре стороны! Дез-ин-фек-са называется. Карантин! Не слышал никогда? Тиф в городе, понял? Что, из-за твоего вонючего халата да рваного мешка казаки помирать должны? Ёлки-палки, тупой какой! Или ты раньше только с козами разговаривал?

В толпе прозвучали осторожные смешки.

Дело-то паршивое, думал Мамат. Неужели так и кончится моя дорога? Он пытался придумать какой-нибудь выход, и не мог. Мысли его путались, дрожь начала бить. Никогда он еще так не боялся.

— Э! — сказал подросток с болячками и снова подошел. — Да ты ж весь мокрый... — Он присел перед Маматом на корточки и зашептал: — Если у тебя тиф, не показывай, что дрожишь, понял?.. А то солдаты уведут. А кого уводят, не возвращаются...

Мамат кивнул. Никакого тифа нет, думал он, просто мне страшно. И выхода нет. Он глянул на солдат. С этой стороны не пройти, много их. Позади дувал — высокий, без дыр. Был бы еще вечер... Одна дорога отсюда — в баню, но войти туда — значит отдать ящичек собственными руками. Да работай же, голова! Не хочет, болит. Проклятый офицер... Ну-ка, ну-ка! Та-ак, пускают в баню только по шесть человек. Время, значит, еще есть. Одному, конечно, здесь ничего не сделать. Надо напарника найти. Но кому из этих можно раскрыть тайну? Одни наверняка воришки, другие — сопляки, третьи струсят. Даже начинать разговор опасно.

— Послушай, — сказал Мамат подростку с болячками, — а мы... мы сами будем сбрасывать одежду в этот... железный сундук?

Длинный вмешался:

— Не сундук, а камера! Из дивизиона привезли. Тебя к ней даже близко не подпустят. У тебя еда какая-нибудь есть? Обнимаешься со своей сумой — небось, жратвы полна, а?

У Мамата оставалось два сбереженных куска лепешки — он их тотчас отдал, чтобы замять разговор о содержимом сумы.

— Эй,— сказал он Длинному, уплывавшему его пешку,— откуда русские слова знаешь?

Длинный самодовольно ощерился:

— У казаков выучился! Они уж тут один раз были — ну, когда город горел. А, ты не отсюда. Ну, я тогда с одним фельдфебелем подружился. Каждый день к нему приходил — он мне коня доверял, а я садился верхом и купал конягу в Узгенсае. У, весь круп блестел, как лаковый! А через четыре месяца красные пришли, казаки и убрались восвояси.

— А где сейчас тот?

— Кто?

— Ну... фибил!

— «Фельдфебель» надо говорить! Теперь тут другие какие-то. Иначе я б тут разве с вами сидел, ёлки-палки! — И Длинный смачно плюнул сквозь зубы.

Нет, этот не подойдет, думал Мамат, этот продаст. Коня его купал, «ёлка-палка». Он твой город поджег, а ты ему коня купал. Может, и плевать сквозь зубы у него выучился? А не он — так кто? Этот, с болячками? Парень вроде добрый, да уж больно хилый. И робок. Остальные — у них всех вид такой жалкий, больной. А тут надо напарника крепкого, жилистого, да чтоб понятливого, попройдошистой. Один тут такой — Длинный. Роста он подходящего. Время-то бежит, группы по шесть человек одна за другой входят в баню, глядишь, и ему, Мамату, срок выйдет. Вечер уже на носу.

— Слушай-ка,— сказал Мамат Длинному, дремавшему рядом. — Ты, часом, не трус?

Длинный сразу проснулся.

— Что-о? — спросил он грозно. Но по выражению Маматова лица понял, видно, что за вопросом кроется какое-то дело. — Чего надо-то?

— Тайну умеешь хранить? — Мамат понизил голос.

— Могила! — с готовностью сказал Длинный. — Хочешь, землю съем?

— Да нет, не надо. Я не насчет воровства, не думай. Тут другое дело. Эту вот переметную суму надо отсюда вынести. Чтоб в баню не вносить.

Длинный даже рот разинул от удивления. Вытягивая тонкую шею, он огляделся вокруг.

— Ка-ак? — спросил он наконец.

— Сперва в баню я пойду, а суму тебе оставляю. Отойдешь в сторонку, удержишься. А я, как выйду из бани, заквакаю за дувалом по-лягушачьи. Понял? Уже

темнеть будет! Как услышишь кваканье, перебросишь через дувал. Ну, идет?

Длинный насупил брови и уставился сперва на Мамата, а после на суму. Взгляд у него был такой, что Мамат понял: не надо было доверяться! Его даже дрожь пробила.

— Ёлки-палки! — сказал Длинный. — А в ней что такое? — И он ухватился за суму.

Мамат резко отвел руку. Длинный почувствовал, что Мамат сильнее, и ослабил напор.

— А мне-то что отломится? — спросил он.

— Тише ты... Сапоги отдам. Вот, видишь? Хорошие еще сапоги, не старые! Вытрешь пыль — и заблестят.

При виде сапог взор Длинного умаслился. Но тайна переметной сумы покоя ему не давала. Он боялся прогадать. Потом, должно быть, сообразил: суму-то ему доверят, если он согласится! Он же с ней наедине останется. Мамат так и прочел эту мысль в его заблестевших глазах. Не промах!

— Эй, Длинный, согласен, что ли? — спросил он как можно равнодушнее.

Но и Длинный решил продолжить игру:

— Не скажешь, что там, — не стану рисковать!

Отступать было некуда.

— Ясно что — золото! — сказал Мамат спокойно. Длинный ухмыльнулся.

— Ври больше! — сказал он, толкнув Мамата в плечо. Поднялся и отошел шага на три. Потом остановился, обернулся. Мамат, собрав все силы, чтобы унять дрожь, глядел на него так же спокойно и равнодушно. Длинный не выдержал, вернулся, снова присел на корточки.

— Давай правду говори! Чего у тебя там?..

Мамат поманил его пальцем, сунул руку в суму, нащупал застёжку ящика, покопался в нем, и, не вытаскивая руки, показал Длинному какую-то вещицу, зацепившуюся за пальцы. Цыганские серьги блеснули — и пропали... Мальчики воровато огляделись по сторонам, стараясь сделать безразличный вид. Вроде никто ничего не заметил, очередь в лохмотьях стерегла мух, играла в ащички; скучающие солдаты курили самокрутки.

— Ну? — спросил Мамат тихонько, глядя по сторонам.

Длинный, тоже не глядя, ответил хриплым шепотом:

— Чего — ну? Тебе — золото, а мне — старые сапоги?

Они замолчали, выжидая оба. Длинный не уходил, думал Мамат. И куда ему уходить? Сидит. На крючке.

— Так что скажешь?

— Отдашь т о! — сказал Длинный.

Хитрый, гадина. А я ведь тоже на крючке, думал Мамат. Мне от него не отцепиться теперь. Да и цыганские серьги эти проклятые на базаре чуть было уже не уплыли. Такая, видно, судьба воровская. Если бог даст уйти отсюда целым и ящик спасти, этой своей глупости до смерти не забуду.

— Ладно, — сказал Мамат. Он думал, в глазах Длинного вспыхнет торжество — ничего подобного. Видно, аппетит разыгрался: мало уже ему этих серег. Длинный вдруг поднялся, бросил шепотом: «Сиди и не шевелись!» и ушел. Куда это он? И что задумал? Лишь бы беду за собой не привел. Чаша терпения переполнилась, Мамат уже готов был кинуться сквозь строй солдат. Ясно ведь, это верная гибель, но что делать?

Длинный возвратился через полчаса, усталый. Мамат поглядел ему в глаза: в них читалось чувство явного превосходства. У, пройдоха!

— Порядок! — сказал Длинный. — Пошли... — И, ухватив его за рукав, повел Мамата вдоль дувала. Старый дувал, сложенный из пахсы, кирпича, камней, глины, был высокий и ветхий, от нижней части несло вонюю. Длинный довел Мамата до конца дувала и потащил обратно.

— Ну? Пробоину под дувалом видел?

— Пробоину? — Там была не пробоина, а русло старого арыка, проходившее под дувалом и теперь почти доверху забитое глиной. В него не пролезла бы и крыса. Если он считает это пробоиной... — Ну, видел, — сказал Мамат, помедлив.

— Я буду около нее сидеть, положив под себя суму. А ты, как выберешься из бани, начнешь с той стороны вынимать глину, пока не доберешься до сумы. И вытащишь ее на ту сторону. Ясно?

— А ты?

— Обо мне не беспокойся. Только вытащи суму — я тут же рядом окажусь.

Мамату все представлялось куда сложнее, он обрадовался простоте освобождения.

— Ну, подходит? — нетерпеливо спросил Длинный. Мамат кивнул.

— Только одно условие... — Длинный положил руку

на суму. — Что в ней есть, все делим пополам! Уразумел?

Мамат побледнел и замер, глядя в лицо Длинному. Цепкие глаза и крючковатый нос сделали его теперь похожим на хищную птицу. На стервятника.

— Ну и подлюга ты! — сказал Мамат, сплюнув. Он сперва не мог даже слов найти. Потом сказал: — Если я отдам половину вон тому усатому, он меня и так выпустит, и копать не придется!

Длинный захохотал.

— Ну, дурак. Равных нет! Что ж, мастрап половиной будет доволен? Да он у тебя все заберет, да тебя ж и прикончит! Скажет — ты вор!

— Я не вор!

— Ну да, тебе это с неба свалилось...

Грубый голос рывкнул за спиной Мамата:

— Эй, вы-ы! — Солдат прикладом расталкивал задремавших ребят, которым подошла очередь идти в баню. Мамат оказывался в этой группе последним, шестым.

— Ладно, договорились... — сказал он Длинному с отчаяньем в душе и побежал.

12. ХАЗРАТ ХЫЗР

Были уже густые сумерки, когда он вышел через здание бани — с наголо выбритой головой, в теплой, влажной, мерзко пахнущей одежде. Убедившись, что кругом — никого, Мамат двинулся вдоль дувала, отыскал старое русло, присел на корточки и, опасливо озираясь, запустил пятерню в глину. Не обращая внимания на вонь, пот, снова, как в парилке, обливший его с ног до головы, ломая ногти, сдирая кожу, он выскреб окровавленной рукой почти весь этот годами собиравшийся вонючий затор. Но когда пальцы задели за переметную суму, Мамат разом обмяк. Почти теряя сознание, напрягаясь из последних сил, он вытащил намокший мешок наружу и свалился рядом. Надо пощупать, на месте ли ящичек, тяжел ли, говорил он себе. Сейчас, отвечало обессилевшее тело, потерпи малость, передохни.

Но тут послышался за стеной грубый окрик — похоже, того самого солдата, что расталкивал очередь:

— Сто-ой, долговязый!

— Ёлки-палки, пусти... — это Длинный крикнул. Потом что-то упало с глухим тяжким стуком.

Мамат не успел даже осознать, что случилось, —

страх подстегнул его, как кнут выдохшуюся кобылу: он встрепенулся, обхватил суму, вскочил и метнулся в темный кустарник, несколько секунд постоял там, затаившись и прислушиваясь, потом побежал дальше, не разбирая пути; его дыхание и хруст веток под ногами были, казалось Мамату, слышны на всю округу. Скоро он сбежал в какой-то овраг, а может, русло высохшей реки, из-под ног вывертывались и летели камни, он падал, поднимался, снова бежал: бегом, шагом, ползком — лишь бы уйти подальше.

Он решил, что будет бежать без остановки — до самого рассвета, — но вскоре ноги увязли в болотной жиже, он упал и встать уже не смог. Видно, все вокруг, потревоженное звуками его шагов, затаилось: стояла мертвая тишина. Где он? Выбрался ли из города? Наверное, выбрался, а вокруг — поля, не бывает в городе таких оврагов... Он стал думать о Длинном: поторопился, полез прямо через дувал — вот и попался. Побоялся упустить его, Мамата, — долю свою упустить. Ненасытная душа! А может, его убили? При мысли об этом отвратная холодная слабость поползла у Мамата по низу живота. А ведь сам он виноват, жадюга. Говорят же — коль бог дал верблюжий рост, так дал бы еще и ума на вершок!

Передохнув, Мамат еле-еле выбрался из вязкой грязи, сапоги, перемазанные красной глиной, снял и повесил через плечо, поверх переметной сумы. Рассвет забрезжил — и только тут Мамат понял, что идет вдоль тихой речушки. Спустя недолгое время она вывела его к сильному, мерно шумящему потоку. На влажной береговой террасе и теперь, поздней осенью, оставалась зеленая трава, она сладко холодила горящие ступни, а вид прозрачных струй пробудил в Мамате затаенную жажду.

Ох, до чего ж сладкая была вода! Сладше родниковой на пастбище... Мамат лежал на берегу, припав губами к краешку потока, и все никак не мог напиться досыта. Заломило зубы. Мамат приподнялся на руках. На торчащий у берега красноватый камень села синица. Не пугаясь его взгляда, она передвинулась на тонюсеньких ножках к самой воде, зачерпнула клювиком, подняла головку, снова зачерпнула. «Вкусно, а?» — сказал ей Мамат, улыбаясь. Она покачалась, издала тоненький утвердительный звук и улетела.

Мамат вдруг остро ощутил — пронзительно-ласковую свежесть утра, небо над собой, чистое, голубое, как

вода в речке, вспорхнувшую синицу; усталость ночного бегства сменилась мгновенной удивительной легкостью: захоти — и сам взлетишь, как эта птичка-невеличка! Тишина казалась звенящей. Он наставил уши, словно собака: что это звенит — жаворонок? Пчела? Или просто в ушах звон стоит? В мозгу у него вдруг возникла такая же тонкая, нескончаемо печальная и милая мелодия Заррагуль. Бровки — **гзк** лепестки камыша... глаза сияют, как... нет, и не скажешь как.

Тут слух Мамата уловил новый звук: словно кто на каблучках мелко-мелко ступал по камешкам. Тем берегом речки ехал человек на ишаке. Мамат сперва увидел фигуру всадника: старик — белая чалма, белый халат, белая борода. Мамат почему-то ничуть не испугался, не стал прятаться, а уставился, как замороженный. На пастбище частенько рассказывали о святом Хызре — покровителе путников и пастухов: он-де в белой одежде и бороде, а кому встретится, у того исполняются все мечты. А вдруг... вдруг это и есть хазрат Хызр?! У Мамата даже сердце захолонуло. Старик и впрямь был весь призрачно-белый, как рассвет. «Помоги, хазрат-бобо», — взмолился Мамат без слов и тут же вообразил себе, как вручает золото в приюте и, освободившись от несносного груза, отправляется навестить Заррагуль. Погладит косички и скажет ей... Нет, сперва надо ее лучшему лекарю показать, как обещал! А для этого деньги нужны, одежда городская. Это же еще заработать надо. Тут он почему-то вспомнил учителя-ногайца: тот поможет! Обязательно поможет, ведь ради них Мамат и терпит все эти мучения.

Старик тем временем приблизился. Увы, это был никакой не Хызр. Мамат понял сразу: ишак у старика не белый, как полагается, а серый, обычный старый усталый ишак. Да и старик не парил над ним, а поторапливал, упираясь голыми пятками в стремя и держа в руках поношенные кавуши. Но радостное возбуждение Мамата не угасло. И пусть он не Хызр — даже лучше: живой человек!

— Ассалам алейкум, ата! — крикнул он через речку.

— Ваалейкум ассалам, о сын своего отца! — певуче и ласково отозвался старик, погоняя ишака.

— Далеко ли до огненной арбы, ата?

— А-а... — сказал старик. — Тут уже близко. Во-он там — пройдешь мост Куграт, потом сверни налево — к полудню, бог даст, дойдешь!

— Спасибо, бобо!

Он чуть было не сказал «хазрат-бобо». Самому смешно стало. А ведь и впрямь, желанье Маматова почти исполнилось: огненная арба рядом! Он не только спасся от беды, но и путь выбрал правильный. Так что старик ничуть не хуже самого Хызра. Мамат вымыл в реке сапоги, сам вымылся, намотал портянки, обулся и двинулся в путь. И действительно: едва перешел мост — за холмами, изрезанными путаницей желто-серых дорог и застывшими, как волны огромного моря, показалась вдалеке «истанса». Ее голубой домик под красной крышей стоял как на ладони — ни с чем его не спутаешь.

Мамат шел, то держа его в виду, то теряя из виду — пока, наконец, не вышел прямо к железному пути. Он сперва и сам себе не поверил — чтобы убедиться, потрогал рукой толстенный блестящий рельс и, прыгая по темным шпалам, побежал к станции. В нос ему ударил запах гари, но теперь в этом запахе была не опасность, а сладость надежды и обретения. Он вдруг ощутил, что голоден донельзя: со вчерашнего дня во рту — ни крошки!

Но на подходе к станции, на путях и около, валялись разбитые красные вагоны, никого вокруг, только черные осенние мухи гудели над мусором. Мамат замер, растерянно осматриваясь, и тут на него наткнулся человек в промасленной одежде и шапке с блестящим козырьком. Человек нес ведро мазута; он опустил ведро на землю и уставился на Мамата.

— Ты кто такой? — спросил он.

— Я... я на огненную арбу пришел.

— А, на поезд... нету поезда. Опоздал ты, сынок, малость опоздал. Сожгли. Все сожгли мастрасы. Во-он...

Он показал рукой. Вблизи аккуратное голубое здание станции оказалось все в пятнах копоти, стекла окон выбиты, дверные проемы зияют, как разинутые рты. Значит, правду говорили подпаски, вспомнил Мамат. Что же теперь? Разве хватит у него сил идти и дальше с этим грузом?

— Эй, — сказал человек. Мамат оглянулся с безнадежным видом. — Тебе куда ехать-то?

— Мне? В Сим...

— В Си-им... Ну так потерпи, сынок, потерпи немного. Дня через три... или четыре... поезд, может, и будет...

Показалось это Мамату или нет — в словах человека

помимо их прямого смысла прозвучало еще какое-то неясное, таинственное обещание.

— Дядя, — сказал Мамат. А вы кто?

— Я-то? — человек усмехнулся. — Я-то стрелочник... А ты подожди, приютись где-нибудь. Придешь дня через три...

Итак, надо сперва припрятать свой груз где-нибудь понадежней, а там и впрямь побродить по округе до поезда — может, у кого работа найдется, а глядишь, кто и так накормит. Обойдя полусожженную станцию, Мамат оказался в поселке. Редкие домишки, утопавшие в кустарниках, перемежались поросшими колючкой пустырями. Небо между тем заволокло; разом и потемнело и похолодало, хотя до вечера было долго еще. На пустырьке Мамат неожиданно споткнулся о черный холмик. Могила... Спаси аллах, не на кладбище ли он забрел? Нет, вроде, других могил не видно. Он почувствовал: ноги больше не держат. Опустив наземь суму, он и сам, как мешок, повалился на землю. Что теперь делать? Куда идти? Уснешь тут у могилы — нечистые тобой завладеют. Он коснулся ногой холмика — рыхлая земля подалась. Тут ему мысль в голову пришла. Он осмотрелся. Место легко было запомнить. Он быстро отрыл руками ямку, уложил туда суму с ящиком, присыпал сверху и завалил хворостом. Потом встал, снова оглянулся, старательно вбирая памятью приметы. И вдруг ему стало легко и свободно, точно тяжкое бремя сбросил. Его драгоценный груз отлично пролежит тут три или четыре дня — на эту заброшенную могилу и ворона не сядет!.. Мамат двинулся назад, в сторону железной дороги. Ого, оттуда потянуло аппетитным дымком!

Дымили не то перевернутые вагоны, не то горки какие-то возле них. Где-то у вагона копошились человеческие фигуры. Что ж, людей теперь можно не опасаться! Пахло хлебом. Он встал на одну из горок — тепло. Наклонился, разрыл поверхность, взял в руку горячую горсть — так и есть, пшеница! Горящая пшеница! Она жгла пальцы и ладони, но Мамат поднес ее ко рту, попробовал. Вот повезло! Он стал жадно жевать, запихивая в рот горсточки и выплевывая совсем сторевшие зерна. Ну, теперь голодным он не останется. Он так жадно насыщался, что почувствовал в животе тяжесть с непривычки. Слез с горки — и вдруг, неожиданно для самого себя, заплакал. Хлеб горит! Хлеб! Надо же...

— Эй, чего плачешь?

Мамат обернулся и едва разглядел в тени вагона подростка в лохмотьях. Подросток был примерно его роста и возраста.

— Иди-ка сюда, — позвал подросток, — сейчас дождь будет!

Мамат пошел и тут увидел лицо парня: оно было все черное.

— Эй, ты что, шайтан?

— Сам ты шайтан!

— Ты весь в саже.

— А ты не в саже?

Мамат взглянул на свои руки, они были черные от горелой пшеницы. Значит, и лицо все измазал, когда слезы вытирал! Он засмеялся, подросток тоже. Они стали хохотать, хватаясь за животы и показывая друг на друга пальцем. Отсмеявшись, Мамат почувствовал, что и на душе стало легче, и в животе как бы свободней.

— Не будет дождя — пошли собирать пшеницу! — предложил он.

— Это, — сказал подросток, — чего там собирать! В вагонах негорелое зерно есть, только еще загорается! Печеное, вкусное! Все ребята там сегодня!

— Какие это ребята?

— Да наши! Все свои. Ты с какой станции? Сейчас сюда отовсюду приشلепывают. И на следующей станции вагоны с зерном есть, да керосином пахнут. Облили, когда поджигали! А наше и так горит, само.

— Да кто поджигал?!

— Кто? Ты с луны свалился, что ли? Мастрэпы! Чтобы большевики в Сим не увезли...

— Г-гады! — сказал Мамат. Комок у него снова подступил к горлу. Он вытер пот.

— Пошли! — сказал подросток. — Я тебе вагон покажу...

Они зашагали. Дождь собирался, но все не шел, и пока они добрались до последнего вагона, край неба чуть посветлел.

— Нам бы, — сказал подросток, — и одного вагона хватило — зачем все поджигать! — Он был тощий, с тонкой шеей, только живот у него странно выпирал. Мамат, видно, ему понравился: он стал подражать его походке.

— Ну да, — буркнул Мамат. — Можно подумать, они нарочно для вас старались, зерно жарили... — Он взгляделся в то, что чернело впереди. — У-у-у, гады!.. — повторил он.

Пшеница, высыпавшаяся из последнего вагона, только начала гореть с краю. Еще можно запросто потушить, отметил Мамат про себя. На куче копошились шестеро мальчишек в лохмотьях с черными, в саже, лицами. Они обернулись на шаги. В Мамате что-то вдруг раскалилось, как железка на огне.

— Ну! — сказал он. — Жрете? Жрать жрете, а пшеница пускай горит? Это же хлеб люди растили... для людей!

Один из мальчишек сказал равнодушно:

— А что мы сделаем? Все равно сгорит.

— Значит, налопаются — и сбежите? — Он замахнулся, ответивший мальчишка отскочил. Они все были, пожалуй, младше Мамата и явно фигурами пожиже. — А ну! Давай откидывай ту, что горит! Живо! Давай, давай, руками, ногами! Доски берите! Слышали?! Давай!!!

И Мамат кинулся отбрасывать в сторону горящую пшеницу. Сперва руками: горсть, еще горсть. Еще горсть. Потом — сапогами. Потом он доску ухватил — кто-то подал. Краешками глаза он видел: остальные делали то же. Даже, кажется, во вкус вошли — переговаривались оживленно:

— А рябой-то, оказывается, силач!

— У-у... У него, наверное, поле свое — посеять хочет!

— Ха-ха... пока дождь не пошел!

— Вот бы пошел — сразу б сам все и потушил.

— А что толку тушить: зерно-то уже — ни для сева, ни для мельницы.

— Ладно, туши давай — хоть для еды сгодится!

— Сейчас бы водички...

Мамат выпрямился, хотел вытереть пот рукавом. Но кто-то его схватил за руку. Он дернул — держали сильно. Взрослый кто-то! Знакомый запах пота и табака ударил в нос. Мамат полуобернулся, увидел грубую руку, в пятнышках и со светлыми волосками. Поднял глаза: над ним, усмехаясь, стоял усатый красивый офицер.

13. НЕОЖИДААННЫЕ ВСТРЕЧИ

— Хороший баланчук... молодчик... Садись, садись! — говорил усатый, показывая на скамейку.

Сам он уселся на расшатанный стол в глубине помещения. Наверное, здесь раньше начальник станции сидел. На стене, справа от стола, висел большой пожелтевший лист с мелкими буквами. Скамейка, на которой уселся Мамат, поблескивала от пролитого мазута.

— Ну? — говорил офицер с выражением явного удовольствия на лице, которое и не думал скрывать. Он замешивал в свою речь узбекские и киргизские слова, а русские коверкал, очевидно полагая, что так они станут понятней Мамату.

— Зачем твоя здесь гуляет, а?

Чего он так радуется, лихорадочно думал Мамат, неужели меня узнал? Видел же только раз, и то больше со спины.

— Ну? — все так же доброжелательно говорил офицер. — Чего молчишь, баланчук, а? Такой хороший малшик — а молчишь! И где твой... как это... — он щелкнул пальцами, помогая себя вспомнить слово, — твой... хурджун? — И он взмахнул рукой, словно перебрасывая суму через плечо.

У Мамата ёкнуло сердце. Вот как! Выходит, не только запомнил, а и знает что-то! Знает, что в ящичке! Но откуда?! От Длинного! Откуда бы ни узнал, дрянь дело. Хотя... сумы с Маматом нет! Какой он молодец, что зарыл ее!

— Дядя, какой хурджун? — спросил Мамат самым невинным тоном, на какой был способен.

Офицер улыбнулся, и улыбка у него тоже была такая безобидная, ласковая.

— Хитрый Митрий! — сказал он и ткнул в сторону Мамата пальцем. — А ухо свое забыл? Большой ухо — екак у ишака. Забыл?

— Я не Митрий, — сказал Мамат тем же тоном. — Я Мамат.

Офицер снова улыбнулся.

— Мамат, Мамат... Это хорошо, что ты Мамат. И в бане, значит, не был, да? В бане, в Благовещенске?

Значит, этот городок называется «благовечес». Запомнил-таки меня, маstrap проклятый!

— Не знаю, дядя...

— Не знаешь! Ну-с... — Офицер встал из-за стола,

этого упрямого барана запрешь... знаешь где?! И смотри в оба — а то он шустрая бестия!

Солдат медлительно отдал честь и кивнул Мамату: шагай, мол.

— Посидишь и все вспомнишь! — сказал офицер вдогонку. — А нет, у меня на тебя другая управа найдется!

Мамата заперли в каменном здании с железными дверьми. Это был, понял Мамат, станционный склад — мастрасы приспособили его для чего-то вроде тюрьмы. Едва открыли выкрашенные красным двери, оттуда пахнуло затхлостью и высветились фанерные ящики вдоль стен да сено, которым был устлан цементный пол. Двери захлопнулись, и наступила полная темнота; хотя нет — слабый свет все же пробивался через зарешеченный люк под самым потолком. Прочная клетка!

Снаружи хлопнула задвижка, щелкнул замок. От ящиков пахло клеем, сургучом, вощеными шнурами. Что делать? Удрать отсюда, кажется, невозможно. Остается держаться прежней линии: «Не знаю... не помню... не было». То ли от сырости, то ли от страха Мамата вскоре дрожь пробила. А что если они так и уйдут, заперев склад? Ничего себе судьба — стать кормом для крыс в этом каменном гробу! Он попытался отогнать такие мысли и стал осматриваться в темноте — благо, глаза понемногу привыкали. О! Что-то звякнуло! Крыса? Нет... похоже, кто-то дышит. Человек?!

— Кто... кто там? — спросил Мамат приглушенно. И в то же мгновение увидел пошевелившуюся человеческую фигуру. Человек, кажется, сидел в темном углу, куда не доставал слабый свет из люка. Может, прикован? Мамата вдруг обьял ужас. Человек ли это? Или нечистый? Одолевая страх, мальчик пристально всматривался. Да он же на коленях стоит, лицом к востоку, — ясно, молитву читает! И Мамату показалось, что он слышит шепот, слабый, как вздохи. Подумать только! Или вера его столь велика, или сердце у него орлиное: в эдаком пропащем месте, один, во тьме — и не оторвался от молитвы, не отозвался на появление человека. Но как он попал сюда, в мастратовскую тюрьму? Что им нужно от старика? Мамат готов был поклясться: молящийся — старик.

И тут темная фигура, как показалось Мамату, коснулась подбородком правого плеча, и тишайший, как слабый ветерок, но знакомый голос произнес: «Ворахма-

тулло!» Аллах спаси и помилуй... Этого не может быть... ему чудится... Или он спит, или с ума сошел... Ну, пусть с ума сошел, пусть, но фигура в углу — его хозяин, бай-бобо, Салим-чорва!

Мысли Мамата перепутались. Он пытался успокоить себя, понять, что это может значить. Ищут его хурджун, то есть шкатулку с драгоценностями... Это мог искать и Салим-бай, но он — в той же тюрьме, что и Мамат. Да нет, думать попусту — этот узел не распутаешь, его шайтан затянул! Ведь бай понятия не имел, что ящичек у него. А мастрасы понятия не имели о бае, и никто понятия не имеет, где спрятана сума. Никто, кроме Мамата!

Он снова, напрягая глаза, стал вглядываться в фигуру молившегося. Кажется, бай-бобо в одежде паломника: на голове остроконечная шапка, на плечах — халат. Что бы там ни было, надо с ним поговорить, узнать, что тут происходит. Шелестя сеном, Мамат двинулся было в его сторону, но тут как раз звякнул замок, загремела задвижка, дверь распахнулась — и показался неуклюжий давешний конвоир Мамата.

— Эй, щенок, — позвал он лениво, — подь сюда! На выход!

Мамат удивился: снаружи — день! Конвоир шел сзади, слегка подталкивая.

— Ну, — спросил он вдруг, — с муллой познакомился?

— С муллой?

— Ну, с этим лазутчиком!

Какой мулла, какой лазутчик? Это же он о Салимбае говорит! Выходит — то, что старый хозяин здесь оказался, с ящичком не связано? Но он не успел еще придумать, что ответить конвоиру, как его потрясла новая неожиданная встреча: у дверей комнаты, где его допрашивал усатый, стоял — кто бы вы думали? — Длинный, собственной персоной!

— Ёлки-палки, — сказал Длинный, по обыкновению ощерясь, — ты и вправду здесь?

— Здесь... — пробормотал Мамат. Он не знал, как должен себя вести.

Но Длинный сказал, как само собою разумеющееся:

— Ясно, куда мы с тобой убежать могли! Я вот ногу сломал... — И он показал на свою перевязанную левую ногу.

Усатый ждал в комнате. Солдат, что стоял на часах у дверей, втопнул их, одного за другим, внутрь. Усатый спросил, глянув на Длинного:

— Этот?

— Он самый, ёлки-палки, — сказал Длинный, — вы ж его знаете, он вас за руку цапнул.

Значит, действительно Длинный продал! Ну да, иначе и быть не могло. Ах, подлец, тебе б не ногу — шею сломать! Усатый, прищурясь, глядел на Мамата.

— Ну, — произнес он наконец, — что теперь скажешь?

— Не знаю, — сказал Мамат. — Ничего не знаю... и этого, он кивнул на Длинного, — тоже не знаю.

— Меня не знаешь? — Длинный захохотал. Это усатому почему-то не понравилось. Наверно потому, что он сам привык вести разговор.

— Убрать! — крикнул он, указав на Длинного.

Часовой торопливо вошел и потащил за собой Длинного за рубашку. Нога у Длинного, видно, и впрямь не гнулась или вообще не работала. Он споткнулся о порог — и упал на часового, тот тоже повалился, и его винтовка неожиданно выстрелила. От грохота выстрела воронье сорвалось со старой акации, стационарный колокол тоже легонько твякнул, и весь этот неожиданный концерт окончательно взбесил усатого офицера.

— Во-он, болваны! — крикнул он неизвестно кому, не то часовому с Длинным, не то воронам с колоколом, — и тут же заорал на Мамата: — Не знаешь, сучья твоя кровь, никого-ничего не знаешь, а?! Ну, я тебе всыплю горячих, так всыплю, что все узнаешь разом — и маму, и папу, и бабушку! А не то — бабах — и отправишься в свой ад мусульманский! Да, за свое наглое вранье! Сучье отродье!

Тут он вскочил, подбежал к Мамату, мальчик зажмурился, — и кулак ударил его по зубам, так что он еле на ногах устоял, но тут же последовал удар по уху, по другому, и Мамат, чувствуя, что голова расколосась, как дыня, рухнул наземь.

Он лежал на полу, упираясь головой в стену, изо рта и ушей шла кровь. «Юхнов! — орал над ним офицер. — Сюда! В сознание приводи!» — И на Мамата водопадом лилась вода, его снова били, теперь шомполом, кажется — так. Во всяком случае, вопил офицер: «Шомполом его, шомполом!» — Но он уже чувствовал боль

едва ли вполонину; даже и захоти он — говорить бы не смог. Полуживого, без сознания, его снова бросили в каменный склад — мастрепскую тюрьму.

14. САЛИМ-ЧОРВА

Когда Мамат очнулся, кругом темно было. Тело, казалось, разбито на тысячу кусков, и каждый болит отдельно и по-особому, но и все вместе — тоже, и выносить это — немисливо. Мамат пожалел, что очнулся. Постепенно он осознал, что сильней всего болит правый бок, и если чуть пошевелиться, боль отдается в мозгу. Ребра, что ли, сломаны? Или печень отбита? Он потрогал рукой легопк — сухо вроде, крови нет... или засохла? Непонятно почему, но отсутствие крови его успокоило. Где он — Мамат сообразил по уже знакомому мышинному запаху. Сколько ж я лежу так, подумал он. Час, два, сутки? Нет, вряд ли сутки: есть бы захотелось. При мысли о еде его затошнило. Он замер, полежал так — отошло. Тут он вспомнил бай-бобо: интересно, здесь он еще? Или мастрепы увели? Почему он вчера с ним не заговорил? Ах да, не успел просто... а то можно б его жареной пшеницей угостить... пшеницей.

Мамат почувствовал, что мысли у него путаются, и усилием воли расставил их по местам. Пшеница — это вчера... или когда? Ну, до того, как его схватил усатый... Впрочем, в карманах зерна наверняка еще остались.

Тут послышался шорох. Мамат собрал силы и, несмотря на боль, приподнялся. Шорох доносился из давшего темного угла, за люком. Наконец в столбике слабого света показался человек. Да, это был, конечно, Салим-чорва, но сильно изменившийся. Волосы на голове у него стали совсем редкие — так, белый пушок, зато длинная белая борода отросла; и что-то появилось в облике призрачное, сквозящее: казалось, напряги зрение — и сквозь старика можно будет видеть. Другой он был теперь... другой — но не чужой! И Мамат потянулся к нему всем сердцем.

— Бай-бобо... бай-бобо... слышите? Это я, Мамат.

Салим-бай вздрогнул и замер, как человек, ожидающий, что ему вот-вот что-нибудь свалится на голову. Потом стал напряженно вглядываться в темноту. Он очень похудел, голова подрагивала — это отозвалось в Мамате острой жалостью. Бай, должно быть, Мамата

так и не разглядел; он снял халат, расстелил его и принялся за утреннюю молитву.

Теперь долго ждать, думал Мамат. А времени... кто знает, сколько времени у них осталось? Мамату так о многом надо рассказать! И он совершил явный грех, попробовал прервать молитву:

— Бай-бобо, почему вы не ответили? Это же я — Мамат. Мамат! Не обижайтесь на мой уход, не мог я по-другому!

Салим-бай окончил молитву после первой же суры, посмотрел в сторону Мамата и прилег. Мгновение спустя зазвучал его тихий голос:

— Я не обижаюсь. Что бы ты ни делал — для себя делаешь, сынок. А я с рабами всевышнего рассчитался.

Мамат не понял смысла этих слов, только их грустный тон до него дошел. И все же он обрадовался, что Салим-бай наконец-то заговорил.

— Как же вы сюда попали?

— Собрался в хадж, сынок, а эти беспокойные души сочли меня чьим-то лазутчиком.

— Мастропы?

— Кто б они ни были, они только заблудшие грешники, которые желают властвовать. Однако и рожденный под счастливой звездой Або Муслим не стал столпом мира, сынок. А ты что делаешь в здешних местах?

— Шел, куда глаза глядят, бай-ата... за своей долей...

— Да-а... голова божьего раба — камень судьбы, так-то. Человек — человеку причина, так аллах содеял.

— Меня схватили ни за что, бай-ата!

— Себе хуже делают, сынок! Молись аллаху. Добавь и ты к тысяче имен всевышнего...

Бай старается его, Мамата, утешить, а Мамату самому жалко старика. Господи, какой он стал: дунь — и улетит.

— И вы на них не обижайтесь, бай-ата! Какой вы лазутчик! Подержат — и отпустят! Но ведь, говорят, хадж — дальняя дорога.

— Зато ясная, сынок. Отсюда до Оша — два шага. Потом через перевал Эргаштанга до Яркента, а там — на дорогу Кара-Кульджа. В начале рамазана отправляется караван Аман-ахуна, туда мне и надо поспеть.

— Ох... а вы... у вас ни хлеба, ни сил, как говорится.

— На этом пути, сынок, нет заботы ни о хлебе, ни о жизни. Смерть на путях хаджа — милость божья!

Полноте, думает Мамат, тот ли это Салим-бай, которого он знал еще какой-нибудь месяц назад? У того были

богатство, двор, семья, дети. Он беспокоился о них, страдал от потерь, старался спасти и сыновей, и достояние. А этот — приготовился к смерти, от всего отрешился! Что ж за последняя беда настигла его, заставила нацепить колпак, нищую торбу и погнала в путь? Или, может, он спятил от несчастий? Нет, не похоже. Речь ровная, говорит хоть страшновато, но спокойно.

— Бай-ата, а дома-то — что? Цело все? Алим-ака приезжал? И Халим-ака?

У Салим-бая задрожали плечи. Как это он сказал — «рассчитался с рабами всевышнего»? Нет, нелегко, видно, с ними рассчитаться до конца!

Мамат решил подползти к старику поближе, но боль заставила его вскрикнуть и остаться на месте. Старик этого, казалось, и не заметил.

— Прошу, сынок, — сказал он слабым голосом, — не поминай при мне имя этого ирода, я его проклял!

— Бай-ата, — Мамат снова попытался привстать, — ой, больно! Бай-ата, расскажите, что там, облегчите душу!

Салим-бай приподнялся в своем углу, сел. Помолчал, раскачиваясь.

— Раньше... — сказал он, наконец, тихонько, но голос у него осип. Он откашлялся. — Раньше этот ирод каждый вечер бывало, как волк, через хлев пробирался... — Бай говорил почти шепотом. Кто такой «этот ирод» — ясно: Халим-байвачи. — Брата подстерегал. Схватит меня за грудки и орет: «Не найду его сегодня — меня завтра прикончат! Каждый день упрашиваю бека подождать... Где он?» — кричит. Если бы я знал, где тот второй сукин сын... А и знал бы... Я ведь отец обоим... был отцом!

Он остановился, помолчал. Потом продолжал так же, полушепотом:

— Каждый раз, уходя, что-нибудь уносил: «Хоть этим гнев бека смягчу». Одежду, ковер, овец... В последний раз, как он перевернул дом вверх дном — искал, что взять, бедняжка мать после его отъезда упала на пороге и дух испустила. Избавилась от муки да греха. Все на меня одного свалилось. После поминок остался я в пустом разоренном доме. Один, как в могиле. Из-за подлеца сына никто ко мне и глаз не казал. Осенью ночи длинные, сна нет, лежу да мечтаю, чтоб Алим пришел, соскучился по нему — сил нет, а тут подумаю о его брате — и сам себя ненавижу. Не знаю, где был

ты во время рамазана, а у нас ночью буран начался, ветром навес унесло, разметало хлеб на току, сено и гузапаю на заднем дворе. А я сижу в доме, словно предчувствую еще что-то. Сижу, молюсь и жду. А чего жду? Надеюсь — Алимджан придет. И знаю: придет — беда будет, а с собой совладать не могу. Лишь бы увидеть, а там — будь что будет. Грех это мой, страшный грех, прости, аллах, недостойного, жалкого раба твоего.

И, словно я колдовством каким его вызвал, — гляжу, Алимджан из бурана выныривает! Я сначала и глазам не поверил — мерещится, думаю. Нет, Алимджан! «Отец!» — кричит так радостно, а я стою, язык во рту замерз. Уж как обнял его — малость оттаял, рассказал ему про мать, про брата... Алимджан только хмыкнул. «Брата, — говорит, — боитесь! Не бойтесь, не придет он в такой буран!» Ты же пришел, говорю. «Так то, — говорит, — я. А и придет — не зверь он, чтобы узнать про мать, да еще и братнину кровь в родном доме пролить... И вообще, — говорит, — они уже малость присмирели...»

И только он это сказал — окно распаивается, и в середину комнаты вместе с битым стеклом ирод этот впрыгивает. Я и увидеть не успел, понять не мог, когда он братишку арканом спутал. В ноги ему упал, молю, прошу, чтоб меня взял вместо брата — куда там! «Всех их, — кричит, — перережем, всех, извергов!» Сынок, плачу, да какой же он изверг, ты же сам беку кровавому служишь, сколько он людей загубил! Брось, кричу, этого сифилитика, что сгнил до самого носа, плюнь на его помои да посулы, это ж брат твой, пощади, да вернись домой, будем землю пахать! А то — уедем все отсюда, уедем... Не-ет, — бай всхлипнул. — Нет, нет, нет! Изрубил! Изрубил... изрубил... — И старик заплакал, негромко, но отчаянно.

— Бай-ата... Бай-ата... — растерянно твердил Мамат, безуспешно пытаюсь его успокоить, но и сам чуть не плача от сочувствия, горя (он любил Алима) и боли, корчившей его тело. Горло у него горело, он вдруг понял, что умирает от жажды. Воды вокруг не было. Шурша сеном, он кое-как дополз до плачущего старика, взял его кувшин — но вместо того, чтоб смочить себе губы, приложил мокрую руку ко лбу старика. Лоб у него был и без того холоден.

Старик понемногу стих и, наконец, впал в прежнее безучастное молчание. В полдень, когда на решетки окна упали тени, он вроде бы несколько оживился и расстелил

молитвенный коврик. Губы его задвигались, но Мамату показалось: они повторяют не молитву, а давешний рассказ...

...Мамат лежал и смотрел на него, и ему казалось, он видит, как человек медленно умирает, назначив себе срок смерти. И Мамат сам почувствовал леденящий озноб. Но тут опять замок подал голос, потом — задвижка: железная дверь распахнулась, в сырую темноту шагнуло солнце, а за ним уже известный Мамату неуклюжий Юхнов:

— Эй, малый, вставай, подь сюда!

Видя, что Мамат корячится на полу, не в силах встать, он подошел, подхватил мальчика под мышки и потащил к выходу.

15. ЗВУКИ ВЫСТРЕЛОВ

На этот раз Мамата притащили в тюрьму чуть не в полночь. Он был вроде туши козленка после улака: окровавленный кусок мяса. Впрочем, время от времени он приходил в себя, только глаз открыть не мог. Одно было хорошо: бить перестали. Но боль не проходила — напротив: малость отступив, она снова набрала силу, все тело горело, саднило, ныло. Очнувшись в очередной раз, он заплакал от муки и унижения. Потом снова потерял сознание, а может, в сон провалился; потух, как угли в очаге. Но боль опять его разбудила, и он начал бредить. Ему казалось, что он тонет в воде, сам же внутри горит и никак не может потушить этот огонь. «Вода... вода... вода...» — твердил он в бреду и очнулся от звука собственного голоса. Перед ним, в белом, как марля, столбе утреннего света из люка, сидел Салим-бай.

— Бай... бобо... — простонал Мамат, и Салим-бай тотчас наклонился, кончиком мокрого платка вытер ему пересохшие губы. Старик, видно, тоже слаб до крайности, руки у него дрожали. Похоже, о нем из-за Мамата вообще забыли. Что им старик, когда речь идет о золоте! Может, благодаря Мамату бедняга бай через день-другой выберется живым из этой каменной могилы? Чувство вины перед ним, вновь возникшее в Мамате, странным образом соединялось с физической болью: казалось, прости его Салим-бай — и меньше будут одолевать раны, ссадины, ушибы. Мысли в Мамате,

как мыльные пузыри, рождались и тотчас лезали в невиналиваясь радужным блеском, а потом иссе-ему плотной, димом пространстве. Но одна показалась становить ее, ощутимой, важной, и он постарался озадержать:

— Бай... бобо... — снова простонал Мамат, мучитель-но справляясь с непослушными губами. — Если меня опять поведут... я уж не выживу... они не знают еще — я... знаю... А тайна... тайна тогда... со мной умрет... Скажу вам, бай-бобо... повинюсь... Бог справедлив... вас навстречу мне послал... велел мне грех грех смыть... Мамат уставал мгновенно, проваливаясь в пустоту,

обливаясь потом — так, что от него пар шел.

— Помните,.. у вас ящичек... ящичек взяли? Сокровища... золото... камешки... У меня он... Я ии Мамат по-

Даже в своем полусознательном состоянии словами: нимал, что должно последовать за этими перетерпеть, негодование, отвращение... И готовился это не отозвался, пережить. Но Салим-бай, казалось, никак не отозвался, взгляд у него оставался такой же потухший.

— Бай... бобо... Слышали?.. Ваше золото у меня... Старик и теперь ответил не сразу: сынок. Рабы

— Богатство мира — миру остается, божьи уносят с собой только грехи свои, нялась против

Какая-то в Мамате волна протеста поднялась. Если старик этих слов — даже сил, вроде, прибавилось. Зря он все так равнодушен, что ж, выходит... выходит неправда... и, претерпел ради проклятого ящичка? Нет? А какой за наверно, не в том мысль старика. Грехи? А какой за взять проклятым грех? Разве он себе... себе хотел грехом, то и дело тую шкатулку? И Мамат, обливаясь потом, да выныривая, проваливаясь в глухую темноту и снова своих тяжких стал рассказывать Салим-баю всю историю той ночи на приключений с сокровищами, начиная с тельно долго, чердаке людской. Он рассказывал мучительно долго, в умоляющем тоне, а старик слушал молча, по виду безучастно.

— Бай-бобо... знаете же — никого... никого у меня нет... только триста сирот в Симе... да вы... Ящичек я туда нес... чтоб поели досыта... не вышло... бы:

И тут только Салим-бай разомкнул губы: ему свидетель...

— Ты не мне говори, сынок... бог все время в тюрьме,

И он, впервые, может быть, за все время весь в холода пристально взгляделся в Мамата. Мальчишки рябины на его ном поту, такой вымученный, что даже

лице казались зелеными, едва дышал: вдохи и выдохи у него были короткие, как взмах крыльев мотылька. Старик коснулся его лба — ледяной лоб! Но Мамат, отчаянным усилием то и дело выбираясь из обморока, еще продолжал говорить:

— Бай-бобо... прошу у вас прощения... Вы один здесь... Они там... отдохнули уже... придут сейчас... я уж не вернусь... Слышите? Так запомните... за большой курганчей... пустырь... там еще... три чинары... больших... и мазар на том пустыре... просевший... двадцать два шага от самой... самой высокой чинары... под хворостом... хурджун... прямо в мазаре... там и ваш труд... и мои... пусть не останется без пользы...

Он договорил, что хотел, — и снова провалился в забытие, и в тот же миг, словно нарочно дождавшись конца этой сцены, запор лязгнул, распахнулась дверь, и вошел знакомый неуклюжий солдат с напарником. Они взяли потерявшего сознание Мамата под мышки и поволокли наружу. На старика они, как обычно, и не поглядели; только уже у самой двери неуклюжий оглянулся. Должно быть, дошло, что старик находится не на обычном своем месте в углу.

А Салим-бай глядел им вслед, и померещилось ему, что в дверях Мамат вдруг ожил, выпрямился, сделался выше волочащих его конвоиров... наверно глаза, отвыкшие от света, заслезились, обманули — откуда у мальчика силы? Умирает ведь... И чтобы так прямо, упрямо пойти навстречу смерти! Он, Салим-бай, к своей смерти и сам приготовился, согласился с нею, постарался отрешиться ото всей земной суеты, забот и желаний... и все же внутри себя таил страх; лишь бы не умереть в этой каменной тюрьме, говорил он себе. А потом? Будет новое «лишь бы»?

Снаружи донесся треск винтовочных выстрелов; старик вздрогнул: неужели это — мальчика? Но стрельба не смолкла, слышно было, как зверски лязгая, сталкиваются вагоны, где-то совсем близко ударил одиночный выстрел. На станции застучали копыта. Испуганные крысы зашуршали за ящиками, порохом запахло. Салим-бай стал молиться. Такого страшного шума не бывало и когда басмачи нападали на кишлак! Мысли у него смешались. Наваждение! А если — и впрямь наваждение? Если и Мамат ему примерещился?

Послышался топот многих сапог, дверь тюрьмы дернули, ударили чем-то тяжелым. Может, прикладом.

— На замке! — крикнул один голос.

— Ломай! — отвечал другой.

Дверь долго не поддавалась, наконец замок не выдержал, в проем хлынуло солнце, вошел, подслеповато со света озираясь, человек с винтовкой и начал пинать ящики, те с грохотом летели на пол. В пронизанных лучами тучах поднявшейся пыли замелькали людские фигуры. Салим-бая, замершего в углу, вошедшие даже не заметили — и стали один за другим выходить из склада. Это были не солдаты, хотя и с винтовками. Вдруг последний вышедший обернулся — может, взгляд почувствовал — и увидел бая. «Эй, вы кто?» — сказал он. Салим-бай не ответил. Человек подошел к нему, взял под мышки и вывел наружу: «Идите домой, бабай... домой!» и побежал вслед за своими.

Салим-бай, прислонясь к стене, остался стоять, ослепленный этим светлым, солнечным миром. Болели глаза, веки. Никто не спросил его, ввергая во тьму, никто не спросил, выводя на свет, — чего он сам желает? Но ведь и вся доля человеческая такова, ни на что нет нашей воли: ни на жизнь, ни на смерть. Тут он вспомнил о Мамате — и в груди неожиданно стало жарко и больно. Он пошел, держась за стену, — куда-то ведь надо идти. Хотя, почему куда-то? Одно важное дело у него есть — мальчика отыскать... Кто были те, первые люди, что его заперли? Кто были другие, что его освободили? Неважно. Грешники. И те, и другие. Но мальчик... О, мальчик! Он претерпел. Воистину — искупил грехи. И только ли свои! Ведь не ради себя! Бай вспомнил его долгий, мучительный рассказ — и понял, что сохранил этот рассказ в себе до последнего слова и вздоха. Вот, значит, как бывает в жизни. А казалось, хадж — самое важное, самое главное. Но Мамат совершал свой хадж — в Сим, к сиротам, которым нес пропитание. Не урок ли это для него, Салим-бая, заодно со всеми грехами своими отрешившегося от мирской суеты?

Он дошел до угла — стена поворачивала. За поворотом часть ее обрушилась. На груди кирпичей, на солнце, лежал мальчик. Бай мгновенно узнал его — даже не глазами сперва, а остановившимся, захолонувшим сердцем. Подбежав — откуда сила в ногах взялась! — он увидел: мальчик мертв. Несомненно, безвозвратно, непоправимо мертв. О том говорила и немислимая для живого поза, и опустевшее, навсегда застывшее лицо. Перед смертью у него шла горлом кровь. Баю показалось: и у него сейчас

хлынет кровь — рвавшая, распиравшая сердце. Он упал рядом с мальчиком. Ничего не было сейчас на свете дороже этого чуть неуклюжего, вытянутого, исковерканного пытками и смертью мальчишеского тела. И это уходит, и это... Бай приподнялся, погладил лицо Мамата. Нет, не совсем оно опустело; оно было тихое, отдыхающее от мук, и казалось — вот-вот появится на нем застенчивая улыбка: «Ну, довольны мной, бай-ата?».

Подбежали люди с винтовками, попробовали поставить Салим-бая на ноги, но он снова упал на колени, подполз к Маматкулу, дрожащими руками погладил и закрыл ему веки.

— Это что, бабай, — ваш сын?

Раза три повторили, прежде чем он услышал. Он попытался приподнять голову Мамата, положить к себе на колени — не получилось, и он заплакал.

— Сы-ын... — сказал Салим-бай. — Подпасок... пастушок...

Подошел человек в бурке — ему что-то стали объяснять вполголоса. Он внимательно посмотрел на старика, на мальчика.

— Что ж... — сказал он. — Похороните и овчара в братской могиле!

Люди с винтовками поспешно, хотя и уважительно, отеснили старика, легко подняли мальчика, завернули в белое полотнище — откуда оно появилось, Салим-бай не заметил. Он стал читать заупокойную молитву, и люди с винтовками ждали, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Потом взяли тело и понесли. Салим-бай побрел следом.

Перед обгорелым, разоренным зданием вокзала уже стояли другие люди с винтовками — целый отряд. Шесть покойников в саванах, за ними — и мальчика, пронесли куда-то вперед. Люди подняли винтовки — залп грянул. В небо стреляют, думал старик; но разве небо убило этих мертвых? Люди убили... В них и надо стрелять! — сказал он себе и сам удивился. Мгновение, а может час спустя Салим-бай стоял у большого, свеженасыпанного могильного холма. «Значит, это и есть братская могила», — вспомнил он. Люди расходились. «Маматкул... сынок...»

Подошел молодой парень с винтовкой наперевес, спросил осторожно:

— Не нужна помощь, ата? Ну, посидите немного, молитву вознесите... Только Кыбла теперь в той сторо-

не! — Он едва заметно усмехнулся, показал рукой туда, куда уже склонялось солнце, закинул винтовку за плечо — и убежал. «Кыбла... — думал старик. — Моя Кааба — в той стороне, куда держал путь мальчик. Ах, Мамат, Мамат! Маматкул...»

На рассвете воздух прохладен, пыль прибита росой. В руинах станции, пустовавшей несколько недель, снова оживление, появились спешащие люди, вороны на голых тополиных ветках орут ожесточенно. Люди большей частью, кажется, вооружены... пет, вот и другие, с лопатами, вдоль путей. Да здесь, наверное, весь город собрался — сгребают зерно, убирают и уносят на носилках кирпичи и глину. Пути уже свободны — вот и состав подают. На одних платформах пушки, переговаривающиеся военные; на других — скот.

Люди, все как один, оглядываются на старика с хурджуном, в шапке паломника, в драном халате.

— Эй, гляди... Бобо, в хадж собрались?

— Ха, самое время!

— А что — рамазан кончается, теперь они, как журавли, потянутся на Кашгар!

— Хоть крови проливать не будет, не то что мы с тобой.

— Ну, уж он пожил на белом свете, отвоевался.

— Да, а нам еще восвать за свою долю!

— Повоюем.

С Салим-баем поравнялся человек, ведший коня в поводу:

— Салам алейкум! — Да это вчерашний парень с кладбища.

— Ваалейкум ассалам.

— Куда путь держите, бобо? На поезд хотите?

— Да, сынок... Да Сима довезет?

— Довезе-ет! Вот туда садитесь! — И он показал на красный вагон с распахнутой широкой дверью посередине; вагон уже был полон людьми. — Хурджун отряхните, ата. Так на кладбище и ночевали? — И поспешил дальше.

С золотом своим за плечами Салим-бай оглядел округу потускневшим взором. Длинно прогудел паровоз, и сникший дух Салим-бая словно встрепенулся, как боевой конь, услышавший звук трубы. Он уцепился за скобу двери и полез в вагон. Несколько рук его подхватили.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

...Теперь я вспоминаю: досыта в приюте мы стали есть, когда появился у нас заведующий хозяйством Салим Ахмедов. Помню мешки белой муки и сахара, доставленные из «Торгсина», фабричное печенье с рисунком, которое я тогда пробовал впервые. Но к хорошему привыкаешь быстро, и мы скоро перестали вспоминать о первых днях сытости. И Ахмедова — нашего «Ахмедова-ака» — мы не очень-то связывали с обновлением нашего рациона. Он был нам дорог другим — своей заботой о нас и нашей к нему любовью.

Меня он даже отличал несколько — уж очень внимательным я был слушателем его рассказов и разговоров, а может — открытой других откликался на ласку. И не знаю, как другие, а я чуть не с самого начала почуял что-то затаенно-печальное — горькое или горестное, что стояло за его словами, взглядами, жестами. Что-то угнетало его, давило — какая-то невидимая тяжесть иной раз явственно пригибала его плечи к земле. Порой же он просто от нас отдалялся, стараясь остаться в одиночестве, — и удивительно: это чувствовали и самые толстокожие из ребят, которых, бывало, ничем иным не проймешь; чувствовали — и в такие минуты, часы, дни старались ему не навязываться. Но стоило Ахмедову-ака чуть прийти в себя — и он снова оказывался окружен нашей толпой и в разговорах с нами, кажется, обретал настоящий покой. Может быть, в минуты одиночества он взвешивал свое прошлое на весах совести? Во всяком случае, возвращаясь к общению с нами, он пересказывал разные события своей жизни — и посреди рассказа иногда останавливался, словно задумавшись над собственным воспоминаньем, — должно быть, он рассказывал свою жизнь не только нам, но и себе самому. А однажды принялся за «главную историю» — так он сам выразился; это была длинная, растянувшаяся на несколько вечеров повесть о приключениях Мамата.

Кончив рассказывать о Мамате, он вновь — ненадолго — замкнулся в себе; мы к нему не приставали, но между собой обсуждали Маматово путешествие и трагическую судьбу весьма оживленно — и даже спорили о подробностях: так ли рассказывал Ахмедов-ака, или иначе. Но скоро он сам к нам присоединился:

— Я, знаете ли, ребята, тоже не всегда богатым был, — говорил он, — а в детстве пас овец, как Мамат.

Нас у отца — пятеро, так он всех сыновей в подпаски определил: дескать, не будешь сам за овцами ходить — вовек не разбогатеешь! Стадо-то, правда, прибавлялось — да отец прикупал понемногу. Старшие братья, как подросли, к бузе приучились, лентяйничать стали, по юртам все сидеть... за овцами я один ходил! Ну, братья и впрямь не разбогатели, а вот я, видишь, Салим-баем заделался. Но не о том я хотел. Про другое. Однажды ночью на пастбище вдруг сильная буря поднялась — стога сена да шалаши в воздух подняло, унесло, а потом такой ливень хлынул — точь-в-точь море на нас опрокинулось! Ну, овца-то — она дура, побежала от ливня, как от палки, — овца за овцой, отара за отарой — куда глаза глядят. С ними так: не пустишь коня, да не повернешь голову отары — пиши пропало, хоть в преисподнюю пойдут! Братьев мне искать некогда было, вскочил на коня неоседланного — и пошел! Конь подо мной тоже беспокоится, грозы боится, темнота — хоть глаз выколи, разве что молния иной раз сверкнет. Но огрел я буланого плетью — стрелой полетел. А дождь меня самого хлещет плетками, пастбищу — конца-края нет, и темноте — тоже, и тут вдруг так сверкнуло, так засветилось... И при этом-то свете увидел я перед собой обрыв бездонный, прямо у ног коня — пропасть! Я за гриву цеплялся, а тут как дернул изо всех сил! Но конь и сам пропасть увидел, заржал дико, встал на дыбы — и как-то исхитрился боком на задних ногах повернуться. Только уцелели мы с ним, с конем-то, и это молния нас спасла. Убить могла — но нет, спасла...

Так и смерть Мамата моего, как та молния, над пропастью меня удержала. Он погиб — а меня спас. Он ведь еще ни про время наше толком не понимал, ни про Советскую власть; только слышал про вас, голодных сирот, и загорелся в нем огонь благой — помочь людям, спасти, накормить... Нес сокровище, голодный, холодный, а нес, и ни малостью не воспользовался. Вот какой пример нам всем! И мне первому. Я ведь старого времени человек был, всю жизнь положил, чтоб богатство скопить, мне просто так отдать его кому-то — невозможно было, а он, хоть и читать не умел, хоть и мало что знал, а время новое нутром, душой, чистой своей детской и бедняцкой душой понял. Понял — и меня научил. Вот какое дело, ребятки. Вот какое дело... Ведь и революция — она как молния над обрывом: осветила — и народ от пропасти спасла, на правый путь повернула. Поняли, а?.. По-оняли, вижу...



**УЗКИ УЛОЧКИ
БУХАРЫ**

ПОВЕСТЬ

Юноша, который, ведя коня в поводу, вышел осенним утром 1912 года из махалли Газиян, направился в сторону городских ворот Хазрати Имам. Пока он обходил крытые торговые ряды, оттуда, перебивая друг друга, доносились вопли каландаров¹ и голоса мальчишек, отдававшие звоном под куполами: «Вода — как лед!.. Айран — как мед!..» Удивительно, ведь осень уже! В Москве в эту пору неподкованного коня и на улицу не выпустят — гололед!.. А он запомнил было — в Бухаре верхом не очень-то проедешь: сперва минуешь гробницу святого Турки Джанди, потом мавзолеи Кулбобо Кукельдаш, Авлия Гариб... словом, пока не выберешься из центра, в седло не сесть. Впрочем, когда уже на мощеной улице, ведшей прочь из города, он сунул было ногу в стремя, вдали, за мечетью Искандархан показались могильные холмики и трепетавшие на древках с полумесяцем бунчуки.

Дойдя до окраины, до Истамура, он почти забыл про коня, шедшего следом: воспоминания нахлынули. Он невольно замедлил шаг, загляделся на знакомые с детства места. Вон те же соленые лужи, вдоль них лавчонки кожевенников и закопченные, провонявшие насквозь глинобитные мастерские скорняков — дубильщиков каракуля. В детстве, которое казалось теперь таким далеким, он, увязавшись за отцом, оказывался здесь не раз. У отца были дела с этими ремесленниками и с оптовыми скупщиками сырья...

¹ *Странствующие монахи, дервиши.*

Впрочем, дорога вела и в Ромитан, на родину матери, а он туда часто ездил. В Ромитане находились, кстати, земельные наделы мечети Искандархан. Говорили, что семеро прославленных кары — чтецов корана из этой мечети, которые неизменно вечером каждого четверга исторгали слезы своими поминальными молитвами, получали с тех наделов по десять тысяч таньга в год. Целое состояние!... Но сумма эта теперь не трогала воображения Файзуллы. Юнус-Фаранг (Европеец), навестивший нынче отца, говорил о миллионах... Еще они обсуждали спрос европейского потребителя, а под конец почему-то договорились закрыть магазины в Варшаве.

Файзулла с детства наслушался таких разговоров и уже умел мыслить крупно и отвлеченно. Но сейчас им владели туманные чувства, какая-то светлая грусть, навеянная воспоминаниями. Эти разбитые мягкие дороги, толстая лессовая пыль, колыхавшаяся под ногами, пар над пашнями, запах палой листвы, пряные ароматы осенних цветов — все было, как в детстве. Но детства больше не было, время уходило безвозвратно, и места вокруг показались ему вдруг безнадежно заброшенными; сиротливость этих невыразимо родных пространств пронзила его почти осязаемой болью. А он сам? Что будет с ним?..

Наверно, все оттого, что отец слег. Заболел телом и духом. Лежит, безысходно мучаясь, желтея, как эта увядающая осень.

Шум города отдалился; у горизонта лежали почти прозрачные, как льдинки, облака, голубизна неба была таинственно притягательна.

Файзулла чуть выше среднего роста и, как говорится, только-только начал свой шестнадцатый год. У него чуть вытянутое чистое лицо, в больших глазах проскальзывают искорки радости, тени тревоги, а порою их затуманивает рассеянность. Эту пестроту впечатлений словно бы отражает одежда: халат в мелкую полоску надет поверх сугубо европейского темно-коричневого костюма, на ногах выворотные сапожки, какие носят состоятельные кишлачные жители, а на голове тончайшая белоснежная шелковая чалма.

Едва миновали городские ворота, рыжая лошадка-четырёхлетка, понуро шагавшая в поводу, вдруг вскинула голову, широко раздувая ноздри, точно вдыхая раздолье вокруг, встрепенулась вся, сверкнув на солнце ярко-желтым крупом. Файзулла обернулся, они поняли

друг друга: их обуяло нетерпение. Юноша привычно заткнул полу за пояс, вложил ногу в стремя, легко вскочил и чуть косомерно уселся в обитое желтой кожей седло. И лошадка, едва дождавшись этого, резво пошла по древней колесе, поднимая за собою желтоватое облако пыли.

Немолчный крик ослов, которых базарный люд нанимал у ворот Хазрати Имам, чтобы доехать до Галаасии, постепенно стих за спиной. Теперь Файзулле уже не хочется ехать быстро: теплый осенний воздух, в котором так легко дышать, располагает к медленному, вольному раздумью; юноша осторожно натягивает поводья, а другой рукой, просунув ее под гриву, поглаживает шею лошади как бы в знак утешения.

Хотя солнце уже в зените, не жарко; ветра нет, но прохлада как бы струится навстречу; осенняя шелковая паутина навешена на ряды туговых деревьев, сады порыжели, покраснели, только те, вдали, ухоженные, эмирские, еще укутаны густо-зеленым цветом. Файзулла чувствует, как словно бы сливается с округой, с чистотой неба; давно, давно уже ему не дышалось так сладко и полно...

Солнце уже покатилося вниз, когда он достиг мостика Лаглаки. Жаворонок в выси, точно замороженный медленным течением речки Лойкаруд, чудно запел вдруг. Файзулла остановился в тени старого тала, спешился, ослабил подпругу и отпустил коня. Клочки зеленой травы еще сохранились в тени; путник чувствовал усталость, и эта напитанная влагой плодородная прибрежная земля так и манила к себе. Он снял сапожки, халат, сел, а потом лег, распластавшись, прикинув грудью к земле. Речка текла бесшумно, жаворонок смолк, стебельки травы у самых ноздрей пахли нежной, сладковатой прелью. Земля дышала. Он погладил травку ладонью и задел пыльный цветочек. Бутагул, верблюжий цвет!.. Потускневшие от пыли голубые глазки словно о чем-то молили. «Не бойся, дурачок, не сорву, расти себе дальше...» Он это не то подумал, не то прошептал. Будто во сне. Да и все стало походить на сон, земля словно подавалась под ним, а воздух, простор, как бы отяжелел, наваливался сверху. И вдруг он понял: это мгновение он живет разом в двух временах — в недавнем, московском, и в здешнем, нынешнем. Это по ней, пряной изжаждавшейся родной земле и тосковал он так в Москве, сам того не сознавая, а теперь вбирал ее в себя, живую, и вместе вспоминал недавнюю тоску

по ней, и от этого двойственного чувства было впечатление сна.

Нет, не сон, вот цветочек, касаясь его виска, колыхнется на уровне глаз, его можно потрогать, но лучше сказать ему что-то доброе и нежное... Кому еще скажешь так — все вокруг, даже родные, в лучшем случае, удивились бы. Чужие люди... Да и то: вечно он был в поездках с отцом, пять лет учился в Москве. Отвык, отдалился. А земля была своя, понимала и принимала. Он прижался к ней виском и на глаза неожиданно навернулись слезы...

Нет же, грех так думать!.. Не одинок он. Есть мама, мамочка, анаджан. Заветный свет души. Файзулла еще ни о чем не говорил с нею по приезде, но мать, тоже стосковавшаяся по сыну, почуяла, что у него творится в сердце. Что-то он обрел, что-то утратил. Радуюсь его возвращению, Райхон-биби тотчас поняла, как тревожно ему или даже больно. Всего два дня, как вернулся, а уже места в доме не находит!.. И поговорить все некогда — какая там забота, что за боль?..

Что за боль, Файзулла и сам не знал. Прогулялся там, тут, обошел ближние махалли, повстречал знакомых. А внутри все то же: словно страшился завтрашнего дня. Мать сперва так и подумала, что все от боязни за отца: как бы не скончался. Но, когда сын попросил разрешения съездить в Ромитан повидать дядей, она поняла: что-то тут и другое. И сказала: ладно, съезди, детка, навести дядей, развейся. Хоть и нелегко ей было согласиться: взоры всех в такое время обращены к наследнику — род знатный, богатейший, следят за каждым шагом и то, что старший сын хоть ненадолго удалится от изголовья больного отца, может стать причиной всяческих кривотолков. Но разрешила без лишних слов: съезди, детка... Файзулла представил, какое у нее было лицо при этом, и нежность к ней пронзила его:

— Анаджан... — прошептал он. — Анаджан...

С солнечного склона донеслось ржание коня. Файзулла поднял голову. В отдалении, над зарослями полыни кружила, то присаживаясь на ветки старого карагача, то снова взлетая, стая черных ворон. Их большие крылья отливали сталью. Должно быть, сторожили добычу и ждали, когда уберутся отсюда человек и конь. Файзулла представил себе их серые короткие, как трехгранный кинжал, клювы, и его передернуло. Он поднялся, отряхнул чапан. Только взобравшись в седло, он увидел, над

чем кружили вороны: труп ишака. Должно быть, одряхлевшее животное прогнали в степь, а подошло оно, объевшись дикого тамариска, живот у него вздулся барабаном. Теперь только Файзулла ощутил тошнотворный запах падали. Он погнал коня, но запах оставался в ноздрях и уже невозможно было восстановить слабый аромат того степного цветочка. Файзулла обернулся, вороны исчезли из виду, конечно, уселись на труп. Нежность и успокоение улетучились, тоскливая тревога снова заползала внутрь. Скорей бы уж доехать, увидеть дядей... Хотя что он скажет о себе, что поведает, если спросят? Сам про себя, в сущности, ничего не знает.

Он снова подумал о доме, об отце, который лежит там, а в комнатах душно, всюду полно людей, и знакомых и неизвестных Файзулле, и везде, от гостиной до конюшен, царит какое-то болезненное ожидание, какой-то приглушенный до шепота гомон. И нескончаемой чередой идут гости: приезжают сильные мира этой славной Бухары — муфтии, аглямы, баи; прибывают нанести неперемный визит почтения приказчики и управляющие Убайдуллы-ходжи из Балджувана, Каратегина и других волостей; надсмотрщики из торговых рядов, оптовые торговцы... Прибыл даже один из влиятельных приближенных эмира, некто весьма величественного вида, вошел к больному, прочел молитву и торжественно удался. Большинство из них Файзулле незнакомо. Ведь после того, как наемный мулла несколько месяцев обучал его начаткам грамоты, а потом, отданный в медресе, он даже не успел пройти до конца «Шархимулло», учебник арабского языка, отец уже отвез его в Москву. Но некоторых гостей он знает хорошо. Например, один из самых уважаемых преподавателей медресе — хазрат Шораджаб-муфтий Зуфунун (Зуфунун — это прозвище, оно означает знатока наук); ученый-богослов, осведомленный и в других областях знания, он славился своими проповедями в медресе Кукельдаш и при этом был человеком добрым, простым, не водил за собою толпы прихлебателей. Или ходжа Захреддин-махзум, бывший ювелир, знаток истории, нынче он содержит школу в квартале Пойи Остана. Или Мирза Мухиддин — сам он из редакции «Бухорои шариф», но вечно таскает под мышкой пожелтевший еженедельник «Таржимон», издающийся в Крыму... И еще этот богослов из Касгарана...

Удивительно, подумал вдруг Файзулла, какая разношерстная толпа, сколько несовместимых титулов и взгля-

дов — знать и люди средние, джадиды и реакционеры, сунниты и шииты, всех и не перечтешь, но, едва они вступают в этот дом, тотчас забывают о своих распрях, спорах, ссорах, и каждый, кажется Файзулле, прежде всего помышляет о том, чтобы столкнуться с ним и выразить свое особенное расположение. И не кажется — так и есть! Файзулле претит это явное заискивание, ему неловко быть в центре внимания столь важных людей, тем более когда отец лежит тут же, больной, и он старается избегать всего этого, но разговоры их ему хочется, однако, слышать. Столько интересного можно узнать о положении в Бухаре, о прошлом и наступающих переменах, о царящих вокруг настроениях... Раз, проходя мимо, он невольно прислушался к разговору, услышав имя отца.

«Спасибо золоту Убайдуллы-ходжи — это благодаря ему монеты Бухары так весомы и ассигнации не пустые бумажки, как у иных...»

«Да, что-то теперь будет. Ведь он, сидя колено в колено с его величеством эмиром, решал дела всего эмирата. Без Ходжаева (чуть приглушив голос) — и эмир не эмир, да, таксыр, да...»

«Европа...»

«О Европе печалитесь, махзум, а знаете, каково сейчас хозяевам каракулевых отар и скупщикам сырья в песках? Вы бы приняхались, какая вонь идет от кожевенных складов в Кемухгаране!»

Что да, то да, зловоние от невыделанных кож невыносимое, оно словно застревает в носу. Так пахнет и из подвалов во дворе отца. Файзулла почувствовал этот запах в ноздрях. А, это же запах той падали!.. Он обернулся, но места вороньей трапезы уже не различить было. Он погнал коня и вздохнул с облегчением. Хорошо, что отпросился в Ромитан — невмоготу уж было. «Бибиджан, я навещу своих дядей...» — «Съезди, детка, съезди, развейся...»

Еще несколько верст — и завиднеется кишлак. Родные места, добрая родня, дяди — простые, здоровенные дехкане. Отец всегда брал с собою Файзуллу, когда ехал в эту сторону, и, пока сам разъезжал по степям, скупая шкурки у перекупщиков, крупных и мелких, ночуя в хибарах и овчарнях Чарыкулбая, Файзулла оставался у своих дядей. Детство, невесть где затерявшееся, снова представилось ему: мальчишки борются

на песке, изображая кураш¹; бесконечная игра в абрикосовые косточки — «пойданак»; ослиные бега, которые детвора устраивает сообща... Кишлак был обилён водой, мельницами, жизнерадостен. Со всех сторон привозили пшеницу и увозили муку. Дядя Шахабиддин резал из карагача мельничные лопасти. В молодости он однажды подставил спину под мельничный жернов, который снес столб у оврага Магок, и спас от смерти единственную лошадь старика дехканина. С той поры его и прозвали Шахабиддин-силач. Когда бы Файзулла ни появился, всегда заставлял Шахабиддина с маленьким долотом в грубых огромных руках: он тесал им лопасть, засыпанный со всех сторон душистыми щепками и стружками. Файзулла кидался к нему, обнимал, дядя гладил его громадной рукой, и мальчик, перепрыгнув низенький глинобитный забор с заложенными верблюжьей колючкой проломами, спешил в поле к своим сверстникам. Они возили навоз на ишаках, а вокруг зеленел ячмень, на черной пашне гомонили галки...

Казалось, весенние запахи вот-вот ударят ему в нос. А кишлака все не видно было: ни высоченных тополей, взметнувшихся ввысь, как минареты, ни раскидистых карагачей, издали напоминавших темные купола. Горизонт был желтый-прежелтый...

— Баймулла! — послышался голос. Длинноногий подросток, забросив за плечи две связки душистой травы, бежал ему навстречу. Голос Файзулла как будто узнал, а вот мальчика... — Ассалом алейкум, баймулла, как ваше здоровье?..

— Муминшо?! — Файзулла соскочил с лошади. — Это ты?.. Неужели ты? Надо же, как вымахал!.. — они обнялись.

Это был сверстник Файзуллы. В игре «пойданак» с ним, бывало, никто не мог сравниться. Вытянуться-то он вытянулся, но остался все таким же мальчуганом, кишлачным парнишкой в самотканой бязевой рубахе до колен. Файзулла хотя и был чуть ниже ростом, рядом с ним выглядел настоящим джигитом, плотным, с серьезным, взрослым выражением лица, с пронизательными глазами; только когда он от души смеялся, его взрослость улетучивалась. Приятели, ликуя, расспрашивая друг друга, снова обнялись. Муминшо, забыв свое «баймул-

¹ Борьба.

ла», перешел на «ты». Лошадь, мотая головой, следовала за ними.

— Слушай, Муминшо, а кишлак...

— Да сам видишь!.. С той поры, как поля занесло бродячими барханами, все вот такое... мертвое. Хлопок не растет, ячмень не растет, сады пропали. Ребята в чабаны нанялись. Сам-то ты как, насовсем вернулся?..

Файзулла не ответил. Его точно громом оглушило.

— Да ты не расстраивайся, дяди твои все здоровы, — сказал Муминшо. — Человек, он ко всему приспособится. Только вот эти подлецы из Гарибмазара: узнали, что в кишлаке джигитов мало осталось, и налетели, как вороны на падаль...

— Из Гарибмазара?..

— Ну да. Побывали тут третьего дня, вроде бы мюридов себе выискивали да радениям предавались. Народ поверил, смотрели, плакали даже — думали, их молитвы хворых исцелят... А те, оказывается, девушек высматривали, у кого опоры да защиты нет. А на следующую ночь... Ох, и жутко визжали девушки!

— Как! Девушек?..

— Ну да! Крадут и продают потом.

— Кому?..

— Ну, что, не знаешь, что ли?.. Бывает, девушкам и повезет, некоторые даже во дворец попадают!.. Но больше всего торговцам рабынями достаются.

— Торговцы рабынями?! Ты что?..

Муминшо глянул на него и пожал плечами. Так, молча, они вступили на кишлачную улицу, покрытую толстым слоем пыли, как степная дорога.

— Тут вот во дворе мечети хауз¹ был... ой, откуда ж тут бархан! — сказал Файзулла и осекся в испуге, тараща глаза на страшный песчаный наплыв. Потом еще вспомнил: — Муминшо, а арык... Арык большой где?.. — и сам понял глупость своего вопроса. Муминшо снова только пожал плечами, и на сей раз в этом было нечто извиняющееся, словно он просил прощения за все, что увидел Файзулла. А у Файзуллы сердце сжималось от неожиданной боли: во дворах вместо прежней зеленой травы только следы босых ног на песке...

Тут послышались приглушенные звуки тамбура. Кто-то надломленным голосом пел знакомую печальную мелодию «Муноджат». Остановились, прислушались.

¹ Водоем во дворе.

Потом Файзулла медленно пошел туда, откуда доносилось пение. Музыкант, сидя подле уличной калитки двора, превращенного барханами в развалины, пел, наигрывая на тамбуре и скорбно покачиваясь в такт музыке. Муминшо, тронув гостя за рукав, остановил его:

— Не любит, когда встречаются... он слепой.

Файзулла тихонько присел. Муминшо, подмяв связку желтоватой травы, опустился рядом. Звуки словно тянули за собою из далей таинственные сумерки, наполняли сердце тоской и жалостью, зывали к милосердию:

Друзья, рыдайте горько над участью прискорбной...

И снова словно два мгновения соединилось в Файзулле: давняя печаль, когда он, уезжая отсюда в последний раз, перед Москвой, прощался с милыми этими местами, и теперешний тоскливый ужас перед всем увиденным. Невозможно поверить, что его сладкое детство прошло вот здесь!.. Барханы словно уничтожили самую его память, обрубили прошлое!.. Он и не заметил, что мнет в руках песок вперемешку с землей цвета золы.

— Как поет... — сказал он негромко. — Словно сама земля плачет... Знаешь, музыка-то очень древняя. Говорят, ее сочинил в бухарском зиндане¹ один музыкант... несчастный один... И сейчас словно из подземелья слышна...

Муминшо смотрел на него, но, видно, не очень понимал.

— Ну, словно кто в черной яме мечтает о райских садах... Понимаешь? Бывают такие большие зеленые леса, густые заросли, дожди... пахнут так свежо, дивно... Знаешь?

Муминшо опять пожал плечами.

— Ты откуда сейчас идешь-то? — спросил Файзулла.

Едва разговор коснулся его самого, Муминшо сразу заговорил вольно и с охотой. Он нанялся теперь в ученики к известному ткачу в соседнем кишлаке!.. Файзулла вспомнил: ученики ткача работают, погружившись по пояс в яму, потому-то у бедняжки Муминшо такой блеклый, желтоватый цвет лица.

— Знаешь, какие в Зандоне есть мастера узоров для

¹ Тюрьма.

шелковой ткани! А их бязь-пестрядь даже, говорят, в Мекке славится!

— Значит, тебе от сдельщины монетки капают? — сказал Файзулла.

— Нет, в этом году сдельщины нет. Чтоб справить посвящение в ремесло — такой ведь обычай, — взял у мастера вперед, дал угощение в честь святого Агзама, покровителя ткачей... На этом тое в честь святого покровителя, сам знаешь, едят до отвала, всех приглашают — мастеров, аксакалов, торговцев шелком... Так что пока я в долгу только... на побегушках.

— Ничего! — Файзулла чувствовал: надо сказать что-то утешительное. — Зато, как говорится, за поясом уже челнок!.. Что у тебя в вязанке?

— Хазарспон, джисбанд..

Файзулла улыбнулся старым знакомым словам — на здешнем наречии так называли гармалу¹, они значили «исцелить от нечистой силы». Он спросил Муминшо:

— Папа твой жив?..

— Нет... прошлый год сам ему подбородок подвязал..

Файзулла молитвенно провел ладонями по лицу, взял друга за плечи, встряхнул ободряюще.

Вдоль дувалов несколько девчушек, одетых в красную бязь, бродили, то и дело наклоняясь к редким растеньицам, вылезшим из песка. Файзулла вгляделся, но никого не узнал. Впрочем, его знакомые, наверное, все уж замуж повыходили, а это новые тюльпаны подросли...

— Корни собирают, — пояснил Муминшо, проследив его взгляд. — Саланг, кахак, шумгия, хардандон..

— Различают?

— Голод научит!.. Высушат, потолкут, ячменной муки дабавят и толокно сделают. Сытная штука — съешь горсть и заснешь. Крепко так спится и голода не замечаешь. Все детишки уж знают.

— Здорово голод допекает?

— А ты думал!.. Посевы-то пропали. Если кто очистит землю от песка, чтоб три тубетейки ячменя засеять, тому весь кишлак завидует!..

Муминшо, хоть и стал теперь по несчастью главой семьи — он был старший, как и Файзулла, — на деле все еще остался мальчишкой: едва показался двор Шахабид-

¹ Трава для окуривания.

дина, он подмигнул гостю и вприпрыжку помчался вперед — заработать суюнчи, подарок за добрую весть.

Двор дяди был довольно большой; к нему добавилась и земля, бывшая прежде под садом, почти танап (четверть гектара). И все равно перед сумерками в нем казалось тесно. В одном конце жевали свою колючку два опустившихся наземь верблюда, рядом, положив под головы потники, спали чабаны. В другом конце кто-то доставал воду из колодца, наполнял бурдюк и носил в стойла. Кто-то кипятил шерсть в кварцевом растворе. Поближе к воротам женщины сбивали масло — наверняка из овечьего молока, крутили крупорушку, смешивали угольную пыль с ганчем, готовя краску. Отовсюду несло запахом кизяка. Эта вечерняя картина была знакома Файзулле — большая дядина семья всегда трудилась допоздна.

Он только-только успел привязать поводья к торчащему в столбе ворот изогнутому гвоздю да опустить на землю переметную суму с подарками, как навстречу вышел сам Большой тога, старший дядя Шахабиддин, глава семьи. Прижал племянника к груди, прослезился... Удивительно, он почти не постарел, был все такой же громадный, чуть нескладный, со слегка колышавшимся при ходьбе туловищем. И рыжеватые усищи были те же. Легкий запах ароматных стружек, повеявший от него, сразу вернул Файзуллу в исчезнувший было мир детства. Да, вот оно: знакомый двор, знакомые лица. Тяжело дыша, появились откуда-то дяди Нуриддин и Кушмак, слышались басовитые голоса Шади Горячки, Хамзы Рябого. Эти двое — братья и тоже считаются его дядьями. Тут полкишлака — его родня! Один близкий, другой дальний, один знакомый, другой незнакомый, а все родня, и все переживают, горюют друг за друга..

Его обнимали, гладили, тискали, говорили приветливые слова, он устал даже; потом в окружении целой толпы вошел в знакомое просторное помещение, где потолочные балки перекрыты брусками с поблекшими узорами. Все здесь было то же, разве что узоры еще больше поблекли да потолок сильнее закоптился. Все разом опустились на расстеленный палас. Дядя Шахабиддин прочитал благодарственную молитву.

— Хош,— сказал он, разгладив свои рыжие усы,— а здоровы ли наш знатный родственник? И сестричка наша? И ваши амаки?

Амаки — это были дяди по отцу. Файзулла передал

все молитвенные пожелания матери, потом сказал про отца.

— Все у его изголовья... — закончил он со вздохом.

— Да, — сказал Хамза Рябой, — недуг их, видать, серьезный... Доходили вести, что лежит, да мы сперва думали: отдыхает от мирских забот, блаженствует под старость в нарядном своем доме... — Хамза Рябой был полноватый словоохотливый человек с сильно рябым лицом и реденькой бородкой. Хоть и не был он Файзулле близким родичем, но мальчик когда-то любил с ним беседовать и, чтобы не произносить прозвища, как все, называл его просто — дядя. Впрочем, тот к своему прозвищу давно уж привык. — Беда, беда! — говорил Хамза Рябой. — Авось аллах смилуетя...

Чтобы переменить тему, Файзулла стал по очереди расспрашивать всех об их жизнь-бытье; узнал о тетушках, о детях; горько посетовал на впервые увиденную им беду кишлака. Хамза Рябой, что сидел, подоткнув полу ватного халата, снова подхватил:

— Да, пока город не загорится, кебаб дервиша не изжарится! Занесло нас песком, вот и обучились ремеслам. Были мы дехкане, племянничек, а теперь вот один шорник, другой кирпичи делает да стены кладет, третий ткачом заделался, четвертый циновки плетет... Что ж, жить надо! Веники вяжем, женщины вышивают, торгуют вареной свеклой...

— Не одни дехкане пострадали, и отары тоже скудеют! — сказал Шахабиддин. Бойкая речь Рябого чем-то рассеивала горечь, пробуждала оживление, а степенный, серьезный тон старшего дяди возвращал к суровому раздумью. — Кто скупал шкуры за свою цену, — продолжал он так же медлительно — тот... тот избавителем был для степняка... благодетелем! Оно ясно... увезти сырые шкуры на верблюдах... караванами... такое только ваш всемогущий отец и мог! А теперь?.. Мелкие жулики... перекупщики... они каракуль только за бесценок брать и будут, оно ясно! А кто его тут в муках обрабатывал... тем что — только вздыхать останется да взывать к святому покровителю!..

Ночь наступила. Старший дядя из уважения к гостю велел зажечь «земляное масло» в керосиновой лампе, постлали дастархан, одна из тетушек принесла кукурузных лепешек, другая — сушеные тутовые ягоды, третья — домашнего сыра, четвертая — вареный горох... Файзулла поочередно здоровался с тетушками, но они

прикрывали лица краями бязевых платков и он не узнал ни одной. Муминшо, взявшийся прислуживать, на пороге принимал от них чайники, еду и подавал на дастархан.

— А в уезде, — спросил Файзулла, — хозяйничают все те же четверо? — тон у него был какой-то отсутствующий, будто и мысли находились далеко.

— Да-а, — сказал старший дядя, разламывая лепешку, — те же, те же... они тут теперь и вовсе всемогущи... Замирили какое-то... племя, какое-то взбунтовавшееся... Вот и пожаловали им право самим налоги собирать!..

— Сверх эмирских? — голос у Файзуллы словно проснулся.

— Ага, племянник, — подхватил Рябой, — так и выходит! Муэдзин, говорят, луком питается, а привалит — обжирается! Внимают с нас то налог с урожая, то божий налог, то с десятины и со скота, то земельный, а то с дыма...

— И штрафные еще, — вставил кто-то.

— Ага, и штрафные!.. Сам чиновник налоговый и тот не разберется, за что берут! Однажды вот явился к нам и требует с земель, что засыпали песком, «деньги за кустарник», «деньги за пастбища»! И-е, говорим, мил человек, да ведь ничего там не растет! С божьей помощью, говорит, вырастет! Или вы неверующие?.. Вот как!

— А по мне, детка, — сказал молчавший до сих пор Шади Горячка, — это к лучшему, что кишлак песком засыпало... — У него была реденькая бородка, как у брата, и он был еще молод, хотя среди сидевших тут выглядел самым старым. Говорил негромко, это отец его был сердитым и вспыльчивым человеком. И прозвище к нему перешло по наследству. Жуя лепешку щербатым ртом, он стал объяснять свою мысль: — Земли наши со времен дедов и прадедов описаны, родят, не родят, а налоги с них взимают. Говорят же: вора не найдется — чиновник тут как тут. Потом приказчик с тебя требует, жилы тянет. А потом весовщик на базаре обдерет, высушит почище песка. Сговорятся со сборщиком налогов — последний чекмень с тебя снимут... Так на что эти земли?

— Да уж, — сказал Шахабиддин веско, прерывая разговор. Тема, видно, у всех в зубах навязла, те, что ближе к двери, начали уже расходиться. — Угощайтесь, племянник, угощайтесь!.. В кои-то веки прибыли... а мы к вам со своими жалобами... А ну, вас послушаем. Совсем уж вернулись?

— Совсем.

В Файзулле зашевелилось было желание, которое он неосознанно лелеял по дороге сюда: поделиться своим смятением, спросить совета на будущее... но он тут же подавил его. Люди такое горе мыкают, а он, богатый наследник, будет спрашивать, как ему жить... Хорошо, вовремя язык прикусил.

Хамза Рябой подвинулся к нему.

— Расскажите-ка нам об этом самом Москопе!..

Голоса уже звучали тише, медленней, на айване¹ трещала мангалка, при ее отсветах тени грусти на смуглом лице Файзуллы, на щеках вытянутого лица должны были казаться еще гуще. Но дяди, привыкшие видеть в нем мальчика, наверное, не замечали этого. А замечали, так относили на счет болезни отца.

— В Москве жизнь другая, дядя, — сказал он поначалу нехотя, но тут же воспоминания оживили его. — Там дома кирпичные, крыши железные, улицы, камнем мощенные... Есть такие вещи, что у нас и названия им не знают. К примеру, там все комнаты от стены до стены и до порога досками устланы и называется это пол. Или через провод можно с одного конца города с другим концом разговаривать. Это телефон называется. И в каждом доме чистота и порядок. В комнате, которая у них называется ванная, из крана течет чистая вода! А спят как? Кровать застилают белой тканью, называется простыня, на нее и ложатся... Вечером парами ходят на разные зрелища, в театры, и музыку слушать, и на конные представления... и гулять по садам. По общим, государственным садам!.. Старики и старухи там на красивых скамейках отдыхают. А молодежь оденется красиво, собирается в больших комнатах и устраивает споры — о науке, о знаниях... Ученых людей там бесчисленно! И все там совершенно...

— Все это, детка, — задумчиво сказал Шахабиддин, взяв себя за ус, — все это... знать, богатеи, властители...

— Нет, тога. Вот ходил я к одному учителю, брал у него уроки. Он не власть и не богатый. А в доме порядок, музыкальные инструменты, книг несчетно, электрические фонари и штука одна такая... круглая... глобус называется... на ней вся земля изображена! Пловом жирным не питается, в роскошных чапанах не ходит, зато

¹ Терраса.

все для обучения науке... Нет, тога, жизнь у русских очень поучительна и достойна подражания.

— Увы... нам-то этого не достичь...

— Почему, тога? — с неожиданной для себя резкостью спросил Файзулла. — Ведь можно у них учиться!

— Земли наши разные, вера у нас разная... ведь караваном все это сюда не перевезешь. Вон эмир продал князю Антоновскому свои земли в Паттакесаре, и что из того? Переменилась жизнь?.. Пустые мечты, детка.

— Как вы сказали... князь Антоновский?

— Да... а что?

— Нет, ничего... вместе со мной один мальчик... Саша Антоновский... занимался немецким языком с учителем. Он из аристократов. Так не его ли это отец?..

— Не знаю, молодой мой мулла. Уж за полночь, отдохнуть надо... Аминь! — сказал Шахабиддин и, всколыхнувшись огромным телом, поднялся, выпрямился. Тотчас поднялись и другие. В ночи заголосили петухи. Когда все разошлись, на айване, снаружи, погасили фонарь. Уже залезая под одеяло в комнате для гостей — рядом лег Шахабиддин, — Файзулла снова сказал тихо:

— Тога, как там ни будь, все равно мы должны учиться тому, как живут русские. Иначе нельзя... Поверьте вашему племяннику, я пять лет провел там...

Дядя только кашлянул слегка, ничего не ответил. Кто-то, приоткрыв дверь, спросил: огня в сандал положить? Дядя шикнул на него и сказал тихонько: не надо! И Файзулла погрузился в безмолвную ночь.

На рассвете его разбудил Муминшо, просунувший голову в оконце. В доме никого уж не было, кроме старухи, варившей на очаге отвар из фисташек. Файзулла вспомнил: это употребляют от расстройства желудка. Они выпили по пиалушке ширчая — чая с молоком, маслом и перцем, сунули по лепешке за пазуху и пошли со двора.

— Я тебе дивбанда покажу! — сказал Муминшо. — Я слышал, ты говорил вчера про зрелища в Москопе, как их...

— Театры, — сказал Файзулла.

— Ага. А ты теперь наше зрелище посмотри...

Они направились в глубину кишлака. Длинноногий Муминшо легко перепрыгивал через нагромождения песка и колючие изгороди и заставил-таки попотеть плотного Файзуллу, привыкшего больше к езде верхом.



Хорошо еще, думал Файзулла, что надел простой чапан. Дышать стало трудно, в голенища быстро набился песок.

— И где... это твое зрелище?..

— Увидишь! У ишана-дивбанда...

Муминшо торопился, точно мог куда-то опоздать. Наконец он остановился, прислушался, потом огляделся с разочарованным видом.

— Э-э... — сказал он досадливо. — Видно, день не тот...

Файзулла ничего не понимал.

— Какой — не тот?..

— Ну, не тот, когда его бьют. Не то уж слышно было бы, как вопит.

— Да кого бить должны, кто вопит?

— Ну, джинни же!.. Сумасшедшего.

— А бьет кто?

— Человек ишана-дивбанди!

— За что?

— За что, за что!.. Я ж тебе сказал: дивбанд. Плеткой нечистого духа изгоняет, дива...

Файзулла поежился и пошел следом за Муминшо, который полез в какой-то пролом в глинобитном заборе. Они прошли еще малость и вдруг посреди заброшенного двора увидели дом не дом, айван не айван, словом, развалюху какую-то, где на глиняном полу валялся голый человек. Нога его была закована в цепь, закрепленную на толстом столбе айвана; пот с него стекал и в это стылое утро, образуя потоки грязи посреди ссадин и болячек, покрывавших тело, обритая голова сплошь покрыта коростой, лицо и брови облеплены пылью... Перед ним прямо на полу лежал кусок лепешки, стоял кувшин с водой. Человек бессмысленно глядел вверх, подвывая.

— Опоздали... — сказал Муминшо.

— Что ж, его так и лечат битьем?

— Ага. Каждый день лупят плеткой из четырех кожаных ремешков. И как этот див в нем только держится...

— Давай подойдем!

— Не, не надо, он еще не образумился, что ты!.. Эй, что ты делаешь, он же безумный!.. — И Муминшо, изменившись в лице, попытался удержать друга за рукав. Файзулла не остановился.

— Ассалом алейкум! — сказал он, приблизившись к

лежащему человеку. Человек со страхом и недоумением глянул на него, потом поднялся, сел.

— Вы табиб? — сказал он, пытаюсь пыльным лоскутом прикрыть бедра.

— А вы верите, что излечитесь избиениями?..

— Что?.. — сказал человек и еще раз взгляделся в Файзуллу. — Мулла... я вижу, вы тут гость... уходите отсюда! Не боитесь заговаривать со мной?

— А чего мне бояться?

— А с людьми ишана... сладите в случае чего?

— При чем тут люди ишана, я же о вас говорю. Разве вы сумасшедший?

— Я раб божий...

— Вас, наверно, продали ишану. А он, «вылечив» вас, хочет прослыть умелым дивбандом!..

— Уходите, мулла.

— Муминшо, — сказал Файзулла, — принеси вон ту железную палку, чем калитку подпирают.

Муминшо помедлил мгновение, растерянно глядя на товарища и словно спрашивая глазами, что это он затеял, потом стремительно бросился и принес железный брус. Файзулла продел его в кольцо цепи на столбе, попытался согнуть. Муминшо, озираясь, стал ему помогать, но кольцо только погнулось. Всунули брус с другой стороны и наконец кольцо сломали.

— Вымойте лицо, — сказал Файзулла человеку и показал на кувшин.

Муминшо все оглядывался, не появится ли кто, и заметил сразу за проломом в заборе высохший арык — в случае чего побежит, спрячется там. Файзулла не торопился.

— Зовут вас как? — спросил он у «джинни».

Тот, уставившись, все глядел на него. Небось свое имя и то забыл, как бы не началась падучая или еще что!.. Муминшо пролез в пролом и звал оттуда:

— Файзулла! Скорее...

— Меня звали Зайниддин! — вдруг сказал «джинни». Он намотал конец цепи на руку и сделал пару шагов, хромя.

— А-а! — сказал Файзулла. — Имя у вас простое!.. Ну, пойдите с нами!..

Русло арыка занесло песком, и три пары ног, две босые, одна в сапогах, оставляли четкие следы на утреннем песке. Муминшо красноречиво показал Файзулле глазами на следы: ясно, люди ишана могут пойти по ним

и найдут без труда! Их ведь тоже не помилуют!.. Но Файзулла только пожал плечами.

Они шагали по руслу вниз долго. Муминшо впереди, потом Файзулла, Зайниддин последним. К полудню достигли кладбища Пуштаи Гарибон, на полдороге меж двумя кишлаками, у самой пустыни и присели под опаленным молнией тутовником. Посидели, отдышались.

— А ну, братец, расскажите, кто вас довел до такого? — спросил Файзулла.

Лицо Зайниддина заросло бородой, весь изможден до крайности, и по виду возраст его было не определить. Согретый ходьбой, он уже не дрожал, но сидел, подставив спину солнцу, и по привычке поводил языком во рту, чтоб удержать слюну.

— Лучше бы вам не спрашивать, — сказал он, — а мне не рассказывать, байвачча. Приключения моей жизни уж давно начались, а недуг неизлечим. И я был некогда мулла, подобно вам...

— Та-ак, — удивленно сказал Файзулла. В речи Зайниддина и впрямь звучали книжные слова, свойственные человеку грамотному.

— Родители мои, — сказал Зайниддин, — родом из кишлака Джуйбар — ремесла были запретны для них, сами знаете. После смерти отца мама приучила меня прислуживать на кладбище. В сумерки по пятницам мы подражали слепому чтецу корана — читали суры на память. Ну, старухи, приходившие на кладбище, и одаряли нас поминальными лепешками. Лепешками теми я кормил мать два года... пока слепец не прогнал меня, сироту-соперника. А вскоре мать скончалась, да будет ее место в раю... Хоть неграмотный был, а память на святую книгу сгодилась мне — приняли в медресе, способности обнаружилась...

— Та-ак, — снова сказал Файзулла, давая понять, что внимательно слушает.

— Хоть и выросли мы в самых низах, байвачча, а в книжной мудрости преуспели, иносказания толковали искусней многих... Но такая вот несчастная судьба — года через три стал я головной болью страдать: виски так и ломило! Терпел, ходил к табибу, лечился... Не помогало. Знаете же, ученики медресе в каникулы, на время сорокадневного поста, прячутся где-нибудь, зубрят свои науки наизусть. А я прослышал — на мазаре Ходжа Хилват Шакшакий есть родник целебный и один мулла

даже сказал: «Шакшакый», мол, от арабского «шакида» — головная боль. Ну, я и рискнул, отправился туда на сорокадневье... А это в сорока верстах от города оказалось, в Кызылкумах. Ни деревца, ни росточка. Рядом с молельней — жилье святого, сбоку — помещение для постящихся, для паломников, значит. Очень мне там не понравилось — мюриды, больные, вроде меня, попрошайки, блаженные. Да и родник сам назывался «гуль» — «цветок», а один человек мне объяснил сразу: не «цветок» это вовсе значит, а по-местному «чесотка»! И меня от вида той воды тошнить стало... Но остался. На третий день поста лечение началось. Каждый больной должен был раз в неделю принести в глиняном тазу сваренную голову овцы. Водонос шейха брал тот таз и окроплял больного водой из родника. А вечером предавались радениям и подали жертвенную пищу...

Через две недели не только что боль моя не прошла, а я еще вдруг разом оплешивел. И голова моя стала вонюче гноиться! Оглянулся, вижу — плешивых навалом, ими сам святой шейх занимается, читает специальную молитву. А потом мы, растворив в уксусе тутие — чудодейственную мазь из цинкового порошка — и молясь святому имаму Кутайбе, мазали раствором головы. Еще хуже стало! Воню я соседей отпугивал, боялся и под крышей ночевать, чтоб не повесится на завязках от штанов... И не вытерпел, сбежал оттуда, а куда теперь пойдешь: отовсюду гонят, как собаку, палками, камнями. Раздобыл было высокую шапку, к дервишам пристроился — и они погнали. Хуже прокаженного... И, когда уж вовсе и облик человеческий и стыд потерял, повстречал себе подобных... Слышали, наверно, их звали в народе «стервятники хумаюна». Эмира, значит... Занимались мы тем, что крали трупы из ямы, куда сбрасывали казненных...

— Так, — опять сказал Файзулла, но почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Муминшо поднялся и отошел куда-то.

— Затошнило бедняжку, — сочувственно сказал Зайниддин, — ясно... Ну, вот, смертных приговоров было хоть отбавляй: на Регистане и воров и честных каждый вечер режут. В полночь мы и приходили к той яме в махалле Мурдашуян — вчетвером приходили и вытаскивали мертвеца. А рано утром другие из наших выкладывали труп на середину какой-нибудь улочки и требовали у прохожих денег «на саван для раба божьего».

А кто отказывался, обтирали свои головы ладонями и грозили натереть им лица... Давали, бедняжки, деньги, давали... Платили за свой страх и отвращение... А если натыкались на родственника убиенного, тут уж нам и вовсе прилично перепадало! Я даже иной раз ел досыта. Даже женился на дочке одного обмывателя трупов! Только она дня три спустя исчезла... Ну, а потом эмир скончался и через два месяца после коронации молодого эмира наш притон миршабы накрыли. Один из них меня сюда привез, да и оставил ишану... Вот и все, байвачча. Остальное сами знаете...

Подошел Муминшо, не глядя, бросил Зайниддину старый напильник — где он его достал?.. Файзулла вытащил из-за пазухи лепешку, снял свой чапан, положил все рядом с Зайнидином и зашагал прочь. Муминшо поспешил за ним...

Домой они заявили уж к вечеру. Шахабиддин сидел в своей мастерской, как всегда, обложенный стружками, рядом с ним стоял готовый новенький гробик и две колыбели. Пахло, правда, не карагачом — тутовником, тополем, но тоже неплохо... Файзулла чуть приободрился.

— Куда запропастились? — сказал дядя.

— Гуляли, — Файзулла старался улыбнуться как можно беззаботней, но Шахабиддин глянул на него внимательно, словно почуял что-то. Снял передник, отряхнулся, позвал во внутренние комнаты. За чаем оба молчали, Файзулла теребил бахрому дастархана. Потом Шахабиддин, оставив пиалу, закурил чилим¹.

— Что... — сказал он, — не понравилось у нас чего?..

— За вашу доброту и любовь спасибо, тога... — голос у Файзуллы прервался от волнения. — Мы... кишлак обошли. Я очень любил ваши места, тога... Кишлак моей анаджан...

Шахабиддин молчал. Файзулла сказал:

— Тога, надо что-то делать!..

— Это ты... все вчерашнее?

— Да, тога. И еще...

Он сбивчиво рассказал о сегодняшнем происшествии.

— Обидно, тога, и горько за достоинство человека...

Такое только у нас может быть!

Дяде что-то в табаке не понравилось, он поморщился, отложил чилим. Поднял фитиль лампы, помолчал.

¹ Прибор для курения через воду.

— Вы... эти свои тревоги... оставьте, племянник!

— Почему?! Разве эта несчастная земля — не край наш родной? От его беды... куда же? Беда в доме, говорят, бежать некуда!..

Шахабиддин поднял глаза — Файзулла вдруг сообразил, что это он впервые смотрит ему прямо в лицо!.. Шахабиддин смотрел испытующе, точно решал: и впрямь проявляется в племяннике какая-то взрослость или это все еще детские замашки?..

— И что вы можете поделывать? — проворчал он словно бы сердито, но Файзулла мог бы поклясться: не сердится он, нет.

— Русские, тога, что-то же делают!.. А с их помощью... разве и мы не можем сделать хоть немного? Я слышал, домла Парсоходжа с площади Достурханчи говорил: один еврей хотел открыть в Бухаре синема-тограф, но воспротивились улемы. Тогда вмешались русские из Кагана и разрешили открыть!.. Русский торговец хотел замостить площадь Сарбазов, и опять улемы были против. И тут уладилось с помощью русского представительства! Ну, что вы на это скажете? Если в каждом деле поступать, как русские...

Наверху послышался шум. На чердаке, где хранилось сено, прошуршало что-то, потом кто-то грузно спрыгнул с лестницы, кашлянул. Слышно было, как отряхивается. И на пороге появился незнакомый чернобородый человек в старой солдатской гимнастерке. Шахабиддин вскочил с места — непривычно разволновался или испугался, опешил.

— В чем дело, Васильич?..

— А ничего особенного. Салом алейкум!

И, приблизившись к удивленному Файзулле, сел, скрестив ноги, движением руки успокоил Шахабиддина.

— Все в порядке, Шахаб, садитесь!.. Приветствую вас, байвачча.

— И я... вас приветствую!.. — у него голова пошла кругом: ну и чудеса в этом кишлаке. Откуда тут, у дяди, русский?.. — Вы русский? — как-то тупо, по-мальчишьи спросил он.

Человек улыбнулся.

— Точно, — сказал он, — Шумилов Николай. — Ему было лет сорок, в длинной черной бороде серебрились соломинки, голос звучал и чуть покровительственно и вместе чуть иронично. Движения выдавали уверенность в себе. — Я, — сказал он по-узбекски, — слышал

вашу беседу и вчера, и сегодня... И впрямь верите тому, что говорите?

Его интонация задела Файзулла.

— Вы меня знаете... расспрашиваете насчет моих убеждений... А я вас, почтеннейший, вовсе ведь не знаю! — от обиды он даже заговорил важно по-взрослому, как гости в доме его отца.

Шумилов вдруг обаятельно улыбнулся.

— Не сердитесь, байвачча!..

Шахабиддин вмешался:

— Николай Васильич, — сказал он, — человек бескорыстный... простой... ехал из Ташкента в Красноводск...

— Бежал, — поправил гость с той же улыбкой.

— ...остался у нас на ночь...

— Спрятался!.. — снова сказал Шумилов.

Теперь Файзулла понял. Он много слышал про таких... мечтателей; они, не боясь, шли на смерть. Революционеры... другие их называли каторжниками... еще кто-то большевиками, что ли... Он, правда, пока не слышал, чтобы от них была какая-нибудь польза народу. Но и не думал, что могут они так располагать к себе, как этот... Шумилов. А дядя-то каков!

— Иронизируете над моими словами, — сказал Файзулла по-русски, — а ведь сами вы русский человек!

Шумилов тоже перешел на русский:

— Ну, зачем вы так. Никакой иронии. Наоборот, ваши мысли меня очень заинтересовали, видите, настолько, что я, нарушив конспирацию, спустился сюда с чердака!.. Вот только разве я должен себя считать лучше вас, потому что я русский? Не-ет... если у меня какое преимущество, так одно: я революционер!..

— Уж видели вашу революцию... Нам ваша культура нужна!

— Это я поня-ал, — сказал Шумилов. Он опять улыбнулся. — Вы мне сперва показались таким образованным, воспитанным мальчиком, а вы, извините... с перцем!

— Какой есть, — буркнул Файзулла.

— Вот, вот... да это хорошо!

— Знаете, у нас говорят: каждый к своей земле пупком прирос. Но если б вы, господин Шумилов, хлебнули здешней жизни...

— Хлебнул, не беспокойтесь!

— Я слышал, вы... ну, такие, как вы, хотите разрушить все до основания... А что потом будет на развалинах?..

Вот вы сами лежите, затаившись, на чердаке. А чем будете делать революцию?

— А вы думаете, она деньгами делается?..

— Разве и деньги тут ни к чему?.. Вот я знаю... извините... захоти я заняться политикой, за мной по пятам будут ходить люди семи партий!..

— Это самое худшее, господин Ходжаев,— сказал Шумилов серьезно.— Запутаетесь, заблудитесь между ними. Знал я одного такого господина... Фабрикант, миллионер. Помогал всем, кто против царизма...

— Это кто же?

— Савва Морозов. Может, слышали?.. И нам помогал.

— Ну, и что ж он?..

Шумилов помедлил, словно раздумывая, сказать или нет. Потом сказал негромко:

— Застрелился он.

В Файзулле что-то скнуло внутри. Он побледнел даже.

— Как?.. Почему?

— А потому, что помогать-то помогал... а революцию ненавидел. Самую идею революции...

Все помолчали. Потом Файзулла вдруг сказал:

— Вот видите, чем кончается увлечение политикой!..

Шумилов усмехнулся.

— Да-а, политика небезопасная штука!— и в голосе его и во взгляде Файзулла снова уловил иронию. Или издевку даже.

— Видите, вы и мне не верите ничуть!

— Да,— спокойно сказал Шумилов.

— Но почему?..

— На ногах у вас оковы, да и торбочка тяжела.

— Что за оковы, какая торбочка?..

— Миллионы ваши.

— Значит, человек, если он богат, уже этим вызывает у вас отвращение?!

— Я этого не говорил, но, если быть откровенным, господин Ходжаев, не могу не признать основательность ваших суждений.

— Спасибо!.. Суждений!.. Мыслей обо всем у меня немало... только высказать некому... Вы уж извините... К примеру, может, скажете, в чем, по-вашему, роковая сущность человеческой природы?— Файзулле самому вопрос показался слишком общим... высокопарным... и он заторопился расшифровать, объяснить его.— Я хочу сказать... человек, вот такой, как есть, не слишком ли его

отягощает влажное его нутро... не в плену ли этого его дух?.. Ведь иначе почему дух такой несовершенный?.. Вот я думаю, всю свою жизнь мой отец ворочал свое достояние, как мельничный жернов... всю жизнь не давал себе покоя... Вы не улыбайтесь, он действительно работал как вол! Конечно, ни в одном углу этой степи нет человека, что не проливал бы пот ради его богатства... Я знаю! Но он тоже, тоже... И мне его жалко: он ведь думает, что и наследник понемногу научится вертеть его коммерческую машину. А мне это не подходит. Я вам правду говорю. У человека же цель должна быть! А какая цель у владельца капиталов?.. Те же капиталы! Это же опять не цель, а только средство!.. Нет, не может быть, чтоб стремление к деньгам было в природе человека!.. К примеру, вы... простите... вы на что в себе надеетесь?..

Чернобородый ночной гость помедлил.

— Я люблю свою родину...— сказал он наконец очень просто и тихо. Потом добавил уже чуть иным тоном и с затаенной улыбкой:— Возможно, в этом, как вы выражаетесь, и заключена роковая суть человеческой природы!..

— А в моей любви к родной земле,— сказал Файзулла запальчиво,— вы что же, сомневаетесь?..

— Вы еще очень молоды...— сказал Шумилов опять тихо и серьезно. И с какой-то неясной интонацией не то сочувствия, не то упрека. А Файзулла вдруг представил себе, что гость должен думать о нем: папин сыночек, баловень судьбы, с жиру бесится... Тот-то, может быть, и в тюрьме сидел... даже наверное, раз бежит и прячется... Может, его к расстрелу приговорили... Ну и что ж, он, Файзулла, в этом не виноват!..

— Неужели вы и в искренности моей сомневаетесь? В том, что у меня... что у меня душа болит за все кругом?..

— Нет, почему же. Вовсе нет. Я верю, что у вас душа болит по-настоящему. А это признак душевного благородства!.. И мечта у вас есть...

— Смотрите на меня как на мальчика с безобидными мечтами. «Рисуй, детка, рисуй, это хорошо, дети любят рисовать...» А есть ли у тебя, к примеру, способности рисовать — это не важно!..

Шумилов почувствовал, видно, некоторую неловкость.

— Бог с вами!— сказал он.— Не смотрю я так. Я

вижу, вы юноша с мыслью. Это очень важно. И, если мысль ваша вправду выстрадана... или будет выстрадана, тогда вы наверняка придете к политике! И дай вам бог не ошибиться! Из каких только топей не выводит человека любовь к родной земле!.. — он вытащил часы, открыл крышку, поглядел, крышка снова щелкнула. — Увы, идти я должен. Не сердитесь — и до свидания!..

Файзулла пожалел о своей запальчивости. Дядя Шахабиддин уже стоял наготове у двери, и в позе его читалось несвойственное ему нетерпение. Было за полночь, за дверью угадывался слабый отсвет белесоватого горизонта. Гость погладил бороду, кивнул и исчез в степной ночи. Шахабиддин вышел за ним, не взяв даже фонаря. Шагов их не было слышно. Дядя скоро вернулся.

— Тога, — сказал Файзулла, с момента их ухода не сдвинувшийся с места, — согласны вы с этим человеком?

— Как сказать, детка... Одно знаю... он хороший человек.

Файзулла лег, но уснуть не сумел, только задремывал иногда и просыпался, и все, и снова спорил мысленно с этим человеком, приводил новые и новые доводы, но как-то чувствовалось, что убедить его не удастся. Заснул он по-настоящему только под утро и приснилась ему Москва: прекрасно, по-европейски одетые люди прогуливаются по чистым высоким улицам, все приветливы, улыбаются... и вдруг оказывается — это не Москва вовсе, а Бухара! Вот и Зайниддин идет, чистый, прекрасно одетый, отвешивает легкие, деликатные поклоны, только Муминшо нету. Где это Муминшо?.. Его непременно надо найти! «Муминшо! — кричит он. — Муминшо!!!» И просыпается от собственного крика. В глазах рябит от солнечных лучей. И голос дяди из отдаления некоторого — а, из мастерской, конечно — отвечает на его сонный крик:

— Приятель ваш уж побывал тут, племянник... приходил проститься... жалко было будить вас. А мастера в Зандоне суровы... отправился рано поутру. Горек хлеб ученика, детка...

В эту усадьбу, занимавшую больше половины махалли Газиян, пронизанные сыростью холода Бухары обычно не проникали. Тут, бывало, кипели торговые страсти, шумела радость возвращения из дальних странствий, суетились перед пышными проводами. Теперь же в обширных дворах и комнате для гостей было пусто, фитили так называемых сороковых ламп, висящих на узорных

крюках, привернуты, потому и резные капители толстых изукрашенных колонн на айване, и алые брусья, и расписанные прямоугольники потолка виднелись смутно, по накладной резьбе дверей и наличников скользили тени.

Едва Файзулла вошел в крытый проход, который вел во двор от уличной калитки, на него разом повеяло и стылостью запустения, и затхлым запахом кож из подвала. Старик конюх, вышедший из чуланчика слева, молча поздоровался с ним, принял поводья и повел коня на конюшню. Правда, как только его появление заметили, дом оживился несколько, задвигались головы в раскрашенных башенках балахоны¹; в передней с молодого хозяина проворно сняли походный чапан, накинули легкий халат, поднесли умыться. Напяливая ковровую тюбетейку, Файзулла глянул наверх; за резным изукрашенным порталом мелькнула какая-то темная фигура, быстрая и тревожная. Мама, наверно. Надев мягкие сапожки, он взбежал по каменным ступеням. Так и есть, в полутьме его с тоской и нетерпением ждала мать. Он прижался к ней на мгновение.

— Сынок, — сказала она поспешно и приглушенно, — вам надо скорее к отцу, поклониться, получить благословение...

Теперь в этом большом доме не было никого, кто обращался бы к нему на «ты». Но, когда и мать сказала ему «вы», в этом прозвучала произительная и трепещущая обреченность. Это был только конец чего-то, не начало. К полутьме он еще не успел привыкнуть и едва различил слезы на ее глазах. Он нежно отер их пальцем и передал молитвенные пожелания дядей.

— Как там?.. — спросил он об отце.

— Ждут...

Надо было спешить к отцу, он спустился.

Убайдулла-ходжа с тех пор, как заболел, велел устроить себя в особой опочивальне в среднем дворике. Тут он, лежа в постели, принимал и всех посетителей. Файзулла прошел через сводчатые прихожие, отделанные резным ганчем, через полутемную анфиладу великокопных гостиных и на мгновение остановился перед небольшой резной дверью; должно быть, о его приходе уже оповестили — за дверью стояла тишина, хотя чувствовалось, что людей там немало.

¹ Балкон.

В опочивальне было светло, но душно. Гостей и впрямь было много. Слегка пахло гармалой. Файзулла опустил у ног отца, накрытого чекменем; голова Убайдуллы-ходжи покоилась на высокой подушке. Файзулла поцеловал полу чекменя, поднялся, по очереди поздоровался со всеми гостями и опустился на колени рядом с ложем отца. Тут и все снова сели, молитвенно проведя руками по лицам, а Файзулла почтительно заговорил с отцом.

Стены опочивальни были сплошь покрыты ажурной резьбой по ганчу, тонкой, как ювелирное изделие, и оставлявшей место лишь для двух боковых панно и пары миниатюрных ниш. По краям высокого потолка свисали сталактитами ганчевые резные карнизы. Но всю эту великолепную архаику уже теснила новизна: у входа безвкусно красовалась большая голландская печь, облицованная примитивными майоликовыми изразцами. Незажженные рубиновые люстры мертво смотрели вниз, и узоры ковров тоже, казалось, потухли.

И собравшиеся гости выглядели, как пестрый набор разнородных лоскутов. Файзулла не мог понять, как это они ухитрились усесться рядом — слышший неверующим хазрат Шораджаб Зуфунун и ярый ортодокс аглям Шоахсий. Впрочем, Шораджаб-то что — он один из близких отцу людей и притом искусный оратор, не боящийся никаких споров и неизменно побивающий противников и красноречием, и казуистикой своих доводов, и, главное, обширными знаниями. Недаром он слывет страстным любителем книг: говорят, за «Юсуфа и Зулейху» с иллюстрациями Ахмада Дониша отдал триста пудов пшеницы!.. И сам он человек простой и честный, открыто обличающий злоупотребления. Зато Шоахсий всецело находится под влиянием самых фанатичных улемов, а за глаза его еще называют «аглям с белой печатью»: по слухам, он продавал писарям чистые листы бумаги, на которых уже проставлена печать... Казалось бы, должен ненавидеть Зуфунуна всеми силами души, но то и дело обращается к нему: «Почтеннейший устод...»

Или два других. Ходжа Захреддин-махзум, тот, что одет в бурый суконный чекмень, носит узорчатые сапожки и пестрые кожаные калоши поверх, по-афгански наматывает на голову скрученную чалму, оставляя висеть длинный конец, а бородку свою франтовато подстригает — человек этот хоть и беден, но

жаждет приобщиться к высокому, тонок душой, мечтателен. Получая жалкий доходец от какой-то земли, содержит школу, вечно таскает с собою печатные издания Хафиза и среди ученой братии получил прозвище Бенамаз, то есть Пренебрегающий молитвами. А рядом с ним Ахад Сайиб, который когда-то работал в канцелярии кушбеги, главного министра, а сейчас держит весы на хлопковом базаре и выкармливает кобылу — исключительно, говорят, из любви к этому делу; недаром с пояса его свешиваются ветеринарная сумочка и специальный ножик в футляре. На носу у него очки, кто-то, хихикая, сказал Файзулле, что мулла Ахад стал носить их недавно и не по недостатку зрения, а чтоб прослыть джадидом! И впрямь стекла в очках такие, что зрачки видятся сквозь них втрое большими; так и кажется, что смотрит на вас мертвая рыба... Ну, и что этим двоим делать в одной компании?..

Постелили дастархан, и аглям Шоахсий, и мулла Ахад тотчас подвинулись к нему поближе.

Убайдулла-ходжа с затаенной грустью глядел на сына.

— Итак, успели проститься с детством, сын мой? — спросил он, поглаживая кончик бороды. Борода, должно быть, мешала ему, лежащему, упираясь в горло, он постоянно держал руку у подбородка.

— Да, отец... Но, увы, душа моя неспокойна и мысли вразброд...

Больной понял это по-своему:

— Обо мне не тревожьтесь... Слава всевышнему, прожитой в этом мире жизнью я доволен. Пора бы вам кончать с этим разбродом, с рассеянностью и перенять из рук моих все тленное. Тогда все мои помыслы обратятся к лучшему миру...

— О, не говорите так, отец!

Вмешался Шораджаб-муфтий:

— Как там ни будет, а вся надежда почтеннейшего родителя вашего только на вас, — сказал он смиренно. Его густая, слегка подкрашенная хной борода отливала золотом.

— Но ведь я уже говорил отцу: ни способностей у меня к этому нет, ни желания...

Шоахсий, обмакивая кусочек лепешки в нишалду¹, сказал:

¹ Сладкое кушанье.

— Еще великий пророк возгласил: торговля — наилучшее из дел, купцы — славнейшие люди!

— Да, да, — сказал мулла Ахад. — И не зря говорят: коли надо — все к лицу! Время наше — время торговли...

— Разве только наше время? — отозвался Убайдулла-ходжа. — И в древности, сынок, арабы называли Бухару Городом торговли...

— А русские, отец, называют ее сейчас гнездом невежества.

В комнате разом повисло и сгустилось тяжелое молчание, только слышно стало, как чавкает мулла Ахад, по тут и он судорожно проглотил кусок. Зря сказал, зря! Отцу и так плохо...

Убайдулла-ходжа и впрямь разгневался, хотя сил у него на это не было.

— Вы вернулись русофилом, сын мой! — сказал он, и глаза у него сузились. — Для того ли вас посылали в Москву?..

Мулла Ахад тут же подхватил:

— Наш покойный мудрец Ахмад Калла тоже был русофилом — и что? Отверженный народом своим, умер в нищете и пренебрежении! — тут он сообразил, что полез не в ту степь, и стал на ходу перестраиваться: — Конечно... попрекать высокородного наследника не стоит, Убайдулла-ходжа... Московское образование ему пригодится! В делах торговых да расчетах...

Шораджаб Зуфунун не удержался:

— Знания и расчеты, мулла Ахад, — сказал он своим приятным ровным голосом, — бывают, кстати, и в деле продажи совести!

Убайдулла-ходжа с горькой миной утвердительно кивнул со своей подушки.

— Истинно сказали вы, таксыр!.. — должно быть, он вспомнил об участившихся в последнее время, когда он слег, неприятностях в торговых делах, и смуглое его лицо пожелтело. — Знайте, Файзулла-ходжа, те молодцы — образованные молодцы! — которым мы доверили распорядиться тюками кож в караван-сараях Чарджоу, затеяли против нас аферу! Конечно, получают взятки от Арабовых... Юфта, скопленная за целый сезон... та, что привезли из Керки на пароходах... все еще не погружена на поезда... да, да, гниет на складах...

— Воистину, — сказал муфтий, как бы заолняя возникшую паузу, — рабу божьему даруется прежде всего совесть...

— А русофильство, — энергично подхватил Шоахсий, — началось не теперь, не теперь! И не с Ахмада Дониша... Русофильство в прошлом столетии началось с августейшего Абдуллахад-хана!.. Сей царевич, будучи в Петербурге на большом пиру у белого царя, веселья преисполнился... и поставил подпись под одним договором! А по тому договору урусы право получили покупать сады и земли Бухары... Эмир Музаффар, разгневавшись, погнали наследника со двора, да ведь, когда они удостоились райского жития, Абдуллахад-хан взошли на престол, и договор вступил в силу! Вот откуда русофильство-то пошло... Говорили старые люди: впадают ханы в ересь, так, значит, быть холере. И точно! В тот год из Карши холера пришла и пол-Бухары вымерло!..

Файзулла едва сдержался, чтоб не наругать «белой печати». Дурак каков! Хуже темного нищего!.. Он бросил быстрый взгляд на отца, словно пытаясь заручиться поддержкой, и сказал как можно спокойней:

— А разве железные дороги построены не согласно тому же договору? Станции в Новой Бухаре, в Чарджоу, в Керки, в Паттакесаре... А банки?

— Да, — сказал Убайдулла-ходжа, — железные дороги... и банки... только благо от них было... — он перевел дух. — Но и мы не должны... давать слабину... Казне нужно золото... А эмир наш щедр...

«Опять то же», — подумал Файзулла. Сколько раз уж он это слышал!

— Дада, — сказал он, чтоб переменить тему, — мне сказали, какой-то князь Антоновский тоже согласно этому договору купил огромные земли в Паттакесаре! Это правда?

— Да... говорят...

— А ведь у меня был один знакомый, мы с ним вместе занимались немецким у герра Шульца! И тоже Антоновский по фамилии. А немец, вызывая его к доске, говорил: «Князь Александр!» Так этот князь не его ли отец?

— Возможно...

— Ой, если это он, дада, позвольте, я его разыщу! Мы с ним очень дружили...

В комнате засмеялись, а отец снова разгневался, еще пуще прежнего.

— Сперва, — сказал он тоном приказа, — отправитесь в Чарджоу... завтра... Тех образованных молодых...

прогоните от моего имени... приказчика к ответу... пошлете ко мне. Потом... о аллах, не успеешь оглянуться, зима... зима пройдет, весна наступит... мы уж и так опоздали с раздачей авансов... под каракуль будущего года!.. Надо в русский банк... там, в Чарджоу... поговорить о кредите... Встретитесь с Мирсалихом, он ответит...

— Дада...

— Все!

— Отаджан...

— Я сказал, в чем ваше дело... Первая лепешка — от краска теста!..

— Ну, я все сделаю, но и друга разыщу, можно?

Все засмеялись, так это у него по-детски вышло. Впрочем, он и немножко играл. Отец, сжалившись, согласился:

— Ладно... Идите, и будь безопасным... путь ваш... Аминь!

Все воздели руки для благословения, Файзулла поцеловал полу отцовского чекменя и вышел пятась. За дверью снова раздался смех, кто-то сказал тоном умиления:

— Мальчик же еще... От ребячества так быстро не уйдешь...

А он побежал искать мать. Повсюду в доме царила темнота или полутьма, и на душе у него было смутно... скверно. Мать ждала его в том же углу. Она сразу почувствовала, каково ему.

— Крепитесь, сынок, вы уже стали взрослым.

— Я должен говорить от имени отца, мамочка... Я боюсь.

— Груз ваш тяжел, но надо быть смелее. Ум у вас пронизательный, слава аллаху, тут вы сын своего отца, только не ошибайтесь в расчетах...

— Мама, но я не хочу... не хочу такой судьбы! А чего хочу, чем займусь?.. Сын своего отца!

— Разве не хотите вы походить на отца?

— Простите, мама...

Чтобы скрыть свою дрожь и выступившие слезы, он ушел от матери, вышел на закрытую веранду, долго ходил по ней взад-вперед, взад-вперед; потом улегся на одеяльце рядом с сандалом. Мать вошла.

— Завтра отправитесь?..

— Да... пусть к утру запрягут фаэтон.

Осенняя ночь была уже холодной, волнение Фай-

зуллы улеглось понемногу, да и путаница в мыслях постепенно ушла — продрогнув, он почувствовал себя легче, бодрее. Завтра он выедет. Это ведь хорошо!.. Дорога, воля, думай в пути, о чем хочешь, новые люди, новые разговоры... А иначе куда ему девать себя в этом огромном остывающем доме, в этом затхлом, как запах из подвалов, окружении?..

Едва он прибыл в Новую Бухару, зарядил холодный осенний дождь. Файзулла устроился в вагоне у самого окна, слушал всю ночь немолчный стук капель о крышу, стены, стекло, то задремывая, то просыпаясь снова, и думал, думал... Впрочем, что одна такая ночь для человека, привыкшего ехать в поезде неделями!.. Назавтра в полдень он уж был на месте. Встретили его те самые «образованные молодцы»: один из них был афганец, двое других — из Кермана, сбежали в свое время из медресе. Оказались они парнями на редкость симпатичными и жизнерадостными. Повели в сад Деванбаг, рядом с паровой пристанью, там все слегка перекусили и тут же отправились в кладовые Терисарая. В кладовых царил порядок. Знаменитые смушковые и шаразские шкурки каршинских степей были связаны аккуратными стопками, узор к узору; юфта, каракульча, шагрень тюками свешивались с перекладин; пахло щелочью, золой, известью, перележавшей сырой кожей. Парни, судя по всему, разбирались в деле, но вряд ли знали, что значит брать взятку. Они были заочно наслышаны о молодом хозяине; им, должно быть, льстило, что он почти их ровесник. Теперь под его прикрытием они, не спрашиваясь у приказчика, принялись за работу и сделали почти невозможное: договорились со знакомыми купцами и в один день отправили все тюки из кладовых в Оренбург заодно с товарами русских, а стало быть, безо всякой пошлины. Этому их научил Бака-ходжа, крупнейший здесь торговец бархатом, который имел лучшие места в крытых рынках Абдуллахана.

Вечером совершили молитву в том же Деванбаге — Бака-ходжа был там за настоятеля; после молитвы заговорили о здешнем приказчике Ходжаева. Оказалось, это он и занимался аферами: пользуясь болезнью хозяина, продавал свою очередь на вагоны то Арабовым, то Бадаевым... Как говорится, нет тебя — нет и глаз твоих. Файзулла в ту же ночь отправил его на суд к отцу.

На другой день парни нашли для Файзуллы фаэтон и он поехал в Каркичу. Это была военная дорога. Помещения для гарнизонов, построенные русскими, стационарные здания, поселки хоть и скромные на вид, но из отличного жженого кирпича, прочные, аккуратные — все это вызывало у Файзуллы восхищение: вот какой порядок и чистоту принесли русские в эти безлюдные и бесприютные места! В Бурдалике, потом в Ходжамбасе он поменял лошадей и в Каркичу прибыл на третьи сутки. В Каркиче тоже были отцовские караван-сарай, правда, на том берегу реки; но Файзулла спешил к Антоновскому. Его томило любопытство: что князь собирается делать в этом забытом богом краю?

Дальше он добирался с военным обозом. Русские солдаты, обросшие бородами, с запыленными загорелыми лицами, неизменно поражались его чистейшему русскому выговору. В Паттакесаре его встретил кучер, высланный князем, хорошо, что он по совету торговца бархатом заранее отправил в Чарджуу письмо! Кучер, старик с пожелтевшими от табака усами и бородой, в теплом камзоле, сам разыскал Файзуллу.

— Вы от князя Александра Ананьевича Антоновского?..

— Точно так, молодой барин! Добро пожаловать... — и старик поклонился по-мужицки. На площади стоял аккуратненький тарантас.

С юга задувал ветер, грозивший перейти в «афганец», с ним шутки плохи, и отправились немедленно. Дорога была прямая, мощенная камнем, резвый конь шел красивой рысцой. Все это вызывало в душе Файзуллы восторг.

— Н-но, сокол!.. — то и дело приговаривал старик, взмахивая кожаной плеткой. Файзулла тронул его за плечо.

— Как вас величать, дедушка?

— Ярошкой кличут.

— А полное имя?

— Да что ж... Ерофей Карпыч я, милостивый барин. Н-но, пошел!..

Вдали, по обе стороны от дороги, поднимались далекие горные хребты, погружавшиеся в сумерки. Тарантас мчался словно по огромной плоской чаше, полной мглистого воздуха, рассекая своей одинокой скачкой безлюдную тишину. После затхлого холода Бухары этот сумеречный простор, этот малоразговорчи-

вый русский мужик были приятны Файзулле, усталость рассеивалась.

— Далеко еще нам, Ерофей Карпович?

— Далеко-то недалеко, молодой барин. А не прибудем вовремя, ох, как разгневаается господин Шульгин... Н-но, сокол! Н-но-о!..

— Шульгин? Это кто же?

— Управляющий его превосходительства... Он тарантас на два часа только дал.

— А самого князя что, нет?

— Здесь они.. Только и они господину Шульгину возразить не могут-с...

Файзулла недоуменно пожал плечами, но выпытывать загадку этой странности не стал.

— А молодой князь Александр Александрович, он что, здесь?

— Не-е... Мы о них только слышали. В Питере наукам обучаются.

— В университете?! Ах, молодчина Саша!..

И тотчас Файзулла почувствовал завистливую тоску: университет был его мечтой, неосуществимой мечтой... Он разом сник, замолк, и вернулось то знакомое состояние мучительной неопределенности, отчаянной взвешенности во времени, того безнадежного безразличия, когда нависают, кажется, тыщи вопросов, а ответа нет ни единого, и тогда все равно... Никогда не знаешь наперед, когда и отчего это состояние подступит и схватит тебя за горло — долгое, навязчивое, как вот это оглушительное цоканье копыт по камням, разносящееся в безмолвной темноте до дальних ущелий.

— А вы, Ерофей Карпович, говорили — близко...

— Близко, милостивый барин, близко. Прибыли, почитай... А вам спасибо за добрый разговор. Мы уж привыкли: местные на нас глядят хоть и смирно порой, а таково недобро... Да вы, видать, ученый человек, по-нашему говорите, как русский. Помогай вам бог!..

Файзулла хотел ответить, но тут тарантас, не сбавляя хода, въехал прямо в отворенные настежь двустворчатые деревянные ворота и оказался в большом дворе. В глубине дворового пространства стояло построенное на европейский манер белое здание с большими окнами, деревянным, кажется, мезонином; к его широкому крыльцу с навесом вели посыпанные песком дорожки, выделявшиеся на темной зелени двора. С боков двор замыкали еще какие-то строения пониже: наверное,

амбары, людские — в темноте не разглядишь. Кучер развернул тарантас боком к крыльцу, натянул вожжи: «Тпру-у!» — и они встали.

Тотчас отворилась дверь над крыльцом, и в освещенном квадрате появилась фигура человека с вьющейся шапкой волос и бакенбардами, в сапогах и светлой, со стоячим воротником рубашке... Какой-то характерной живостью движений он сразу напомнил Сашу, и Файзулла решил: это сам князь!.. Так и оказалось.

— Прошу, прошу, голубчик! — говорил он радушно, идя навстречу. — Получили вашу депешу и ждали с нетерпением!

— Простите, Александр Ананьевич, за неожиданное вторжение... я думал, тут, может быть, Саша...

— Ах, что вы, дорогой мой, что вы! Я вам рад-рад, точно своего Сашу увидел. Он всегда говорил о вас так хорошо, расписывал вас, как шахзаде — царевича из сказок!.. Благодарю, что не забыли его... Проходите же, милости прошу!

Вестибюль был просторный, хотя и скромный; в нем легко дышалось. Теперь в медных подсвечниках по стенам горели свечи, а днем, вероятно, было много света. За четырьмя голубыми колоннами виднелась открытая дверь освещенной залы, две лестницы с двух сторон вели наверх.

— Переодевайтесь, умывайтесь с дороги, дорогой, и прошу на ужин!

Служанка взяла из рук Файзуллы саквояж и повела по лестнице. Дверь отведенной для него комнатки была открыта. Служанка пропустила его вперед.

— Коли желаете, барин, так баня затоплена! Только позовите... — сказала она с поклоном и вышла, не поднимая головы.

В комнатке, кроме платяного шкафа, кровати, стола и стула, ничего не было. Два больших окна выходили в сад, он глухо шумел во тьме, пахло прелой листвой. Кажется, «афганец», только поугрожав, улегся. Духота рассеялась, в комнату из сада заметно тянуло прохладой.

После бани, где все было, как в Москве — вычищенная до блеска деревянная полка, березовые веники, бочки с холодной и горячей водой, пучки ароматных трав в предбаннике, — Файзулла переоделся в европейский костюм, спустился вниз. Князь, излучавший радушие, встретил его у порога залы, и слуга торжественно возгласил:

— Стол накрыт, ваше превосходительство!

В зале бархатные гардины на окнах были опущены, над столом горела с легким шипением сорокакалинейная лампа под зеленым жестяным абажуром. Сквозь вторую дверь виднелся в соседнем помещении маленький бильярд, поблескивала черная глыба фортепьяно. А здесь, в глубине, потрескивая, горел в камине саксаул. Это было красиво, но, по мнению Файзуллы, совершенно излишне — только-только духота спала!.. Над двумя креслами у правой стены висели в старинных, чуть облупившихся рамах два портрета усатых военных с генеральскими эполетами, должно быть, предки князя.

— Мы тут на службе, байвачча, не обессудьте, — сказал князь, — мне не довелось видеть поместья и дворец господина Ходжаева, но, наверное, вам у нас многое покажется странным...

— Ну, что вы, прекрасный дом, Александр Ананьевич, прекрасный, такой благоустроенный, чистый, тихий...

Стол был огромен, как супа¹. Старый слуга принес бульон в фарфоровой супнице, разлил по тарелкам, подал. Должно быть, подумал Файзулла, князю скучно в этом большом доме с несколькими слугами, вот он и обрадовался молодому гостю.

— Александр, услышав, куда я еду, и восторгался и завидовал: родина шахзаде! Он вас так именует... Хранит фотографию, где вы сняты вместе и оба в белых чалмах!

Файзулла улыбнулся.

— Мы с Сашей были фантазерами, жизнь казалась сказкой... — он снова посерьезнел. — Увы, Александр Ананьевич, когда я домой вернулся...

— Сказка кончилась? — сказал князь.

— Да!.. Чего я только не навидался за последние дни!.. Не смею вам пересказывать... хотя все перед глазами стоит. — Картины и впрямь замелькали перед внутренним его зрением, как на полотне синематографа. И снова его одолело смятение, захотелось высказаться... — В голове теперь путаница... такая путаница! — Он взглянул в лицо Антоновскому, как бы потянулся к нему. — Александр Ананьевич, я ехал сюда, надеясь Сашу увидеть... а еще спросить совета у вас. Можно?.. Это так важно...

¹ Глинобитное возвышение для отдыха.

— Ну, разумеется,— сказал князь и посмотрел на Файзуллу пронизательно.— Прошу вас...

— Знаете, я понял: у нас свою забитость и бедность считают неизбежной... фатальной. Земля ведь здесь плодородная, а ее полагают жалким, бедным краем... Живут в предрассудках... опутаны мертвыми обычаями... Вот вы, русские, высоко держите свое достоинство человеческое... благоустраиваете заброшенные места. Я просто... ну, я преклоняюсь перед вашей энергией! Перед вашим образом жизни!.. Ну, скажите, князь, неужели мы не можем брать с вас пример?.. — он увидел некую скрытую усмешку в глазах князя, хотя лицо оставалось серьезным, внимательным.— Я говорю не ради красного словца, ваше сиятельство!.. — А может, Файзулла и ошибся: никакой усмешки в глазах не было. И он сказал торжественно: — Ваш покорный слуга желал бы посвятить этому всю жизнь!..

— Хорошо! Отлично! — сказал князь. — И Александр мой тоже, представьте, обличает косность нашей, российской действительности... Клеймит бездельников и сам страдает, как он выражается, от неопределенности своего бытия... Мне это по душе, сознаюсь.

— Неопределенности! Вот именно! — сказал Файзулла. — Но Саша! Он же в университете! На верном пути!.. А я, увы, не имею возможности продолжить образование и хочу в практической жизни попытаться... Что вы на это скажете, Александр Ананьевич? Не можете вы мне?..

— Я всего только практик, инженер, дорогой мой Файзулла.

— Вот именно, вот именно!.. Явились в такую глухомань и проложили дороги, построили плотины.

— Ну, кое-что мы сделали, но, право, немного... Можно бы сделать куда больше.

Тут кто-то кашлянул хрипло за дверью, загромыхал сапожищами, и дверь открылась.

— А-а, Шульгин, входите... — сказал князь, даже не обернувшись. Никакого, даже показного, радушия в его тоне не было.

Шульгин, грубо сколоченный, плотный человек, был в полувоенной одежде, в тяжелых солдатских сапогах, на левой руке черная неснимающаяся перчатка, светлые волосы коротко подстрижены. Он нагло встал на Файзуллу — знал, конечно, о его приезде заранее, но, должно быть, не предполагал, что увидит такого

простого на вид, смуглого до черноты и невысокого юношу. Он кивнул, уселся по другую сторону стола, вероятно, на привычное место, тут же, без церемоний здоровой рукой довольно ловко повязал на шею салфетку, и мгновенно появившийся старый слуга поставил перед ним еду и графинчик с водкой. Наверное, князь в своем вынужденном одиночестве, думал Файзулла, коротает с ним застолья... но теперь, не сказав ему ни слова, продолжает свою беседу с ним, Файзуллой.

— Конечно, — говорил князь, — эти места — нетронутая целина. И вы, вероятно, правы: причина тут в вас самих. Не имею чести лично знать вашего почтенного отца, но, что наша деятельность не по душе эмиру, несомненно! Недавно инженер Анненков преподнес ему проект ирригационных работ и благоустройства земель вокруг Гузара. Стоимость — шесть миллионов рублей. Августейший тут же проект отверг, ссылаясь на чрезмерность затрат. Еще до того концессионер Лессар представил проект канала от Калифа до Карши. Эмир проект принял, но, едва Лессар уехал, порвал его по совету кушбеги!..

Шульгин между тем ел, пил в одиночку водку и слегка ухмылялся, прислушиваясь к беседе... Когда наконец и блюдо перед ним, и графин опустели, он, побагровевший, как-то разом обрюзгший, поерзал стулом, устраиваясь поудобнее, откинулся к спинке и неожиданно вторгся в беседу:

— Вот вы, байвачча, наследник миллионов, а? — голос у него был грубый, пропитой, тон пренебрежительный. — Миллионов, да... а дальше своей усадьбы никуда ж не поедете! Здешние баи так и умирают на своих золотых сундучках. Да и босяки ваши наших куда хуже! Глаз не хотят поднять, а поднимут — яд из них так и каплет... Отвратительно им от судьбы своей, а будет еще хуже...

Файзулле вдруг стало душно, он вздрогнул нервно, скрипнул стулом. В наступившей неловкой тишине слышно было только, как громко дышал, сопя носом, Шульгин.

Файзулла сказал тихо, не глядя на него:

— Чем же виноват народ, господин Шульгин?..

— Наро-од? — Шульгин злорадно усмехнулся. — А не слышали разве, когда в Бухаре ришта поголовно всех заразила, один русский врач из Кагана нашел источник-то заразы: хаузы! Не поверили: мы, дескать,

сотни лет из Ляби-хауза пьем... Тогда врач принес микроскоп, взял каплю из того Ляби-хауза и показал: глядите! А там черви величиной в палец... И что думаете? Как это, кричат, он в каплю воды столько червей уместил?! Колдун! Урус!! Бей кяфира! И забросали камнями... Вот и ваш «народ», байвачча! Сказано: азиаты...

— Шульгин! — сердито вскрикнул Антоновский. Шульгин ощерился в улыбке и, как бы извиняясь, вскинул обе руки. Черная перчатка выглядела зловеще.

— Я и свой не хвалю народ, господа, чего уж там. Отстали до чертиков... Вы в Париже бывали, байвачча?.. А я был, видел. У нас, к примеру, что? Виселица. А у них... — он наставительно поднял палец здоровой руки. — У них ги-ль-отина!.. Да-с. На смертнике рубашка белоснежная, новые ботиночки. И площадь чистенькая, как в праздник. Два столба, как лебединые шеи, на них коса. И две корзинки новенькие: одна, поменьше — для головы, другая, побольше — для туловища. Вжик — и готово! Не успеете заметить... А у нас? Нетесаный ствол березовый, аркан грязный, мыло стиральное... Тьфу! Только у нас такое!.. Я это, признаться, говорил Петру Аркадьевичу, говорил... Но и он, покойник, не понял разницы! Отсталые мы, отсталые, князь...

Князь резко поднялся.

— Рано утром мы едем в горы, Шульгин! — сказал он отрывисто и непривычно грубо.

Шульгин не смутился ничуть, тяжело поднялся, кивком попрощался и вышел медленно, грохоча сапогами. Князь снова сел. Наступило минутное молчание. Наконец Файзулла решил:

— Александр Ананьевич... что, мы и вправду утром отправимся в горы?

Князь поднял на него отсутствующие, недоумевающие глаза, но тут же усмехнулся.

— Что ж... поедем, — он вдруг развеселился. — Поедем, байвачча! Покажу природу, плотины, каналы, водохранилище!.. Поглядите, авось когда-нибудь пригодится!.. — Он помолчал снова. Потом сказал тоном извинения: — Этот Шульгин, байвачча, невежда, хам, не может понять, что время его прошло! Но, согласитесь, без него, по правде говоря, я не знаю даже, как обращаться с людьми. Ведь дикие места!.. И потом не могу же я тут жить безвыездно. А дело должно оставить в чьих-то крепких руках... — он посмотрел на часы. — О, уж скоро полночь! Если утром ехать, вам надобно отдохнуть!..

Они встали одновременно. Под ногой у Файзуллы что-то скрипнуло. Он нагнулся и поднял черную сверкающую каменную пластинку.

— Ангишт?!— воскликнул он изумленно. И тут же поправился, перевел на русский:— Неужели это каменный уголь? Откуда он тут?

Князь улыбнулся.

— Представьте, добыт в этих местах...

— Здесь? У нас?..

— У подножия гор Кетменчапар. Завтра я вам покажу.

— Удивительно! И это, выходит, у нас есть...— Когда-то в детстве Файзулла видел в руках у одного человека горящий камень. Человек казался волшебником. А камень был всего лишь куском угля. Файзулла узнал об этом только в Москве. Уголь же, оказывается, есть и тут, свой!— И много его?..

— Нам хватает. Избавились от дыма. К сожалению, техники нет или очень мало, а местные лезть под землю боятся. О шурфах наших распустили слух, что это врата преисподней! Главное, никто долго не верил, что камень может гореть... Теперь некоторые даже покупают...

— Привыкнут, князь, привыкнут! Надо только начать... показать!

Антоновский улыбнулся, взял Файзуллу под руку.

— Конечно, дорогой, конечно... вот завтра я вам все и покажу!..

У себя в комнате Файзулла не стал зажигать лампу. Отвратительное впечатление от Шульгина сгладилось завершением разговора. Князь так понимает его и такой приятный, умный человек!.. И, главное, не зря он сюда приехал — узнает немало полезного!.. Из окна спальни пепельное небо с чуть побледневшим краем казалось громадным застывшим клубом дыма; цепи гор вдали выглядели как тени громадного каравана. В зарослях кустарников всходила луна. В лунную ночь не спится, вспомнил Файзулла. Он разделся и вытянулся на кровати. Ветерок нес прохладу и запах прелых листьев.

Столько времени он провел в многоэтажной и многолюдной Москве, в Охотном ряду, оглушаемом криками извозчиков и торговцев; да и Бухара встретила его узкими улочками, где глинобитные стены почти заслоняли небо, дядин кишлак погребли мертвые несодолимые пески... И он уж забыл, что существуют в природе такие

дивные тихие уголки, где душа отдыхает, а ум освобождается. Ах, забыл он спросить у князя: может, в долине есть и олени?.. Пенящиеся реки разливают воду по арыкам, те спешат на поля, кишлаки утопают в садах... Привезти бы сюда дядю Шахабиддина и показать, тогда бы он в своем загубленном саду не якшался с беглыми бунтовщиками: увидел бы тех русских, что делают настоящее дело, творят практическое благо! Ведь и эти края — наши, кровные...

Очнувшись на рассвете, Файзулла не мог сразу и понять, спал он, нет ли; только продрог весь. Снизу слышались шаги, беготня, окрики, фыркание лошадей. Файзулла торопливо оделся, сбежал вниз. Кучер Ерофей Карпыч уже запряг в тарантас двух лошадей, а теперь засыпал овес в торбы. Похолодало, и весь пейзаж как-то неуловимо изменился. Вглядевшись, Файзулла понял: в горах выпал снег!

Князь вышел во двор — высокий, в простенькой, но ладной стеганке, с широким шерстяным шарфом на шее.

— Выспались, шахзаде?.. В горах теперь холодно, возьмите! — и он протянул Файзулле такую же стеганку, какая была на нем самом. Файзулла надел ее, и ему словно передалась озорная легкость князя. Они сели в тарантас, кучер впереди пропел свое: «Н-но, сокол!» — и копыта зацокали, тарантас тронулся, выехал в ворота и помчался, полетел... — Позавтракаем на перевале! — крикнул князь на ухо Файзулле. — Люблю по-холостячки!.. Ярошка! Ярошка-а! Прихватил то-се?..

— ...ак ... очно ... аш ...льство! — крикнул кучер, хлебая встречный ветер, и Файзулла тоже приподнялся, окунувшись в этот ветер лицом, протянул руку вперед и плыл, летел в пронзительном, окаймленном снегами утре... Дорога от подножий пошла серпантинном по склонам; свежие лошади неслись. Гнедой с отметиной на лбу и сорочьими глазами, казалось, сам знал и выбирал путь, подчиняя себе рыжую кобылу со стоящими торчмя ушами, и серебряная тесьма сбруи, свешивавшаяся с крупов, ритмично покачивалась. Горные долины остались внизу, заросли тростника походили теперь сверху на состриженную гриву, в даях проступили сперва как бы желтые пятна, а затем прояснилась, разлеглась ширь неоглядных степей. Холод со снежных вершин убавлял жар поднявшегося солнца, а кони все так же неслись, но из-под ременной упряжи, точно закипая, выступила белая пена.

— Сбавь ходу, Ярошка!.. Вон наше море! — крикнул князь и указал Файзулле на прозрачное голубоватое озеро на дне ущелья под ними. Тени гор причудливо преломлялись в его зеркальной поверхности. — Два года воду копили, представьте!.. Да, да, озеро искусственное...

Теперь, взглядевшись, Файзулла сам увидел внушительную каменную плотину, запрудившую выход из ущелья, а на берегах маленькие белые домики, сторожевую башенку...

— Отсюда вниз — только пешком, — сказал князь, когда тарантас остановился. Они вылезли. — Мы теперь с вами на месте, откуда виден весь пейзаж. Красиво, а?.. Ярошка, завтракать будем тут, розожги костер, чайник повесь. А мы... — и он ловко соскочил с камня вниз на тропинку, ведя за собой Файзуллу. Тропинка была некрутая, занесенная осенней прелой листвой. С нее поверх невысоких зарослей шиповника видно было шумное устье речушки, впадавшей в озеро, центр самого озера с отразившимся белым облаком, лоскутки полей. — Видите, — сказал князь, — чтоб управлять жизнью долины, мы прежде всего взяли в руки воду! На пути этой речки и еще множества ручейков поставили запруды... а то ведь вода расползалась, растекалась без толку. Таких водохранилищ у нас теперь три! Душа и жизнь всех садов, полей, поселков! Ну, и арычная система новая, сами понимаете... К тому же обуздали весенние паводки!.. — Файзулла слушал и глаз не мог оторвать от далей, от голубизны воды. — Вообразите, — говорил князь, — истратил три с половиной миллиона! Пан или пропал! Благоустроиваю сто тысяч десятин!

Файзулла оглянулся на него точно замороженный. Князь улыбнулся.

— Нравится?.. — он похлопал Файзуллу по плечу. — Вниз уж не пойдем. Ярошка-а! — закричал он. — Ярошка-а! Косте-ер!..

— Гори-ит, бари-ин!.. — донеслось сверху.

— Ну вот, пойдете хворост собирать! — и князь двинулся обратно, Файзулла, чуть помедлив, за ним. Да, это дело жизни, думал Файзулла. Три с половиной миллиона, но они воплотились в озера, поля, кишлаки! А отцовские деньги?.. Неужели прав этот отвратительный Шульгин и здешние богачи вроде скупых рыцарей?.. Прав, в чем-то прав. А князь!.. Замечательный человек!

Так смело рискнуть, и где, в чужом, неизведанном краю. А мы, что мы? У себя дома?.. Вот где урок!

Он и не заметил, что князь ушел вперед, исчез за поворотом тропинки. Файзулла поднялся к дороге. Полураспряженные лошади отфыркивались, жевали, сунув морды в торбы с овсом. Кучер сложил что-то вроде очага, разжег, а теперь вкапывал с двух сторон рогатины. Князя не было видно, хворост, наверно, собирал. Файзулла тоже полез в заросли над дорогой. Хвороста хоть завались! Он скоро вернулся с огромной охапкой. Князь все не появлялся. Файзулла свалил свою охапку и хотел было пойти собирать еще.

— Хва-атит, молодой барин, — сказал кучер, — еще Александр Ананьевич принесут... Да и гость вы... Отдохните — не выспались, чай, с дороги...

— Ерунда! Тут так... так прекрасно, вольно!

— Во-ольно, — сказал старик с непонятной интонацией.

Файзулла отметил это было для себя и тут же забыл. Какая красота! Какое великое дело! И князь... Тут почему-то вспомнилось ему, как вчера князь оборвал Шульгина. Но зачем, зачем он его терпит?..

— Ерофей Карныч!

Старик обернулся с готовностью.

— Что прикажете, молодой барин?..

— Нет, я спросить... Этот ваш Шульгин... вчера какого-то Петра Аркадьевича поминал. Это кто же?

— Да Столыпин... Столыпин же!

— Столы-ипин?!

— Ну да-с.

— А откуда ж... он-то...

— Состоял при нем, уж не знаю кем. А как убили, сюда подался... — Старик оглянулся, понизил голос. — Видно, нечисто там что-то было... И, опять же, разбогатеть задумал. Земель тут много, места новые, у князя дело большое... вот и впился, как клещ, прости господи...

Он явно собирался говорить еще, но взгляд его вдруг вильнул, лицо замкнулось и, наклонившись, он стал усердно дуть в свой импровизированный очаг, точно и не было разговора. Затрещали сучья под ногами — из высокого кустарника появился князь, тоже с охапкой хвороста. Он чуть запыхался.

— Что же это вы, шахзаде, — сказал он с улыбкой,

подойдя, — сидите бог знает где, в стороне, а жар костра пропадает даром!

— Да ведь не холодно, князь! — отвечал Файзулла, и лицо у него само собой расплзлось в ответной улыбке. Он тотчас забыл про Шульгина, кучера, Столыпина — он испытывал чувство почти влюбленности в этого высокого красивого человека, творящего чудеса.

Ерофей в больших фарфоровых чашках подал чай, заваренный из сушеной смородины.

— Вина, конечно, не пьете, шахзаде? — сказал князь.

— Нет, конечно, Александр Ананьевич!

— Я тоже. Но теперь сыро, так по капельке вместо лекарства?.. Впрочем, я выпью, а вас не уговариваю. Пейте чай и рассказывайте!

— О чем, князь?..

— О Москве, милый мой, о Москве! Стосковался, сил нет!.. А вы как-никак только что оттуда, можно сказать, московский гость. Потешьте мне душу...

— О князь, ну, что я могу в а м рассказать о Москве?.. Там прекрасно, прекрасно, прекрасно!.. Наверное, оттого, едва приехав в Бухару после пяти лет, я, только услышал о вас, поспешил, видите, сюда!.. — Князь улыбнулся снисходительной, но милой улыбкой, как бы отклоняющей чрезмерность комплимента. Файзулла замотал головой. — Нет, правда, правда!.. И я так благодарен... вам за Сашу... Саше за вас... за это знакомство!

Позавтракали с аппетитом. С треском горел хворост, синий дымок поднимался вверх. Ерофей поодаль с кем-то заговорил.

— Эй, кто там? — сказал князь.

На дороге показался ишак, груженный связками прутьев, за ним мальчик-горец, черноволосый и голубоглазый, как все горцы, в латаных лохмотьях. Он шел босиком, прутом подгоняя ишака.

— Продаешь дрова? — спросил князь.

Файзулла перевел.

— Это не дрова, — сказал мальчик, не останавливаясь.

— А что же?

— Путья тала, корзины плести.

Файзулле захотелось поговорить с ним.

— Можно его позвать на минуту, князь?

— Ради бога!

— Эй, братец, — крикнул мальчику Файзулла, — походи-ка сюда, погрейся!

Мальчик ничуть не смутился, не стал униженно кланяться, как непременно бы сделал в подобном случае мальчишка в Бухаре; он просто остановил ишака, свел его с дороги на травку, снял с головы свою плоскую тубетейку и проворно подошел к огню. Правду говорят: горцы — народ с чувством собственного достоинства!.. Файзулла протянул ему яблоко, и тот опять принял это просто, точно яблоко дал его приятель-сверстник. Файзулла стал расспрашивать, и он легко разговорился:

— Меня-то Эргаш зовут... летом спускаемся на холмы, яков пасем... — Файзулла переводил князю. — На холмах хорошо-о... весь день работаем... пот льется... А ночью холодно! И звезд полно! Ну, мы-то спим как мертвые. Подложим под голову седла и спим... Пшеница так хорошо пахнет!.. А утром идем быков поить...

Он неторопливо доел яблоко, поблагодарил, взял свой прут и погнал ишака дальше. Князь улыбнулся ему вслед. Файзулла глядел задумчиво.

— А знаете, князь, — вдруг сказал Файзулла, — я ведь, может быть, ничем не отличаюсь от этого мальчугана... — он и сам не знал, что толкнуло его сказать это и зачем. Князь глянул на него, холодно улыбнулся и вежливо пожал плечами.

После завтрака они решили спуститься в долину по старой тропе; кучер же, вернувшись прежним путем, будет ждать их внизу, где тропа снова выходит к дороге.

Был уже полдень, заметно потеплело. В кустарниках кипела жизнь, птицы, то и дело вспархивая, клевали подсохшие или тронутые ночным морозцем ягоды боярышника, шиповника, горной алычи; воздух наполнили ароматы осеннего леса; под ногами приятно пружинила лиственная подушка. Но это продвижение сквозь заросли, переходы по бревнам, перекинутым через овражки и ручьи, крутые спуски по скользкой тропе быстро их утомили с непривычки. И все-таки было чудесно. Вот расплзшаяся во все стороны ветвями ольха с чугунно-черным стволом, вот мыльное дерево с не слишком приятным запахом, которым оно словно надеется отпугнуть близкие холода...

Александр Ананьевич объяснил:

— Шахзаде, глядите — это испанский дрок. Тут его не ценят, а дерево редкостное!.. А видели там, повыше, алайскую березу? Откуда она здесь?.. А ведь растет! А

сейчас я вам покажу совсем удивительную вещь: смотрите — гуттаперча!

— Как? Каучуковое дерево?!

— Да, да, милый мой! Тут у вас растет и сахарный тростник... и хлопок тонковолокнистый... Страна чудес! И все эти чудеса я разведу внизу, в долине. Вырастим дендрарий, гранатовое дерево, ореховое, шиповник, лекарственные цветы и травы — великая зеленая аптека! Виноградники, инжирные сады, финиковые... Найдется специалист, так можно и лимоны растить. Всему начало — вода!..

У Файзуллы голова кружилась. И не от спуска, не от усталости — от всего, что он слышал. Он то и дело оглядывался на князя, взглядывал ему в лицо, и князь тоже смотрел, словно повторяя: «Да, да, страна чудес! А ты и не знал собственную страну! То ли еще здесь откроется...» Спускались они часа три, не торопясь, разговаривая. Когда вышли на дорогу, тарантас уж давно стоял.

— Попомните, шахзаде: этот край — сокровищница! — сказал князь, словно итог подводя. — Тут столько можно сделать!.. Да руки связаны. Его величеству императору всероссийскому не до нас. Его высочество эмир бухарский против нас, хоть и делает любезную мину. А с предприимчивостью одного Шульгина... нет, на этом далеко не уедешь. Представьте, не можем допроситься десятка солдат для охраны плотин!.. Да вон, смотрите, — он показал рукой куда-то вдаль, — воочию убедитесь, что у нас за положение...

Внизу, где начиналась голая степь, виднелись деревянные навесы и сооружения, подобные журавлям при колодцах. Там сутились три или четыре черные фигурки: поднимали с помощью «журавлей» корзины из-под земли, тащили на себе, высыпали в черную кучу, несли корзины обратно...

— Наши угольные копи... — сказал князь угрюмо.

Файзулла смотрел долго: за полчаса вытащили две корзины...

Князь тем временем пошел к тарантасу, старик кучер сутился в стороне от дороги, нашел большой плоский камень, разложил на дастархане еду. Наглядевшись, Файзулла подошел к нему.

— Смотрите, молодой барин? — сказал кучер. — Главная-то работа под землей. Тьма адская, десять — пятнадцать откалывают уголь да в корзину...

— Глубоко?..

— Подойдите — увидите...

Но после еды они к шахте уже не пошли: спустились быстрые осенние сумерки, ветер понес по дороге пыльную поземку, надо было ехать. Пока добирались, керосин в фонаре тарантаса сожгли до донышка, въехали в усадьбу в полной темноте. Файзулла заснул, едва добредя до кровати. Проснулся ночью, должно быть, от луны — она заглядывала в окно, ущербная, как надкушенная лепешка. Некоторое время Файзулла лежал без сна, чувствуя себя отчаянно одиноким, ничтожно маленьким в безмерном пространстве ночи. Натянул на лицо одеяло, ощупал под одеялом свои руки, плечи. Станет ли он когда-нибудь таким высоким, сильным, уверенным в себе, как князь Александр Ананьевич?.. Он не заметил, как снова заснул, проснулся опять, когда уже светало. Вскочил, умылся, оделся, взяв свежую белую рубашку, и сошел вниз. Но внизу стояла пустынная тишина: ни шагов, ни голосов. Он поднялся обратно к себе в комнату. Уже высоко поднялось солнце, когда служанка принесла на подносе кофе и бутерброды. Хозяин уехал чуть свет, пояснила она.

Дом оживился только к вечеру: появлялись и исчезали какие-то всадники, какие-то тарантасы, запряженные крепкими лошадьми, тележки, пролетки. Люди входили и выходили, торопливые, озабоченные. Из зала доносились разговоры, голоса, повышавшиеся иной раз чуть не до крика. Файзулла даже не рисковал спускаться вниз, сидел в своей комнате и читал взятую с собою книжку. Только когда уж совсем стемнело, ему показалось, что князь остался один, он сошел в вестибюль и направился в залу. У портьеры он услышал ворчливый голос Шульгина.

— Видели, видели мы эти ревизии императорского величества! — отвечал голос князя. — И ревизоров его видели. Слава богу! Сенатор Кривошеин, гофмейстер граф Пален... кого только не было. И что?.. И этот один из них!

Файзулла остановился у портьеры. И войти и уйти было одинаково неловко.

— Вам-то, ваше сиятельство, легко отмахиваться! — заговорил снова Шульгин. — А ведь дело дрянь, по правде говоря... Дрянь дело!

Нет, больше нельзя было стоять за портьерой! Фай-

зулла вошел. Увидев его, оба разом смолкли, и князь с натянутой улыбкой шагнул навстречу.

— Прошу, прошу, шахзаде, мы сегодня вас забросили совершенно, уж извините великодушно, такой сумбурный день... Сейчас будем ужинать!..

За ужином все поначалу молчали, потом князь, словно спохватившись, стал объяснять Файзулле причину нынешней суматохи: прибыл правительственный ревизор из Петербурга.

— Из этих, знаете, — говорил князь с легкой усмешкой, за которой, впрочем, легко читалось немалое раздражение, — из этих господ с допотопной тактикой якобы нежданно свалиться на голову и схватить виновных с поличным. Есть ли виновные, нет ли, неважно, ведь эти господа сами первые воры!

— Да что он собирается проверять, князь? — спросил Файзулла с искренним сочувствием.

— А, эти людишки на побегушках у графа Палена... Других дел у них нет! Законность, видите ли, землепользования, исполнение пунктов договора концессии... Формальности, пустая трепка нервов! — князь и впрямь нервно засмеялся. — Хотят навесить на нас то, что сами собрались сделать, да не вышло. Ведь они сперва чуть было не продали эти степи господам из Америки!.. Мы, к счастью, успели это бедствие предотвратить, избавили земли от иностранных хищников... Занялись небывалым здесь благоустройством, вы сами видели, байваччи, и вместо благодарности...

Шульгин весь ужин молчал, потом, отодвинув тарелку, так же молча поднялся, встал, вышел.

С этого дня все решительно изменилось. Дом словно опустел, хотя князь Александр Ананьевич оставался у себя, внизу, в дальней комнате. Порой доносилось постукивание его трости или вдруг ненадолго начинало звучать расстроенное фортепьяно, князь наигрывал все одно и то же — полонез Огинского. Про Файзулла, казалось, забыли — только еду ему приносили наверх. Надо было уезжать, пойти к князю, попрощаться, попросить лошадей... но неловко: тем самым он как бы уличит князя в невежливости. Файзулла все ждал, что князь сам пригласит его... А покамест и словом не с кем было перемолвиться — даже кучер Ерофей Карпович со своим тарантасом куда-то исчез. Файзулла со скуки то и дело выходил во двор, бродил по осенней поблекшей траве, усыпанной тополиными листьями. На третий день утром

он увидел наконец знакомый тарантас и рядом с ним старого Ярошку, чинившего какой-то ямщицкий скарб.

Старик привстал, поклонился.

— Что, молодой барин, уж и гостю в доме места не находится?..

— Д-да... нет... — сказал Файзулла нерешительно и присел рядом, на ось старой арбы. — Но, что тут со всеми стало, не пойму, Ерофей Карпович...

— И нам, барин, все знать несподручно.

Старик ткнул шилом в старую подпругу, стал продевать огромную цыганскую иглу и вдруг остановился.

— Ха-ароший вы юнош... — сказал он негромко. — И скажу вам правду по-мужицки: не вовремя вы сюда прибыли... Напрасно. Тут вам душу не ублажить.

— Почему, Ерофей Карпович?

— Место не то, молодой барин.

— Прекрасное ведь место!..

— Прекрасное!.. По молодости вы, по незрелости вашей... А-а! — он оставил иглу, взмахнул рукой. — Что там!.. Как у вас молвят-то: сказать — язык сгорит, не сказать — душа сгорит! Все в себе держать — земля потом не примет... — он перешел совсем уж на шепот. — Зачем ревизор-то приехал, знаете?..

— Не знаю...

— А-а... то-то и оно. Беглые ссыльные тут у нас...

— Как?

— А так. Высланные с пятого года которые...

— Ну, и что же?

— А то же — бегут они через границу афганскую, их и ловят. А дале... на границе их в цепи... и сюда продают!

— Как продают?! Кому?

— Кому-у!.. Шульгину, кому ж еще. Дружки у него на границе. Такие же пропойцы... Продадут задарма, все шито-крыто, кому до них дело?.. А он их в цепях в шахты спускает... в преисподню... А вы — прекрасное место!..

Файзулла едва не задохнулся. Аллах великий! Неужто всюду одно и то же?! Двадцатый век... А в Бухаре девушек продают... Здесь — просвещенные русские! — торгуют ссыльными... Но князь! Князь! Неужели...

— А князь?.. Князь знает?..

Кучер посмотрел на него.

— Э-эх, барин! — сказал он и снова махнул рукой. —

Одно слово, молодой вы еще... зеленый... Али не видите, как все засуетились? Как забегали?.. — и он принялся ожесточенно протыкать кожу иглой.

Файзулла, бледный, растерянный, поднялся и пошел было к дому. Но в дом теперь и зайти было тошно. Господи, что ж делать?.. Как быть?.. Во дворе пофыркивал, хрумякая сеном, привязанный конь. Стая ворон, облепившая верхушку тополя в конце двора, как чудовищная шапка-ушанка, сидела неподвижно, словно выжидая чего-то. На тропинке, меж кустами сирени, показалась огромная отъевшаяся кошка со взлохмаченной шерстью. Она шла и облизывалась. Что делать?.. И когда он научится что-то понимать в людях, когда?! Дурак, сосунок... Разве пойти и в открытую поговорить с князем?.. Ну и что? Да и откуда он узнал об этом! Ведь так он выдаст старика кучера, а от Шульгина всего можно ждать!.. Но, может быть, подумалось ему вдруг, это еще неправда... вдруг да старик фантазирует? Или наговаривает от обиды!.. Может, все-таки князь не знает всего?..

Он проскользнул через вестибюль, взбежал по лестнице и затворился у себя в комнате. «...Не вовремя вы сюда прибыли... — вспомнил он. — Тут вам душу не ублажить». А ведь он, глупец, как раз и думал, что тут «ублажит душу». Нет, старик умный и все понимает, и не врет...

На следующее утро он спустился в вестибюль и едва хотел выйти во двор, как увидел у крыльца князя и Шульгина. Они его не видели. Князь, злой, лобогревший, видно, выговаривал что-то или втолковывал, а Шульгин стоял мрачный, покачивая головой, всем видом выражая несогласие.

— Ну так я не знаю, — говорил князь. — Не знаю!.. Что хотите, то и делайте! Помните, я здесь ни при чем!.. — и он пошел в дом, чуть не столкнувшись с Файзуллой. И не заметил его! Прошел мимо и не заметил!..

У Файзуллы даже слезы навернулись от обиды. Он опять взбежал к себе наверх, сел на кровать. Уезжать отсюда надо... бежать! Но как это сделать, не поговорив с князем? Не пешком же идти?.. Внизу прозвучали несколько тактов из того же полонеза Огинского и смолкли. Файзулла лег и пролежал весь день, даже не открыв дверь приходившей с обедом служанке. В сумерках он спустился вниз — надо разыскать старика

Ерофея, не поможет ли уехать. Или вообще спросит как выбраться отсюда.

Поднимался пыльный ветер, нес сухую листву, хлестал скрипучими дверьми дворовых построек. За колонной крыльца Файзулла наткнулся на кучера — как будто тот сам его караулил. И в полутьме видно было, как старик расстроен. Он даже ниже ростом казался.

— Уходите, молодой барин, — сказал он. Голос у него дрожал. — Уходите отсюда...

— Что еще стряслось, Ерофей Карпович?

— Шульгин шахты затопил... вот что...

— Как затопил?

— Обыкновенно. Водой. С людьми затопил!..

— Не может быть!!

— Стало, может...

Файзулла почувствовал, его начинает колотить дрожь. Негодование, омерзение, страх поднялись волною к горлу. Он на миг представил себе захлебывающихся людей в страшном, черном стволе шахты... Нет, даже вообразить жутко!.. Зубы у него стучали. Старик смотрел с жалостью.

— Уходите, молодой барин... — повторил он.

— А сколько... — сказал Файзулла и проглотил комочек в горле.

— Чего, барин?

— Людей... сколько?

— Одиннадцать... либо двенадцать... Кто его знает?

— И всех??..

— Все-ех! А как же... Истинно — концы в воду...

— Правда это?

— Убей меня бог! — строго сказал старик. — Нешто барин, в таком деле врут?.. Молодой вы... невинный... вот и говорю, чтоб уходили.

— А князь?

— Чего князь?

— Знает?..

— Все у нас знают...

— Это... он велел?

Старик посмотрел в сторону.

— Приказа такого князь не даст... Не даст, нет.

Файзулла забыл, о чем хотел спросить кучера. Повернулся, вошел в дом. Зала теперь была освещена, там суетились люди. Служанка, которая приносила ему еду, выскочила в вестибюль.

— Князь Александр Ананьевич! сказать велели...

ждут вечером. Чтоб пожаловали... Гости будут!.. Господа с Петербурга...

У себя в комнате от упал лицом в подушку. Что ж теперь?.. Пешком уходить! Пешком!..

Снизу потянулись дразнящие запахи готовящейся еды. Он вспомнил, что не обедал сегодня. Гости? Прием? Как же это?.. А там... Он с силой зажмурился, чтоб прогнать из глаз страшную вообразившуюся картину. Металлический звук долетел из залы. Каминную решетку чистят... Разожгут камин вечером. И, может быть, может быть... не дровами, а углем. Углем! Тем самым, что... Да ну, разве ж это мыслимо?! Наверняка никто не знает про шахту. Никто?.. Но ведь Шульгин тоже придет! А вдруг... вдруг это ловушка для Шульгина?.. И в разгар празднества князь скажет... покажет всем... Он, Файзулла, должен пойти туда, к гостям. Он вскочил. Да, должен пойти, должен увидеть все это... всех этих...

Когда он, переодевшись, спустился вниз, зала была празднично освещена и украшена, в камине пылали дрова, огромный стол уставлен множеством пестрых, сверкающих фольгой бутылок, на краю искрились два серебряных ведерка со льдом, где купалось нераспечатанное шампанское; из внутренней комнаты доносился смех, стук шаров, голоса. Князь как раз вышел оттуда.

— Шахзаде! — сказал он приветливо. — Прошу! Надеюсь, вы не скучали, у нас тут такие дни! Не скучали?.. — и не дождавшись ответа, рассеянно оглядел залу, точно вспоминая, зачем пришел, но не вспомнил и ушел обратно. Из вестибюля следом за Файзуллой явился некто высокий, усатый, невнимательно глянул на Файзуллу и тоже прошел в комнату с бильярдом. Судя по голосам, народу там было много, но петербургские гости, конечно, еще не прибыли, иначе сели бы уже за стол. Кто-то заиграл вальс на фортепьяно, две пары выплыли в залу. И тут Файзулла услышал голос Шульгина и снова увидел князя: Шульгин говорил ему что-то негромко, но настойчиво. Сердце у Файзуллы екнуло, как перед страшным экзаменом. Князь слушал нетерпеливо.

— Нет! — наконец сказал он отчетливо и раздраженно. — Нет и нет! Не вмешивайте меня!.. — перед ним очутилась молодая дама с обнаженными плечами, белыми, пышными, и князь тотчас, кажется, и про

Шульгина забыл, обаятельно улыбнулся, поцеловал даме руку и закурился с нею в вальсе...

Файзулла не помнил потом, как взбежал к себе наверх, что-то натянул на себя, схватил саквояж, выскочил во двор, потом на дорогу... Помнил только, что завывающий, свистящий, кидающий в спину пригоршни песка ветер толкнул его, почти поволок по дороге, слабо белевшей под ногами, и ноги едва поспевали за телом, и что-то жгучее его пронизывало: не то холод, не то жар, и он упал один раз, поднялся, побежал опять... Потом что-то легонько его задело, рядом остановилась арба. Файзулла обдало запахом табака, и голос старого Ярошки сказал:

— Эх, барин, барин! Нешто так можно! Ночь, и «афганец» начинается! Нешто можно одному, пешему, в ночь...

Старик подхватил его под мышки, стал подсаживать в арбу.

— К-куда? — спросил Файзулла. Его бил озноб, и тело вдруг обмякло, точно из него вынули стержень.

— Не бойтесь, назад не повезу... Вижу, выбежали вы, я за вами, а во дворе вас уж нет! Слава богу, арба стояла, впряг конягу и погнал... Нашел, слава богу...

Арба была с плетеным кузовом для перевозки сена, и сена на дне еще оставалось вдосталь. Файзулла погрузился в него, как в перину, а сверху старик закидал его сухими, еще ароматными охапками.

— Лежите, барин молодой, отдыхайте, забудьте про все!.. — старик влез на арбу. — Прямо в Паттакесар? — спросил он. Файзулла не ответил, все доходило до него, как сквозь толстую пелену. — В Паттакесар... — сказал сам себе старик и взял вожжи. — Н-но, сокол!..

Какой там сокол — это была старая тощая кляча, с паха которой уже капала пена. И старая колымага тоже тряслась, колыхалась, скрипела, раскачивалась, оседала, как лодка, набравшая воды, но Файзулле в полубреду казалось, что лежит он не то в гамаке, не то в подвесной детской кровати и кто-то добрый убаюкивает его, поет долгую монотонную песню, а кровать скрипит, скрипит...

Файзулла провалился на какое-то время в бездонный сон, а когда очнулся, ветер все так же выл над ними, нес песок, то ослабевая ненадолго, то вновь надсаживаясь. Файзулла не сразу сообразил, где он и что с ним, потом вспомнил свое бегство, арбу, старика, фигура которого

темной покачивающейся громадой едва виднелась впереди во тьме. Потом всплыла в мозгу освещенная зала, звуки фортепьяно, две пары, кружащиеся в вальсе, и голоса за дверью, и князь... князь!

О Шульгине он даже как будто забыл, а лицо князя все вставало перед ним — то, как в горах, вдохновенно повествующее о богатствах края, то радушное, что в первый день встретило его на пороге, и безразличное, незамечающее, как третьего дня, и глядящее в упор с вежливой улыбкой и скрытой издевкой. И эта издевка теперь в памяти удивительным образом проступала все явственней, откровенней!.. Какой же он был дурак! Какой дурак! Верил всему! Радовался! Почти влюбился в этого человека!.. И Файзулла застонал даже от боли внутри, от жестоко раненного самолюбия, от надежды, пораженной насмерть, и старик впереди услышал его стон, наклонился.

— Спите, молодой барин, спи-ите, претерпели муки душевные, а теперь спите, забудется все...

И он впрямь снова окунулся в сон, а проснулся нескоро, от давно уж, наверное, будившего его воя вокруг — это «афганец» разошелся всерьез. Аромат сена унесло, нос, горло, уши забивало пылью, воздух был полон песка. От тряски все тело болело и ломало. Неужели это та самая прекрасная дорога, которой ехали они недавно в поместье князя?.. Все вывернулось наизнанку! Тут он вдруг подумал: а может, заблудились?..

— Не заблудились мы, Ерофей Карпыч? — закричал он старику, сисясь перемочь вой ветра. Кучер услышал только с третьего раза.

— Не-ет! — сказал он, обернувшись и наклонясь к Файзулле. — Будьте покойны, барин!.. Не я, так коняга дорогу знает!.. Засни я, сам довезет! Тут других дорог и нету!.. — он помедлил. — А что тащимся потихоньку... так торопиться некуда! Из Паттакесара все одно ночью не уедешь!..

— Да нет, я не тороплюсь! — крикнул Файзулла сквозь ветер. Тут ему пришло в голову: откуда такое название — Паттакесар, то есть «Отрывание талонов»?.. — Ерофей Карпыч! — крикнул он снова. — Не знаете, откуда название такое — Паттакесар?!

— Чего Паттакесар, барин?!

— Название откуда? Что за талоны?..

— А-а... Там на воду талоны дают!

— Как талоны на воду?!

— А так. Князь порядок завел!..

— Зачем же талоны?..

— Продают их, барин!

— Значит, воду продают?!..

— А как же!.. Побывали бы здесь летом, когда полив-то!.. Ого, что тут творится! Орут, дерутся, до ножей доходит!.. Оно, конечно, у кого денег побольше, те и без драки получают... сколько надо... А бедный народ... посевы сохнут!.. Н-но, сокол!.. Н-но!

Перед глазами Файзуллы снова встало голубое озеро с тенями гор и ласковое лицо князя, и словно бы снова прозвучал его голос: «Видите, чтоб управлять жизнью долины, мы прежде всего взяли в руки воду!» Так вот, оказывается, что это значило!.. Вот зачем «взяли в руки»!.. Дерутся, до ножей доходит... Потом и кровью платят за воду! Потом и кровью... за это даровое благо господне! Боже ты мой! Чем же князь лучше жадного бая, сидящего на сундуке? Тем, что поигрывает на фортепьяно?.. Шульгин... да Шульгин просто исполнитель! Правая рука! Он, может быть, даже лучше того... вылощенного... По крайней мере, откровенен! Аллах! Какое гнездо лжи под белоснежной рубахой! Какой обман!.. Дышать нечем!..

Дышать и впрямь было трудно — пыль и песок, казалось, запылили, засыпали горло, как дорогу. Ветер, однако, стихал. Рассвет близился. Не будь пыльной метели, наверняка уж видно было бы, как побелело небо на востоке. Арба катила, отчаянно дребезжа, и Файзулле казалось: еще немного — и голова у него развалится от этого дребезжания. Но тут по обеим сторонам дороги завиднелись оголенные верхушки тополей и колымага вскоре остановилась. Паттакесар!.. Старик Ерофей слез и стал помогать Файзулле выбраться из арбы. Усы его и бороду едва можно было отличить от обленившей лицо грязи. Да и сам Файзулла, должно быть, выглядел не лучше. Он вытер лицо, отряхнул и почистил, как мог, одежду, достал из арбы саквояж, стал прощаться, полез было за деньгами, но старик даже обиделся.

— Да ведь попадет вам за меня, Ерофей Карпович!..

— Попадет не попадет, что ж!.. Вы хороший человек, молодой барин, вот за вас сердце и болело... А что попадет! Отвез гостя!.. Чай, вы не приبلудный бродяга

какой! Все равно б отправили... Ну, прощевайте, молодой барин, дай вам бог счастья!..

Ветер почти утих, мутный рассвет стоял над Патта-кесаром. Оказалось, они подъехали к самой базарной площади. Файзулла прошел шагов сто, огляделся. Справа стояли в ряд какие-то повозки, арбы, пролетки с оцепенелыми возницами. Увидав человека с саквояжем, возницы мигом стряхнули оцепенение.

— Господин, сюда!

— А вот, господин, до Карши и с шиком!..

Он взял первого попавшегося извозчика.

Извозчик оказался разговорчивый.

— Видно, нездоровится вам, байвачча? — сказал он после многих безуспешных попыток завязать беседу. — Ну ничего, не унывайте! Вот скоро въедем на перевал Тахтакарача, где совершил намаз святой Али, так вы киньте там золотую монету, аллах сразу от немощи избавит...

В Бухаре было уже холодно. Наступила та безотрад-ная пора, когда нудный дождь внезапно превращается в снег, а снег, смешиваясь с уличной глиной, образует вязкую жижу под ногами. С почерневших крыш на хибарах капали мутные саманно-желтые капли, глино-битные заборы крошились, узкие улочки опустели...

Да и сумерки были уже, последние минуты умираю-щего дня, когда Файзулла без чувств, без мыслей, опу-стошенный, как корзина от распроданного товара, подь-ехал к родному дому. Увидев его осунувшееся лицо, поблекшие и запавшие глаза, Райхон-биби ужаснулась. Говорят же: дорожные страдания — загробные страда-ния!.. А тут еще отец мучается. Тяжко мальчику, в страхе и растерянности его душа...

Но дело было не в муках дорожных и не в отце даже. Файзулла оказался словно в безвоздушной пу-стоте, где нечем дышать и оттого нет сил ни жить, ни двигаться, хотя и сам ты, и руки-ноги твои свободны...

Как требовал обычай, прежде всего он поспешил к отцу. Убайдулла-ходжа был, слава богу, один. Он полу-лежал в своей комнате, погрузившись в ватные одеяла, сунув ноги под полосатый халат, весь желтый, измож-денный болезнью. Увидев сына, он тотчас отложил в сторону лунный календарь, который просматривал, поздоровался, спросил, как Файзулла себя чувствует.

Но в голосе его не было прежней требовательной уверенности непререкаемых властных нот; он едва спросил о делах в Карши. И никаких назиданий Файзулла не услышал. В отце чувствовалась некая отрешенность от земных дел, словно он приготовился к лучшему миру. Только под конец в его голосе снова прозвучала озабоченность.

— Теперь опять готовьтесь в дорогу, сын мой... — сказал он и откинул голову назад, как будто совсем обессилев. Потом добавил после паузы, не глядя: — Отправитесь со мной...

Файзулле стало жутко. Куда? Куда вместе с ним?.. Файзулла едва не поперхнулся этим вопросом, от которого удержал себя в последнее мгновение. Он не посмел расспрашивать об этом даже на женской половине у матери, только приник к ней, как маленький, и прошептал тихонько:

— Айиджан, айиджан... что-то со мной будет?..

Слова отца о предстоящей новой поездке прояснились лишь на следующий день: «Убайдулла-ходжа решил отправиться в хадж — совершить паломничество в Мекку. В первый раз услышав об этом, Файзулла решил было, что это бред или каприз больного, но, когда назавтра начали собираться один за другим — не то для обсуждения маршрута, не то для прощания — Шораджаб-муфтий, Захреддин-махзум, Мирза Мухиддин, аглям Шоахсий и другие отцовские друзья и знакомые, сын понял, что отец задумал все это всерьез.

Шораджаб всегда казался ему самым разумным и спокойным человеком в этом кругу; Файзулла дождался его в крытом проходе у средней гостиной. Шораджаб был сегодня особенно наряден: поверх модного у стариков камзола со стоячим воротником он надел еще черный ластиковый чапан.

— Таксыр, — сказал Файзулла после приветствий, — почему вы не отговариваете отца от его решения? Он ведь так болен, а вы знаете, как это сложно, трудно...

Шораджаб с задумчивым и ласковым видом похлопал его по плечу.

— Сын мой, душа ваша растревожена, я вижу... И дорога эта трудна. Но отговаривать человека от священного, богоугодного дела — великий грех!

— Да ведь он не выдержит!..

— А это воля аллаха. Пусть и не доедет — хадж зачтется!..

— Отец настаивает, чтобы и я ехал.

— И не отказывайтесь, сын мой. Воля бога — долг, отцовская воля — приказ. Подумайте, вдруг это последнее его желание?.. — Файзулла вздрогнул, и Шораджаб, заметив это, погладил его по голове. — Не отказывайтесь, чтоб не терзаться потом совестью... Коли потянуло в Мекку, значит, чувствует душа что-то. И раз хватило воли на такое решение, хвала ему!.. Все в руках всевышнего, сын мой...

После этого краткого разговора Файзулла впервые за последние дни заставил себя собраться с мыслями. Разговор как-то успокоил его, точно на чашу весов легла наконец-то осязаемая гирька. Вдобавок стало известно, что отец выбрал себе в спутники из числа близких людей того же Шораджаба; тот и появлялся теперь чаще прочих, и Файзулла беседовал с ним наедине еще несколько раз, все более открыто высказывая сокровенное и стараясь облегчить душу. Муфтий говорил с ним как с равным, без лишних назиданий и пустых разглагольствований. Однажды они засиделись в так называемой диванхоне — комнате, где отец прежде вместе с приказчиками вел все хозяйственные расчеты.

— Снова вы печальны, молодой мой мулла. Напрасно вас так тревожит предстоящее паломничество!.. Надо приободриться душой!

— Ох, таксыр, легко сказать — приободриться душой! С чего бы?.. Вот мы всегда говорим о душе как о чем-то отвлеченно-высоком...

— Отчего же, бывают и низкие души!..

— Вот именно, таксыр!.. Это я и хотел сказать. Только «бывают» — это мягко сказано. Мне кажется, их большинство!

— Юности свойственны крайние мнения! Не надо так мрачно смотреть на жизнь...

— У меня есть уже свой опыт, таксыр.

— Вы наблюдаете природу человеческую, а душу познать труднее...

— Разве это не одно и то же?

— Природа человека — это его тело, потребности тела, иногда весьма изменные...

— Изменные потребности! Ну, а жажда золота — это потребность тела?.. Или способность предать других ради наживы?..

— Конечно, нет, сын мой...

— Но ведь все это в человеческой природе: алчность,

предательство, ложь!.. И ведь это и есть то, что делает душу низкой... Где же тогда граница между душой человека и его природой?

— Может быть, в чем-то вы правы, молодой мой мулла. Но вы еще знаете не до конца, что движет людьми. Иной раз они делают вовсе не то, что хотят, а то, что заставляет делать жизнь.

— Меня никто и ничто не заставит лгать и предавать! И уж тем более ради денег...

— Слава аллаху, они у вас есть.

— Не потому!

— Я знаю, знаю, сын мой... Я вижу, что в вашей душе пробудилось стремление к высокой и чистой цели, а это главное. В конце концов, это и есть путь к умиротворению и покою.

— В конце концов... Но до конца мне, может быть, еще далеко!.. А пути-то как раз я и не вижу, таксыр! Стремление к светлой цели... Значит, надо довольствоваться своим стремлением и закрывать глаза на все остальное... на других людей... на весь мир?..

— Прежде всего надо быть чистым самому.

— Но этого недостаточно, таксыр!..

— Никто не может побороть все зло мира.

— О таксыр, кто говорит обо всем! Но то, что рядом... то, что у тебя на глазах... — И вдруг Файзуллу словно прорвало, он стал рассказывать о своей поездке к Антоновскому, обо всем, что там видел и перечувствовал. — Ну, скажите, таксыр, — заключил он, — чему могу я теперь верить? И кому? Существуют ли в мире обличья не обманные?..

Шораджаб смотрел на него с жалостью и сочувствием.

— Увы, сын мой, природа раба божьего действительно склонна к пороку. Русский ли он или мусульманин... Вот вы говорите мне об этом князе, а я вспоминаю наших единоверцев, одержимых столь же бесстыдной и безоглядной жадной наживы, хотя маски их лиц благочестивы и благообразны. Но вы спрашиваете, можно ли верить?.. Можно, сын мой!.. Только не в отдельных людей. Соедините вашу личную чистоту с чистотой ислама, и она обретет силу. Поверьте, это не пустые слова. Истинная вера — броня для души, преграда против всеобщего растления. Пусть для иных она только маска, это не меняет дело. Если вы чисты и веруете, вы принадлежите к великому братству верующих и чистых...

Файзулла потом много думал об этом разговоре. В самом деле, не погряз ли он в мелочах? Не упускает ли главного? Кто-то мелочен, кто-то лжив, кто-то подл... Нет, надо смотреть в корень, уловить суть. А в чем корень, где суть? В душе человеческой... Значит, если она исправится, то все, как в сказке, образуется само собой?.. Нет, что-то тут не так...

Он не выходил из дома, все думал, думал. Домашние же были заняты безмолвными и нервными приготовлениями. Теперь отца снова посещало множество людей, с каждым днем все больше. Валом валяли старики — богатые и бедные, они приносили, кто сколько мог, свой «хаджи-бадал» — деньги для пожертвований в Мекке: их передают с паломником те, кто сам не может туда отправиться.

— Наблюдайте за ними, вникайте, молодой мой мулла, — говорил ему Шораджаб, — это весьма поучительное зрелище...

Файзулла наблюдал. В самом деле, прежде всего в отце своем он видел удивительную перемену. Убайдулла-ходжа вовсе отстранился от хозяйственных и торговых дел, словно забыл о том, что настала пора, важнейшая для его торговли — время окота овец. Так же забыл он и о конкурентах, словно их не существовало больше, утратил чувство своей обычной настороженности по отношению к людям, был прост и кроток со всеми, кого прежде недолюбливал или с кем враждовал. И, хотя люди шли и шли, в доме было почти тихо, и трудно было уже вообразить себе былые пышные торжества, шумные споры и сборища, на которых замысливались и разрабатывались грандиозные финансовые операции.

Когда начался новый месяц, поток пожертвований еще более вырос. Участвовать в таких церемониях самому Убайдулле-ходже было не под силу, и он доверил это Шоахсию-агляму. Это устраивало всех, потому что Шоахсий был теперь занят и не вертелся больше под ногами, не мучил никого своим пустым многословием. Пошел, однако, слух, что Шоахсий уговорил хозяина дома не нанимать специального руководителя паломничества — он-де будет сопровождать его сам; и якобы уже побывал у шорников и заказал для Убайдуллы-ходжи один большой бурдюк из белой кожи для хранения питьевой воды и другой, поменьше, для святой воды из Мекки. Не обошлось без Шоахсия и при наеме дастар-

банда, то есть того, кто всю дорогу должен был возиться с чалмой и бельем знатного паломника; взяли молоденького красильщика из мастерской уста Исахола, и за этим выбором скрывалась якобы какая-то тайна... Шораджаб говорил о том с немалым беспокойством, и видно было: все, предпринимаемое без его ведома, вызывает в нем крайнее раздражение.

Вдобавок допустили промах и при обряде «одевания кабо» — длинного, до пят, бархатного халата, который почтенный паломник не должен был теперь снимать до самого возвращения из Мекки. Это был важный обряд, и от того, как он совершен, как и от неизменного ношения самого халата, всецело зависел успех паломничества!.. Ведь при этом оно засчитывалось аллахом, даже если паломник в сем халате преставится, не успев добраться до Мекки!.. День обряда был большим праздником, угощали пловом всех проходящих. Во главе с высшим духовенством, конечно. И тут же объявлялся день отправления. И вот в этом обряде допустили промах!.. Правда, трудно было выяснить, причастен ли к этому Шоахсий, но, как полагал муфтий, если он взялся изображать руководителя, ответственность на нем и лежала...

Обряд же был испорчен тем, что на нем появился неряшливо одетый ишан-судур и уселся, привлекая всеобщее насмешливое внимание! Ишан-судур — это был официальный религиозный чин при дворе, носитель его находился на полном содержании казны и не имел ничего собственно ему принадлежащего, кроме савана на случай кончины. Ишан-судур привел с собою из какого-то медресе еще и приятеля — суфи, выкликателя на молитву, невзрачного любителя дармовой еды, облаченного в столь же неряшливое одеяние, как и он сам. Когда тот, положив на дастархан «Коломулло» (сокращенный текст корана), опустился на колени для молитвы, все глядели и тихонько хихикали: «Смотрите, смотрите, у него даже закладка в книге и та казенная...» Словом, благочестивый дух обряда был нарушен!

Но в конце концов оказалось: ишан-судур пришел передать благословение самого августейшего!.. И еще другую приятную новость: в пятницу в мечети Болохауз имя Убайдуллы-ходжи будет провозглашено в проповеди имама!.. Это было высочайшее поощрение, и Убайдулла-ходжа после благодарственной молитвы даже проследился. Тут же объявил в ответ на такую милость, что в

следующую пятницу созывает на жертвенный плов всех, кто захочет прийти, из близких и дальних махалля! И велел разгласить об этом в городе.

Даже у расстроившегося было муфтия Шораджаба теперь лицо посветлело.

И Файзулла, хоть и казалось ему, что глядит на все это со стороны, из некоего отдаления, поневоле умилился. Все эти дни он всматривался в лица бесчисленных посетителей отца; на них большей частью читалось трепетное смирение.

С Файзуллой, словно это он был теперь хозяином дома, обращались особенно церемонно и уважительно. Нынешние заботы знатного дома — в их ореоле святости и даже таинственности — незаметно затягивали его. Он пытался представить себе, как выглядит со стороны, в глазах окружающих. Нет, это был уже не мальчик, растерявшийся от неожиданных разочарований. Это был просто малоразговорчивый серьезный джигит в длинном чапане, вежливый, церемонно здоровающийся, но, в общем-то, неприступный; он задумчиво бродил по апартаментам отца, по всему дому, а что там у него на уме, ведомо ему одному...

В пятницу он спозаранок вышел из дому — побродить по махалле.

В Газияне жили, главным образом, родственники Убайдуллы-ходжи, близкие и дальние. Это был один из восемнадцати кварталов в этой части города — Турки Джанди. И во всех них, от ворот Шейх Джалал до Ходжи Булгара, было сегодня многолюдно, как в праздник. Казалось, на улицы высыпало полгорода. На каждой площади и перекрестке, на базарах и во дворах медресе, не говоря уж о самих мясных рядах, висели на крючьях и разделявались бараньи туши, стояли наготове котлы для плова, рассчитанные каждый на два пуда риса...

В этой, южной части Бухары было много мест, осененных кущами деревьев, но теперь сквозь частое кружево голых веток смотрело холодное небо, а покрытая инеем земля выглядела так, словно вот-вот задрожит в ознобе. Праздничное многолюдье, однако, скрашивало холод, а сразу после пятничной молитвы в мечети Намазгах уже начали разносить плов — ученики медресе Газиян-калян, слуги торговца шелком Уста Насыра, люди из домов Туракула и Зикрии — важных придворных эмира. Убайдулла-ходжа тоже вышел из дому с несколькими приближенными, но добрался только-только до

мавзолея Имама Гази; дальше он идти был не в силах — помолился там и вернулся. Впрочем, имам Гази считался одним из первейших сорока четырех святых после самого пророка, так что было вполне достойное место для молитвы, к тому же верховный улем со свитой тоже прибыл сюда и дал Убайдулле-ходже свое благословение.

Пройдя свою махаллю, Файзулла обошел еще кварталы Гарибия, Касагарон, Ходжа Аманбай, потом зашел в медресе Мулла Мухаммадшариф и поел там плова вместе с преподавателями. Многие из них спешили поцеловать край чапана Файзуллы в надежде, что по возвращении из Мекки он позволит им хоть увлажнить губы святой водой райского источника Замзама или угостит хоть половинкой финика, возвращенного на земле Каабы.

Это медресе, по преданию, было построено на деньги щедрого Мухаммадшарифа, который нашел однажды кувшин золота. Двор был чистый, благоустроенный, и собирался тут обычно люд ученый и состоятельный. Но, возвращаясь домой мимо маленького деревянного медресе Гарибони-чок, Файзулла увидел другую картину. Медресе бедное, ни супы, ни циновки, и собирало оно бедных людей: водоносы, ремесленники, подметальщики, истопники привели с собою своих босых детишек, каждый держал в посиневшей от холода руке щербатую миску и ждал своей доли пожертвования. Те, что уже ее получили, с жадностью поседали плов, сидя прямо на земле. Приходящие ждали своей очереди терпеливо, не кричали, не лезли беспорядочно: но в противоположность муллам из Мухаммадшарифа в них не чувствовалось никакого внимания к нему, Файзулле, даже желания поздороваться. Они не думали ни о святых местах, ни о райском благе: жертвенный плов был для них просто едой — дармовой едой, какая достается нечасто.

На душе у Файзуллы снова стало тоскливо и смутно. Нет, конечно, он вышел на улицу вовсе не для того, чтобы привлекать внимание или собирать дань благодарности. Отчего же вновь нарушилось в нем равновесие успокоения — не мог же он обидеться на этих оборванных бедняг! Нет, скорее ему послужил укором их безотрадный вид; а его настроения чувствительны, как весы ювелира... Но неужто отношения людей определяются только миской плова? Нет, сказал он себе, не только: для одних — миской плова, для других — кошельками с зо-

лотом, для третьих — приносящей доход должностью... везде свой интерес, корысть, чистоган! Где же тогда место пресловутому добру, чистоте, вере? Или в э т о м мире им действительно нету места?..

В городе многопудовые казаны убрали лишь после полуночи; в их махалле празднество длилось куда позже. Под утро чуть потеплело, повалил снег; улицы, площади, дворы, крыши, купола словно переоделись в белое, чистое; и старики, что стояли на перекрестках, опираясь на посохи, говорили друг другу: это доброе предзнаменование, знак надежды тому, кто отправляется в дальнюю дорогу, к священной цели...

И вскоре шесть пароконных фаэтонов и две арбы, накрытые плетеными шатрами, выехали из махалли Газиян и отправились к воротам Кавала. По дороге их встречала детвора, облепившая белые крыши; женщины мельком выглядывали из-за заборов. В первом фаэтоне расположились руководитель паломничества — это действительно был Шоахсий-аглям — и молодой дастарбанд; в следующем, под навесом с золотой бахромой, ехали сам Убайдулла-ходжа, укутанный в меховые шубы, муфтий Шораджаб, рядом с больным выглядевший особенно свежо и бодро, и Файзулла, намотавший на голову миниатюрную серебристую чалму. В остальных четырех расположились провожающие из числа ближайшей родни — мужчины и женщины. В крытых арбах разместились поклажа. Едва кортеж проехал, за ним валом повалил народ. Пока доехали до ворот Кавала, белые улицы превратились в черное месиво, столько людей торопились следом, чтобы увидеть торжественный выезд из города. Понемногу отставали дети, подростки, всяческий бедный босой люд. До вокзала добрались лишь несколько сот старцев; они, утирая слезы, молились, низко кланялись, возглашали пожелания счастливого пути священному каравану. Наконец провожающим роздали золотые монеты, прозвучала прощальная молитва; и тут откуда-то из-за фаэтона послышалось рыдание. Плакала Райхон-биби.

Пока грузили в вагон поклажу, Файзулла находился рядом с матерью. И такая горькая тоска его обуяла, какой он не испытал даже в первый год пребывания в Москве. Мать обняла его обеими руками, и он снова, как дома, прижался к ней, забывая о гордости взрослого джигита.

— Мой единственный... амулет мой драгоценный... спасение мое, радость моя... — шептала, плача, Райхон-

биби, и ему казалось, невозможно оторваться от нее, уйти от великой ласки этих рук.

— Мамочка... за отца молитесь... — говорил он, а она, словно не слыша, все причитала:

— Когда-то я нагляжусь на тебя... как ты быстро вырос... увижу ли тебя...

— Если богу будет угодно, мы вернемся... мамочка...

И Файзулле казалось: он видит сквозь сетку чачвана¹ покрасневшие от слез материнские глаза, и все это пророчит неотвратимую какую-то беду. А ведь многие другие матери, глядя на это со стороны, думают сейчас: ее слезы — слезы счастья!..

Весь первый день дороги, глядя в окно вагона, он видел в стекле мать: то еще молодую, красивую, без единой морщинки на лице; то тоскующую, пожелтевшую ликом от вечных расставаний и разлук; то теперешнюю, с заплаканными глазами и прядями седых волос...

Их вагон специального назначения был просторный, даже в отделении для груза оставался широкий коридор. В глубине вагона разместились муфтий, аглям и длинноногий дастарбанд с женоподобными манерами. Они отсыпались после бессонной ночи в Бухаре. Купе отца было в центре. Спал он или просто лежал молча, Файзулла не знал, а войти не решался: мог разбудить. В конце концов монотонный стук колес нагнал сон и на Файзуллу. Так он и заснул, сидя, привалясь к стене. Проснулся утром; спину ломило; но в железной печке, потрескивая, горел саксаул, а за окном проносились белые пространства, и Файзулла ощутил какую-то особую радость оттого, что сидит в тепле, а за окном покорно несутся навстречу ему бесконечные снежные просторы, точно стелятся под ноги. Какой белый, чистый, нескончаемый мир, и сколько в нем еще может быть всего!

Спутники проснулись, помолились, позавтракали, снова задремали. Вагон покачивался, как колыбель. За окном среди белого безмолвия опять померещилась ему далекая фигурка матери в голубой парандже. Слезинка, скатившаяся со щеки ему на руку и просвеченная утренним солнцем, тоже была голубая. Потом и пронесившиеся снега заголубели. Файзулла вынул из тисненой кожаной папки лист бумаги и приготовился писать. Письмо матери, единственной в мире. С чего начать?..

¹ Часть паранджи.

«Анаджан»? «Моя бесценная»? Слова были тысячи раз повторенные и какие-то маленькие, съезжившиеся от повторения, а ему хотелось выразить огромное, безграничное чувство. Оно не вместилось в слова...

И в Самарканде, и в Ташкенте, когда надо было прицепить вагон к новому составу или вести переговоры с таможенниками, всем этим занимался Шоахсий. В Ташкенте он по поручению Убайдуллы-ходжи отнес кому-то тюк драгоценной каракульчи. Поезд тут долго, медленно маневрировал, после чего тронулся в путь так внезапно, что кумган, стоявший у порога, опрокинулся. Вода потекла под циновку, и долговязый дастарбанд нехотя, потягиваясь, поднялся, чтобы вытереть образовавшуюся лужу. Он был явно ленив; любил же сугубо женские занятия — строчить, вышивать, утюжить... Пока он приводил пол в порядок, умывался, заваривал чай, подъехали к какой-то станции. Казий¹ здешнего городка преподнес высокородному гостю и его свите плов в завернутой чаше, попросив прочесть за него надлежащую молитву, потом вручил свое пожертвование для Мекки и удалился. Когда раскрыли дастархан, из чаши повалил ароматный пар. Все приободрились, потянулись к плову глазами и руками, только Убайдулла-ходжа не поднялся к трапезе. Он вообще теперь вставал только для омовения и намаза. У ног его большей частью сидел Шоахсий, который печально, в полудреме нашептывал какие-то молитвы. Вот и сейчас, с аппетитом поев плов, аглям отер замасленные руки об ичиги и уселся на своем посту, подоткнув со всех сторон одеяло больного.

— Ну, таксыр... — слабым скорбным голосом начал Убайдулла-ходжа. Ему явно нравилось беседовать с Шоахсием. Когда подсаживались Файзулла и Шораджаб, он умолкал: должно быть, не было сил поддерживать сколько-нибудь серьезный разговор. Беседы же с недалеким аглямом не требовали никакого напряжения мысли. Но Файзулле и другое приходило в голову: не поступает ли отец так намеренно, чтобы он, Файзулла, побольше находился вместе с Шораджабом, а не с Шоахсием? Не случайно же он уловил как-то одобрительный отцовский взгляд, когда толковал о чем-то с муфтием!.. Может, и так. Но теперь, когда для общения с Шораджабом были неограниченные возможности, Файзулла почему-то чувствовал себя особенно одиноким. Одиноким

¹ Судья, придерживающийся законов шариата.

и бесполезным. То, что позади, уже недостижимо; а впереди — что впереди?... Он всегда хотел чувствовать себя взрослым, самостоятельным. Неужели теперь в нем возникла тоска по убегающему назад детству? И что там было, в этом детстве?... Он вдруг вспомнил мальчика-горца на перевале... Как его звали-то? Эргаш, кажется: жилистый, проворный, нарубил себе сучьев тала, увязал в охапку, выполнил свои обязанности — и свободен... Эх, было бы и у него, Файзуллы, свое маленькое простое дело...

Подошел муфтий, молча встал с ним рядом, глядя в то же окно. Просто встал, и все, а мысли Файзуллы заметались, замутились. Странное дело! Ведь поначалу все, что говорил Шораджаб, успокаивало, просветляло. А теперь, стоит ему оказаться рядом, на душе становится еще беспокойней. Тянет спорить с ним. А слова, что вырываются на волю, собеседнику кажутся небось неожиданными.

— Скажите-ка, Зуфунун, зачем люди едут в Мекку?

За окном в голой пустыне, на облизанных ледяными ветрами, отливающих мраморным блеском взгорках дрожали нагие, как клинки, стебли прошлогодней полыни. Уже два дня ни огонька, ни души!

— Если человек думает об ином мире, это признак его духовной зрелости, молодой мулла!

Вдали кружила темная точка. Ястреб! За сусликами охотится! Кружит, высматривает, потом, нацелясь, спланирует с подветренной стороны и — камнем вниз! Вцепится в живое тело... Файзулла не раз это наблюдал. «А если это общий закон всякой живой жизни? — думал он. — Духовное совершенство... Дух — это же не бурдюк для святой воды: напоил — и все!»

— Ну, в одном, двух проснется совесть. Но людей-то много, Зуфунун! Тьма!..

— В том-то и дело, молодой мулла! Мы ведь с вами не просто суеверные существа, что боятся молнии или плохих примет. С нами вера, исламская вера. Это могучее средство, и оно-то объединяет тьмы человеческие.

— Снова средство! Ну, а цель? Бог?..

Муфтий, положив руку ему на плечо, помедлил, подумал.

— Нет, — сказал он наконец. — Цель все та же — человек, его дух. Человек таков, что от одних назиданий хорошим не станет. Еще что-то нужно.

— И что же?

— Страх божий!.. Один умный кяфир сказал: «Не будь бога, его надо было бы выдумать». Да простит мне аллах, что я повторяю столь дерзкие слова, но ведь они дерзки лишь на первый взгляд, а по сути благочестивы!.. Вера — узда для человека; узда и утешение! Ад страшит, рай обещает... Видите, сын мой, я говорю, что думаю!

— Значит, сами вы не верите во все это?!

— О, нет, тут вы ошибаетесь!.. Я-то как раз верю. Но я этому посвятил всю жизнь, а сколь многие погрязли в трудностях и суете, они вспоминают аллаха лишь в минуты намаза, и, не будь этих минут... этого страха и надежды... что бы их сдерживало или поддерживало?

— Все равно, таксыр. Выходит, человеку нужны лишь таинственные сказки!.. И раз так, чем вера отличается от суеверия?

— Я уже однажды говорил вам это, сын мой, вы забыли... Суеверный думает лишь о своем настоящем миге о благе или зле сиюминутном. Вера — это причастность к благу общему и потому вечному!.. Глубина веры может быть разной, но значение ее для всех одно. Помните ли вы эту суру?.. — и он начал по-арабски: — «Ва лакад зайяннас самоад дуне...»

Файзулла подхватил и досказал суру до конца.

— У вас прекрасное произношение! — сказал муфтий, дослушав с удовлетворением. — И вы знаете, конечно, как толкуются эти стихи корана: «Мы наполнили небеса ангелами, дабы вынудить шайтанов к отступлению!» А что это значит для нас? «Мы наполнили небо огнем звезд, чтобы он поражал темноту и невежество!»

Файзулле трудно было спорить — муфтий, естественно, был куда искушенней в дискуссиях, и убедительности ему хватало. Но если прежде слова его казались Файзулле и впрямь полными внутренней силы, то нынче за ними чудилась лишь пустая логика. Он все-таки сказал:

— Пусть вы и правы, таксыр. Но объясните тогда, как же сами служители божьи, для которых вера — главное дело жизни, как же они... — он себя прервал. — Помните, я рассказывал вам о несчастном Зайниддине



и об ишане, который его лечил плеткой?.. Единственно, чтоб прославиться!

Муфтий нахмурился.

— Что тут объяснять, сын мой!.. Тот ишан просто не подлинный служитель божий. И вера его мелкая, как осенняя лужа. Есть буквоеды шариата, которым до человека и дела нет... — и он покосился в сторону агляма, сидевшего у ног Убайдуллы-ходжи. Решительно Шоахсий не давал ему покоя, и Файзулла вдруг подумал, что аглям раздражает Шораджаба не только своей глупостью, пустословием, нечистоплотной репутацией; муфтий еще и ревнует к нему отца!.. Смешно...

Как раз в этот момент отец застонал как-то непривычно, глухим, чужим голосом, и все кинулись к нему. Аглям вскочил в растерянности, дастарбанд, побледнев, шептал молитву, а муфтий вытер больному лоб, проверил пульс, приподнял ему голову, поправив подушку, дал глотнуть крепкого чаю. Скоро отцу полегчало.

— Видите, молодой мулла, — сказал Шораджаб, снова отойдя с Файзуллой к окну, — как зыбка участь раба божьего? Что все бранные заботы и суета этого мира...

— Ему очень плохо, таксыр!..

Зуфунун молча уставился в окно. Ветер гнал поземку, похолодало и в вагоне, зимний день, коротенький, как пучок раннего лука, кончился, подступила темнота. Керосиновый фонарь на эту ночь тушить не стали, только подкрутили фитиль, и все остались бодрствовать. Да Файзулла и не заснул бы: ему было страшно. Тьма неслась за окнами, словно обрета плоть: стужа свистела в щелях досок и выживала, казалось, не только тепло, но и остатки жизни. Больной порою беспокойно ворочался, стонал, и голос Шоахсия тотчас отзывался:

— Повторяйте имя всевышнего — вы, слава аллаху, на пути к священной Мекке...

И Файзулла понимал, что значат эти слова: «Если сейчас вас настигнет смерть, похороним вас как свершившего паломничество...» — и они всякий раз наполняли его отвращением к агляму.

Назавтра, однако Убайдулла-ходжа почувствовал себя бодрее; хотя мороз изукрасил окна и в салоне было холодно, он тщательно свершил омовение, попросил дастарбанду сменить белье, прочел молитву и лег. Шоахсий

между тем проявлял крайнее рвение: на стоянках выходил и возвращался с редкостными кушаньями, с купленной у казахов гармалой и другими лечебными травами, командовал неуклюжим дастарбандом, возился сам, вился вокруг больного. Шораджаб, напротив, был, как всегда, сдержан, степенен, держался прямо, немногословно. Он наклонился над больным.

— Если хочется, пейте чай горяченьким, таксыр. И пусть дастарбанд помассирует вам голову, легче станет. Не переживайте, если пропустите намаз, больному не обязательно молиться все пять раз...

Муфтий, аглям и Убайдулла-ходжа были почти ровесники, но отец выглядел лет на пятнадцать — двадцать старше. Его реденькая бородка была серой от седины, тусклые глаза глубоко запали... Чему отдал он свою жизнь? Богач, а мотался по степным аулам, по пустыне, ночевал где попало; не отдыхая, плел паутину своих финансовых операций, а козни и вражда конкурентов держали его в вечном напряжении... И не видел ни красоты мира, ни простой человеческой радости — спешил мимо в погоне за новым золотом и вот сгорел, не успев остановиться в раздумье, пока еще глядели глаза и текла по жилам здоровая кровь. Теперь-то его пожелтевшие веки были закрыты; растяпа дастарбанд равнодушно массирует длинными пальцами его посиневшие виски, и отец принимал это так же равнодушно...

На седьмой день путешествия он вдруг призвал к себе Файзуллу и муфтия. Закатные лучи слабо пробивались сквозь заледеневшие стекла, и в этом свете желтое лицо отца выглядело еще безжизненней, чем обычно. Худыми пальцами, ногти которых начали уже синеть, он взял руку Файзуллы и стал гладить. Файзулла никогда прежде не смел подавать отцу руки, только кланялся, и теперь едва не вздрогнул от мертвенной ласки ледяных пальцев.

— Сын мой... — тихо через силу сказал Убайдулла-ходжа; глаза его, глядевшие неизвестно куда, казались пустыми. — Я завещал свои богатства вам... Нотариусы вручат завещание вашей матери... Но помните... — тут он наконец остановил взгляд на сыне, и Файзулла увидел в его глазах жгучее, горестное сожаление. О чем? Об ушедшей жизни? Об упущенных радостях? Или о нем, Файзулле?... — Помните, — повторил больной, — дяди ваши жадны... алчны без меры... врагов у вас будет... множество... Будьте настороже... всегда... Ума вам хватит...

только собраться... собраться надо... да... и тогда достояние ваше умножится... А я... я буду лежать спокойно... в могиле...

Мгновение все молчали, потом раздался по-женски визгливый плач дастарбанда, а Шоахсий засуетился, замахал руками:

— Таксыр, таксыр, к чему такие мысли! — и поднес зажженную спичку к охапке гармалы на блюде, которая тотчас затлела, испуская душистый дымок.

Файзулла понимал умом, что эти слова отца, может быть, последние и должны вызвать горестный отклик, всплеск чувств; он искал это в себе, но обнаружил только смутную обиду и понял, что обида — за мать, которую Убайдулла-ходжа лишь помянул мимоходом; даже в такой миг не вспомнил о ней самой, не нашел для нее словечка!.. Файзулла молча стоял перед больным. Шораджаб выручил.

— Поменьше утруждайте себя, таксыр, — сказал он мягко, — сил у вас мало, а мы и так выполним все, чего желает душа ваша. — Он выдержал паузу. — Может быть, хотите вернуться назад? Скажите без церемоний...

Шоахсий даже вздрогнул, услышав такое.

— Нет, — сказал больной так же через силу, — но когда бы... когда бы ни наступила кончина... вынесите тело мое на рассвете... Скажите людям... я доволен был жизнью... и миром... и сына оставил... Опекайте Файзулла, таксыр...

И этой ночью тоже не гасили света. Файзулла сидел у ног отца, прислушиваясь к стуку колес и свисту ветра за окнами. Он хотел размышлять об отце, но сон его клонил, и поневоле думалось, что бдение бессмысленно, бесполезно... В полночь тихо подошел Шоахсий.

— Молодой ходжа, отдохните немного, я посижу...

Файзулла пошел на свое место, лег, и сон будто отступил. Но скоро Файзулла сморило. Проснулся он от отцовского вскрика:

— Моя Кааба — в моем доме! Бухара — моя Кааба!..

Файзулла вскочил, но умирающий забормотал дальше что-то неразборчиво-жалобное, потом и вовсе затих, и Шоахсий успокоительно махнул рукой. Файзулла лег снова. Проснулся он оттого, что его обдало холодом. Кто-то открыл дверь вагона. Поезд стоял, был рассвет, слышался чей-то плач.

Убайдулла-ходжа скончался.

Как выяснилось, первым опомнился Шоахсий. На

ближайшей маленькой станции добился, чтобы вагон отцепили, привел людей, которые долго читали подobaющие молитвы. Разыскал почтительное начальство городка, знавшее покойного миллионера, было отдано распоряжение прицепить вагон к ближайшему ташкентскому составу... Казалось, Шоахсий только и ждал этого печального события, чтобы развернуться вовсю и продемонстрировать свои организаторские способности. Зато Файзулла словно окаменел. Ему полагалось, наверное, рыдать у трупа, а он не мог выдавить и слезинки. Когда дастарбанд надел на него новый чапан, опоясал новым платком, Файзулла подошел было к покойнику, но взглянуть в лицо ему не решился. Он был не в силах говорить, кланяться, принимать соболезнования, распоряжаться... Бурная деятельность Шоахсия была весьма кстати.

К полночи двинулись в обратный путь. Снова стучали колеса, горел фонарь, ветер выл за окнами, тьма неслась; дастарбанд, стоя в углу на коленях, жевал что-то. Словно ничего не произошло! Только на месте отца лежал теперь холодный покойник с лицом, прикрытым кисеей...

Файзулла сидел на своей койке, раскачиваясь вместе с вагоном. Подбежал Шоахсий, уговорил лечь: а то свалитесь совсем!.. Потом подошел муфтий, поглядел ему в глаза, сказал что-то степенное, разумное, утешительное.

— Завещание вашего отца долгом жизни почту, сын мой, не дам почувствовать сиротство... — Файзулла слушал и не слышал. Лишь последние слова Zufуна вдруг дошли до его сознания: — Побудьте мысленно с отцом вашим, вспомните его, пока душа блуждает близ тела...

И тут — словно заслонку открыли у него внутри — Файзулла заплакал; заплакал горько, взახлеб: и понял впервые, что остался без отца, без великого прикрытия впереди, один на один со всем миром забот, проблем, обязанностей; сколько же держал на плечах тот, что лежит теперь за тонкой перегородкой — недвижимый, холодный, чужой...

Но этот чужой — его отец! Который любил его, видел в нем свою надежду... Файзулла почему-то вдруг вспомнил, как однажды приехал с отцом на козлодранье то ли в Балджуван, то ли в Каратегин. Было ему лет одиннадцать. Стояла середина апреля, расцвела полынь, лебеда. После улака они отправились к кому-то из перекупщиков в гости. Ели нескончаемый кебаб из

ягнятины. Потом отец разрешил Файзулле погулять. Вокруг аула теснились каракульские отары, разбиты были палатки, на вырытых в земле очагах кипели огромные казаны с горохом и фасолью, женщины доили овец. В воздухе стоял густой запах обрабатываемых шкур — неподалеку, среди песчаных холмов, чабаны и подпаски квасили их: Файзулла уловил и знакомые запахи «нилоби» и «зайтуни» индиго и оливковой краски. Он пошел к отаре: несколько овец мучительно котились, катаясь на песке, и обросшие бородами черные мужчины, засучив рукава, помогали им, отделяли скользких ягнят от последа. На глазах у Файзуллы перерезали горло овце, которая никак, видно, не могла разродиться; потом ей вспороли живот и вынули ягненка. Файзулла отвернулся — его тошнило. Он заметил мальчика-подпаска, тот взял в руки только что родившегося черного малыша и швырнул в горячий песок.

— Катайся, — приговаривал он ласково, — катайся, красавчик! Завитки твои — ух, как цветочки, распустятся! — потом взял ягненка, понес к матери, так же ласково, терпеливо помог ему нащупать сосок. Но, едва тот потянул молоко, мальчик сказал вдруг «Хватит!», подняв ягненка — и перерезал ему горло!..

Файзулла бросился прочь. По дороге он споткнулся и едва не упал на какую-то скользкую горку, это оказались сваленные в кучу тушки ободранных ягнят. Он нашел юрту, где пировали отец и его сотрапезники; когда вбежал, позеленевший от тошноты, все стали хохотать; он выскочил обратно — его начало рвать...

Не тогда ли раз и навсегда отвратился он душой от отцовского дела?.. Не тогда ли заledenело, зачерствело его мальчишеское чувство, его прежняя тяга к отцу! Он больше уж никогда не мог к нему приласкаться, как, бывало, иногда раньше, и отец это чувствовал...

Наверное, он был не прав. Не отец же придумал этот варварский промысел, хоть и обогащался на нем неслыханно. А его, Файзуллу, отец любил... любил, может быть, больше всего на свете. После денег, конечно...

Слезы у Файзуллы иссыпали, в груди опустело, его стало трясти от холода. Должно быть, простудился. Дверь вагона весь день то и дело распахивалась, впуская людей и морозный воздух; пронзительные сквозняки гуляли по салону, и тепло печки, хоть дастарбанд ее и топил, улетучивалось мгновенно.

Холод, холод был вокруг, неодолимый, всесветный...

Зимние холода воцарились и в Бухаре. Когда вагон специального назначения, в котором лежали отец и сын — один мертвый, другой полуживой, — прибыл в Каган, там буйствовала метель. Первое, что Файзулла увидел, когда его вынесли из вагона, были крутящиеся снежные вихри, раскачивающиеся ветки тополя. Вокруг стоял приглушенный гул толпы. Файзулла укутали в тулуп, уложили в сани. Пока ехали, он то погружался в темную пустоту, то снова выплывал навстречу заиндевевшим бородам и посиневшим от холода лицам. Жар его одолел, и в жару он вспоминал иногда: а что отец? Есть ли около него кто-нибудь? Или все собрались теперь здесь, около Файзуллы?.. Где-то на полдороге от станции он как будто очнулся, стал узнавать наклоняющиеся к нему лица: вот Ходжа Захреддин, вот Мирза Мухиддин... и Шораджаб Зуфунун тоже тут... Все, все собрались, словно отец вовсе не умер и они торопятся его посетить!.. Но отец умер... Умер! Файзулла заплакал беззвучно, слезы застывали на щеках. Умер отец, и он слышал его последний вскрик.

Он открыл глаза — мать склонилась над ним, помолодевшая.

— Айиджан...

— Вы бредите, сынок, откройте глаза...

Но он же смотрит на нее! Он сделал усилие, распахнул глаза пошире и увидел знакомый звездчатый потолок, а потом и лицо матери, почерневшее, морщинистое, с красными от слез веками... Выходит, он и впрямь бредил. Но теперь-то он уже по-настоящему дома! И выдохнул:

— Мама, отец наш...

— Да, сынок, да, — сказала она сухим из-за выплаканных слез голосом. — Ушел наш отец, единственная наша защита, опора наша... Лишь бы вы были здоровы! Лежите, лежите, кругом много людей...

В соответствии с обычаем Убайдуллу-ходжу, как истинного, посетившего Мекку паломника, завернули не в саван, а в его голубоватую чалму, уложили на особые носилки из мечети Болохауз. Файзулле разрешили выйти, только когда началась поминальная церемония. Заупокойную молитву прочли на айване мечети Болохауз, где совершал намаз сам его величество эмир.

Хотя стоял редкий для Бухары мороз, а метель то и

дело закручивала снежные спирали, на церемониал явилась вся элита духовенства. Берега водоема у мечети и весь ее обширный айван были заполнены коленапреклоненными людьми в богатых меховых шубах и шапках из дорогого каракуля. Ближние и дальние улицы запрудил люд попроще. Поминальную читал шейх-уль-агзам, невысокий, остроскулый, со свойственными роду барласов крупными чертами лица — самый авторитетный среди знати и при дворе духовник. После молитвы он произнес проповедь, превознося могущество аллаха, чьи заповеди должны денно и нощно исполнять рабы божьи, ибо их тленное бытие здесь — лишь преддверие лучшего, вечного мира. Затем он исчислил одна за другим великие и благие дела покойного, перешел к долгам загробным и бранным. Речь шла о том, что считается и что не считается долгом в этом мире, о том, что долг невозвращенный перейдет за должником в иную жизнь; и тут же проповедник возгласил всепрощение покойному.

Файзулла опять слушал — и не слышал. Голова у него горела, он и в этот мороз обливался потом и едва держался на ногах, стоя между Шораджабом и братьями отца. Он чувствовал — что-то от него требуется, но не мог сообразить что. Он беспокойно коснулся Шораджаба.

— Учитель...

Шораджаб глянул на него, все понял и склонился к Файзулле.

— Говорите: я доволен пресвятым отцом своим, — зашептал он на ухо, — тысячу раз доволен...

— Я доволен... — повторил Файзулла пересохшими губами.

— Говорите: я полностью расплачусь, — шептал на ухо Шораджаб, — с каждым, кто предъявит бумагу с казенной печатью...

— Полностью расплачусь...

Все на них глазели, но Шораджаб, поддерживая его твердой рукой и приговаривая «Болен, совсем болен... жизнь на волоске висит...» повел его прочь из толпы, посадил в сани, повез домой. Узкие улицы Газияна были уже утрамбованы, хотя ветер все еще колот лицо снежинками. Из толпы женщин, чей привычный траурный плач возносился высоко, вырвалась навстречу им Райхон-биби. И Файзулла, едва очутившись в ее руках, потерял сознание...

Очнулся он на другое утро с таким чувством, словно проспал очень долго; но сразу понял: то был не сон. В окне напротив бело и тихо — буран, значит, утихомирился. Солнце светило, за стеной возились; слышно было, как беспокойно топчется лошадь, навверное, под навесом у калитки. Он приподнял голову, легкую и звонкую, как пустой горшок, с трудом огляделся; это была не парадная комната, где лежал все последнее время отец, а просторное помещение на солнечной стороне, выходившее на одиннадцатиколонную веранду; тут топилась изразцовая печь, было всегда тепло и тихо; и одна из дверей вела прямо на женскую половину, к матери. Это его успокоило; но тут же он сообразил: мать может войти в любое мгновение; надо быстро встать, одеться, не то она снова разволнуется. Он поднялся с трудом, надел лежавший рядом легкий чапан, снял с головы поясной платок и принялся наматывать свою серебристую чалму. И тут мать вошла. В глазах ее мелькнул испуг.

— Вы очень больны, сын мой, ложитесь!..

Он обнял ее.

— Нет же, мама, я теперь уже не болен... Это что-то другое, странное. Плакать хочется... не могу плакать. Хочется видеть людей, разговаривать, а сказать, когда увижу, нечего. И мне кажется, начни я говорить, они меня не поймут.

Они сидели рядышком на ковре. Под глазами матери лежала густая сеть морщин и темные тени, напоминая складки на ее головном шелковом платке. Он крепко сжал ладонями теплую руку с синими узлами вен.

— Мама, скажите... кто дарит людям любовь ко всему родному?

Мать взглянула на него с удивлением.

— Не знаю, детка... Никто!

Он снял с головы плохо повязанную чалму, положил рядом. Мать надела ему тубетейку.

— Ох, айи... вот я вернулся домой и думал, что люблю наши поля, наши степи... землю нашу... А теперь вижу — только одну вас я и люблю, айиджан! Когда заболел, я уж больше ничего не вспоминал, ни о ком не думал, кроме вас! Правда... Я и смерти не боялся, боялся только, что вас не увижу!

— Сыночек мой...

— Да, да, и я вот думаю, откуда приходит такая любовь?

— Одни говорят, с материнским молоком, другие, что любовь на любовь отвечает... И то и другое часто оказывается неправдой, сынок.

— Как же научить людей добру и любви, айи?

— Откуда мне знать! Разве я учила вас любить меня? А добро... доброта учит добру, что ж еще...

— А мне кажется, добро, как родник... оно есть в каждом, только надо дать ему вырваться, выйти наружу... А некоторые, наоборот, еще заваливают выход камнями!.. — Мысль его перескочила, вернулась к прежнему. — Но вот удивительно, айи... В Москве я так тосковал по вас, все вспоминал этот светлый платок. И снились вы мне чуть не каждую ночь, и мечтал я оказаться дома, представлял, как приезжаю и вы обнимаете меня... Но ни разу не вообразил, что вы ко мне приехали!

— Что ж удивительного, разве я куда езжу?

— Но я просто мечтал!

— Значит, не только по мне тосковали... А и по дому, по земле родной... то-то и оно...

Они замолкли. Снаружи, на айване послышался мужской кашель — Зафунун! Мать поднялась, прижала платок к глазам.

— Сыночек... не привели бы к новой беде... эти метания ваши... — она зажмурилась, затрясла головой, точно отгоняя страшное видение. И вышла.

Зафунун появился в дверях, как всегда, подтянутый, стройный, в черном чапане.

— Слава аллаху, вы уже на ногах...

— Да, благодарю, учитель... Знаете, я вот тут сидел и думал... — он был полон своей мыслью и снова повторил слова о роднике добра в душе каждого. Зуфунун согласно и одобрительно кивал.

— Мысли у вас прекрасные, молодой мой ходжа, — сказал он, выслушав. — Но, увы, должен напомнить вам о делах насущных: поминки досточтимого батюшки вашего ждать не могут!.. Правда, то, что полагается на третий и седьмой день, можно объединить. Но вам нужно будет появиться на переднем дворе, приветствовать пришедших, принять участие в молитве... Все это хлопоты, но, исверьте, полезные и для душевного вашего состояния: в такие минуты дурное забывается...

Ритмы траура известны: поминки на третий, седьмой, двадцатый, сороковой день, а пока не справят их все, каждый четверг и пятницу ставят в полночь котлы и созывают на поминальный плов до рассвета. Весь день

приходят и уходят старцы, появляются одетые в черное улемы и другие духовные чины; монотонное пение молитв не смолкает на внутреннем и переднем дворах; тянутся нескончаемые, полные забот дни. Все это длится месяц, другой, заполняет недели, снится во снах. Присмотр нужен не только за всеми обрядами — теперь на Файзулле и прочие заботы семьи; распорядители и приказчики с утра появляются в приемной и ждут его указаний глядя в рот. Самое же тяжелое принимать приходящих выразить соболезнование, соблюдать весь ритуал такого приема; за витиеватыми высокопарными фразами Файзулле чудился лишь предлог повидать нового хозяина ходжаевских миллионов. Он жаловался Шораджабу, но тот только пожимал плечами.

— Что поделаешь, сын мой? Таков обычай. И, поверьте, это не самый дурной из обычаев. Люди нуждаются во внимании и утешении...

— Но утешают, таксыр, чаще всего не тех, кто в этом нуждается!..

— Мир не совершенен...

Но понемногу он и к этому привыкал. Стал малоразговорчив, обрел степенный вид, соблюдал все пять ежедневных намазов. Взрослел и сам это чувствовал. От прежней детскости осталась только привычка воображать какую-то иную, непохожую на окружающее жизнь, тратить время на долгие размышления. Слава богу, это было внутри него, не видимое никому.

Справили наконец и годовичные поминки; заказав чтение корана в память покойного отца, он вернулся к вечеру домой и застал там муфтия.

— Да будет вам удача во всех делах, баймулла! — Шораджаб улыбался, лицо его светилось. — Уже весна, не засиделись ли вы дома?..

В Бухару и впрямь пришла весна. На огромные, как дивы, развесистые тутовники у хауза на Диванбеги прилетели аисты, и старые гнезда, свитые из хвороста и похожие на корзины, ожили. Улицы только что отхлестал теплый ливень, воздух был влажный, пахло прибитой пылью и еще чем-то неуловимо знакомым. Окученный цветник во дворе разносил аромат прелой, тучной земли. Травка зазеленела даже на верхушках старых стен, ворковали горлинки. Файзулла и Zufунун вышли во двор. Файзулла отломил крохотную веточку молодой алычи, чья верхушка едва доставала ему до виска, взял веточку в зубы и ощутил терпко-горький вкус набухающей почки.

— Хамал¹ наступает — почки набухают, как говорит мой дядя Шахабиддин, — сказал Файзулла с улыбкой. — Вот кому завидую, так это дехканам. Они всегда знают наперед, что им предстоит делать и в какое время года, в какой месяц, в какой день...

Муфтий мягко улыбнулся.

— Только никогда не знают, что из этого получится...

— Да, вы правы, учитель... Ну, а что нового в мире, радуют ли вас какие-нибудь свершенные дела?

— Ваш слуга, молящийся за вас, как вы знаете, свободен от забот о богатстве. Мои дела — учить рабов божьих доброте и снисходительности, удерживать от распрей и раздоров, сеять семена благородства и веры... Это цель, достойная всей жизни. И ваша душа, ваши мысли готовы к этому!.. Вам пора появиться в обществе, сын мой. К вам прислушаются. Многие, жаждущие истины, иные муллы в том числе, хотят вас видеть. Ведь повсюду идут горячие споры — не только в медресе и мечетях, но и в кругу улемов, и это уже не просто словопрения, многие поистине ищут новый путь...

— Многие ли, таксыр?.. Что-то они мне не встречались...

— И вы им тоже, сын мой. Вы сидите затворником...

— Все-таки я не верю, что их много. Горстка...

— Ну, пусть горстка. За пророком тоже сперва шла горстка, а потом ислам завоевал мир. Если мы сделаем наши цели помыслами большинства, мы, по крайней мере, отвратим его от дурного пути. Не надо спешить, Файзулла, ничто нельзя получить готовым из рук всевышнего...

— Ну, что ж, я с вами, мой совершенный угод, я верю в силу совести и благородных устремлений. И, поверьте, готов потратить на это хоть бы и все отцовское наследство. Но хотелось бы увидеть и плоды...

— Не пренебрегайте нашими диспутами, молодой мой мулла; и если вы не увидите, то хоть почувствуете кое-что...

Диспуты и впрямь были в разгаре. И если одни спорили о понятиях сугубо отвлеченных, туманных не только для стороннего слушателя, но и для них самих, а другие, напротив, дискутировали о вещах чересчур конкретных, например, дозволено ли мусульманину жечь

¹ Весенний месяц мусульманского года.

«земляное масло», то третьих занимали более серьезные дела — скажем, иранская революция. Священные тексты были здесь на устах у всех, и можно было услышать весьма смелые их толкования.

Шораджаб соглашался далеко не со всем, но сами споры его явно радовали. «Три вещи без трех вещей нельзя одобрить, — говорил он, — это товар без торговли, государство без политики, науку без споров». Наукой он именовал проблемы нравственности. И действительно самая горячая полемика завязывалась вокруг проповедей на нравственные темы, которые он произносил в Кукельдаше. Здесь собирались ишаны, муллы, чтецы корана, суфии, содержатели частных религиозных школ, учащиеся медресе, казии, даже джаиды¹. И диспуты приобрели еще больший интерес с тех пор, как на них стал появляться баймулла Файзулла-ходжа. Наставник выделил ему место на устланном коврами глиняном возвышении под самым минбаром — кафедрой для проповедника, и тут, скрестив ноги, он сидел рядом с Шоахсием-аглямом или с авторитетнейшими улемами и преподавателями медресе.

На этот раз все места наверху, на возвышении, и внизу, устланные циновками, и в соединяющих башенки переходах на втором этаже, и даже на каменных ступенях лестницы, спускавшейся к Лябихаузу, были заполнены, слушатели устраивались, став на колени. Прославленный преподаватель, на кафедре Шораджаб выглядел не слишком внушительно: одет в длинный суконный чекмень, а на голове простенькая чалма. Но, когда он, опираясь на свой высокий, ростом с него самого посох с серебряным набалдашником, стал подниматься по кирпичной винтовой лестнице, примыкавшей к portalу, народ, точно замороженный, затих. Шораджаб поднялся на минбар, слегка откашлялся.

— Добродетельные хранители сунны, почтившие присутствием наше собрание! — в обращении уже крылась тема проповеди, и сегодня, значит, речь пойдет о вопросе вопросов: о чистоте ислама, в частности, о бескорыстии суннитских сект. И в самом деле проповедник начал с истории сект «ханифи», «шафи», «малики», немногими словами показал, что в мусульманской своей сути они равны перед шариатом и различаются

¹ Приверженцы буржуазно-либерального, национального движения.

способами познания истины. Он не пускался в красочные пересказы житий святых, как это делали иные, дабы исторгнуть у слушателей слезы и привести их в состояние экстаза. Напротив, он старался истолковать исламскую веру как свод нравственных законов, ведущих начало из древности, и осторожно рекомендовал пользоваться ею как средством совершенствования собственной духовной сути. Его проповеди были непросты, требовали от слушателей размышлений, но зато в конце концов открывали многим нечто неожиданное в давно известном; он не приводил жизненных примеров для иллюстрации того, что доказывал, он заставлял слушателей самих искать эти примеры, когда они задумывались над его словами. В итоге проповедь не забывалась тотчас по выходе из медресе или мечети, как иные другие, блиставшие красотами слога и эмоциональными всплесками, она еще словно продолжалась в самих слушателях. — Что грех есть грех, а добро есть добро, знает каждый. Однако хотя и добро творят, но и в грех впадают. Почему? — и проповедник повернулся к тому крылу здания, где сидели учащиеся медресе. Сиявший на солнце глазурованный изразец над михрабом ронял блик на их бледные лица, затененные чалмами. Они встречали криками одобрения самые красноречивые места проповеди, но сейчас никто не решился откликнуться. Наконец сзади поднялся согбенный старец — судя по виду, чтец корана или содержатель школы.

— Каждый имеет такие убеждения, которые удобны ему, а потому каждый сам и оправдывает свои деяния, великий хазрат. Человек совестливый и вдумчивый склонен к добрым делам, человек подленький вдохновляется злобой и потому устремлен к делам позорным... — и, покашливая, старик снова опустил на свою циновку.

— Хвала! — сказал Шораджаб. — Истинно: каждый есть отражение своей души. И величайшая наука для правоверного — суметь в соответствии с возможностями души своей творить как можно больше доброго, как можно меньше злого. Если ради чистоты веры каждый достигнет в этом высшего своего предела, подлость в мире искоренится... Откуда возьмутся тогда оскорбленные и униженные, бедные и угнетенные?

— Всех не сделать чистыми! — это выкрикивает Шоахсий-аглям, сидящий рядом с Файзуллой. — А свершившего злодеяние, сказано в коране, кара постигнет!

Это пустые слова. Файзулла на них даже не оборо-

чивается. Он ждет, что ответит Шораджаб. Тот медлит, забрав в горсть рыжую свою бородку.

— Почтенный аглям, — говорит он наконец, — вы не произнесли до конца начатую вами суру. А ведь там еще сказано: «Всегда да воздастся и тому, кто творит добро!» И пусть люди пока далеки от совершенства, но аллах велик и когда-нибудь он позволит им стать достойными своего творца. И тогда оставят они пути, ведущие к вратам кары...

Шоахсий вскочил.

— Хазрат, ваши представления о совести и вере слишком общи! Вы забываете, что их составляют шесть субстанций: вера в единого бога... — он стал загибать пальцы, — вера в святость ангелов... и всех святых... и священного корана... вера в то, что и хорошее и дурное от бога... наконец, признание загробного бытия!

Шораджаб отпустил свою бороду, едва различимая, скользнула улыбка.

— Ваша ученость несомненна, почтенный аглям, — сказал он, — вера — понятие сложное. Но душа человеческая еще сложней, иначе как бы в ней, познавшей величие исламской веры, оставалось еще место и грешным помыслам?.. Этого, увы, можно не понимать, даже будучи высокоученым и познав все тайны миров. Ибо человек — это третий мир, соединяющий несоединимое: вечность духа и смертность тела... От их столкновения и родится свет, освещающий прочие миры!.. — голос муфтия стал глубок, звучен. После его слов воцарилась на мгновение зачарованная тишина.

И вдруг чей-то визгливый голос прервал ее:

— Значит, шиитов тоже будут поднимать с земли с почестями?.. — это крикнул кто-то рядом с Шоахсием.

Шораджаб посмотрел в его сторону.

— Кровавые распри шиитов и суннитов — позор для священной Бухары! — сказал он громко и жестко. — Мы не придерживаемся учения шиит-ул-имама Али и, ратуя за чистоту ислама, спорим о наших разногласиях. Но никогда отныне этот спор не пойдет путями газавата!.. Любое насилие противоречит совести...

Файзулла почувствовал, атмосфера сразу изменилась. Он слышал прежде о кровавых столкновениях в Бухаре между суннитами и шиитами, года три назад; они и после вспыхивали то здесь, то там. Сам он им никогда не был свидетелем и не раздумывал об этом, но по явному напряжению, возникшему среди слушателей, понял;

это рана незажившая. На муфтия посыпались новые и новые вопросы, и он поневоле углубился в суть враждебного учения.

— Секты шиитов иона-аш-шариа, например, — говорил он, — те, что проживают в Ираке, Иране, Бадахшане, признают лишь предание о святом Али, пренебрегают кораном. Их святые пророчат, что дух Али воскреснет перед светопреставлением. Они создали свою книгу, которую почитают святой — «Китоби акдас», а коран предлагают заменить другой книгой — «Баяни Баб»... — слушатели, прежде сидевшие, затаив дыхание, теперь отзывались переговариванием, выкриками, шум стоял. По мере того как муфтий входил в подробности шиитского учения, обстановка все накалялась.

— А как шииты отмечают день кончины Али? — закричал какой-то мулла-туркмен из заднего ряда. — Это же предрассудок, позор! Зачем этот черный траур в святой месяц мухаррам?! Покончить с этим надо!

— Покончить! Покончить! — подхватили другие голоса.

— А разве может правоверный выносить шиитские вопли из хуснияхоны на Джуйбари Калане?! — выкрикнул кто-то другой, сидевший поближе.

— С таких слов, таксыр, и начинаются кровавые распри! — сказал вдруг молодой мулла во франтоватой смушковой шапке, привстав в одном из передних рядов. Чем-то он напоминал джадида — то ли покроем одежды, то ли очками внушительного размера, то ли дерзким, гневно-презрительным тоном. — Эдакие вот подлые людишки сперва подтолкнут жалкими словами к бессмысленному братоубийству, даже вдохновят его, а сами потом в сторонку!.. — И мулла сел на место.

— Кто это? — кричали сзади. — Про кого он?

— Мирбурхониддин это! — кричали другие. — Не знаете, что ли?.. Изгнали его после стычек, так отсиделся на загородной даче, а теперь снова в Бухаре!

Шораджаб, сам того не желая, разбудил спящего дива. В его лице Файзулла заметил растерянность. Муфтий стоял, подняв руку, прося тишины. Собравшиеся понемногу все-таки уgomонились.

— Народ! — громко сказал муфтий. — Наше дело, наша священная обязанность — отвращать от дурного, умерять страсти людские! И к разным бунтарям, к политике мы отношения не имеем...

В этот момент с места поднялся Шоахсий-аглям.

Лицо у него было как будто удрученное, но Файзулла мог бы поклясться: на деле аглям чем-то весьма доволен, только старается это скрыть. Шораджаб смотрел на него с озабоченным видом: аглям не раз проявлял себя сторонником резких действий, кто знает, что ему взбрело в голову теперь, не постарается ли он вызвать новую бурю...

Но нет, случилось нечто обратное. Шоахсий и не заикнулся о расприх суннитов и шиитов — удручен он был, оказывается, совсем другим.

— Таксыр, — сказал он, — если позволите... Мы опять увлекаемся общими суждениями. А меж тем чистота исламской веры требует рвения в делах, священных делах! Одно благое дело, говорят мудрецы, смывает сорок грехов... И на таком большом собрании мусульманам нашего города полезно дать совет, на какие благие дела могут они направить свои силы. К примеру, среди ваших слушателей есть, слава аллаху, немало владельцев больших и малых достояний. А священным желанием всех правоверных Бухары всегда было провести железную дорогу от нас до Мекки... Разве не можем мы, собрав средства, положить начало этому великому предприятию? Разве бухарцы не исполнили бы тем самым свой священный долг, призвав на помощь весь мусульманский мир?.. Раб божий входит в рай путем добрых деяний, а паломничество в Мекку — прекраснейшее из них, желание и шахов и нищих...

Последние слова агляма потонули в единодушном хоре одобрительных возгласов, да и сам Шораджаб, вероятно, был доволен таким оборотом дела. Он стоял на минбаре и сочувственно улыбался. Тут же было решено организовать сбор денег, возглавить это поручили, разумеется, Шоахсию, и некоторые из присутствующих, состоятельные баи и муллы, тут же внесли кое-какие суммы. Сколько вносили денег, никто не вникал, всем было ясно: главное — положить начало благому делу... Люди расходились воодушевленные, забыв о недавнем раздражении.

Шагая после диспута рядом с Зуфунуном, Файзулла вопреки многому испытывал чувство удовлетворения. Значит, людей можно направить на доброе дело и тогда, когда в них, по словам Шораджаба, «не осталось места для достойных намерений»? И даже такой человек, как Шоахсий, может это сделать — сменить раздражение и вражду радостью и всеобщим одушевлением?.. Может

быть, пример сегодняшнего дня — начало того большого дела, которому Файзулла посвятит всю жизнь? Конечно, люди непросты, к тому же их ум и чувства колеблются, как тростник под ветром, то в одну сторону, то в другую. Но это оттого, что они не видят настоящей, постоянной, реальной цели. Разумеется, все сразу совершенства не обретут... да и почему надо требовать от них совершенства, вдруг подумал он. Им надо дать настоящее, стоящее дело, в нем они найдут и самих себя, и свою совесть, растеряют свои предрассудки!..

Идя вдоль мутного и обычно мелкого, как цепь луж, Шахруда, в котором только сейчас, весной, набухал едва заметный паводок, они вышли к площади квартала Газиян. В сущности, они шли дорогой его детства: на этой речке прошли ранние годы Файзуллы, светлые, хрустально-прозрачные и звонкие, когда все дарило радость новизны и едва ли не каждый встречный находил для него ласковые слова. Люди ли были другими, сам ли он изменился? Или просто права пословица: детство — царство?.. Но ведь он тогда не видел еще милого сердцу кишлака, съеденного саранчой и засыпанного песками, не знал убийцы Шульгина и несчастного Зайниддина, и множества почти таких же несчастных в грязном приюте для странников, и босых водоносов с их полуголыми детишками, поедающих прямо на мерзлой земле случайное подаяние...

— Устод...

— Я слушаю вас, сын мой!..

— Я намерен внести значительную сумму на строительство дороги в Мекку, что вы на это скажете?

— Что именно этого я и ожидал, сын мой. Ваш почтенный отец не перенес этой дороги, ушел из жизни мучеником веры, и вам такой взнос особенно приличествует... И к тому же у многих богачей нашего города деньги лежат, не принося никакой пользы, огромные деньги! И взнос ваш будет примером для них...

Рядом с высоким муфтием и Файзулла, казалось, тянулся вверх, а Шораджабу явно нравилось называть его «сын мой»... И обоим им было по душе, что, когда они проходят по городу мимо лавок, люди жадно и внимательно следят за ними, здороваются почтительно. Файзулла подумал, что, хотя сбор денег на строительство дороги предложил Шоахсий, все равно это Шораджабу он, Файзулла, обязан своим первым в жизни самостоятельным решением.

Он еще молод, очень молод, а это первый решительный шаг, первый важный и прекрасный день, и сколько таких должно быть в его жизни! Впервые за долгое время его наполняла ясная уверенность в себе, радость существования, благодарность к муфтию и к этой зимней Бухаре, и еще бог весть к кому за то, что он есть, живет, может действовать... Не зря и Шораджаб нынче относился к нему по-особому, даже руки приложил к груди, прощаясь. И, когда Файзулла вошел во двор, сам дом, казалось, встретил его радостно, сияя окнами, стеклом дверей, нестрыми цветами расписанного айвана. И лица домашних отражали его радость.

В доме его любили, в его присутствии не позволяли себе никаких грубостей, никакого лишнего шума; все, что он говорил, тут же исполнялось, не было надобности ни повторять, ни выговаривать кому-нибудь. Дяди его, многоопытные в делах хозяйства, старались избавить баймуллу от хлопот, от необходимости вникать во всякие мелочи. Впрочем, тут у них, возможно, был свой резон... Райхон-биби же ждала сына всегда, другой заботы и боли душевной она теперь не знала. И сегодня она, все приготовив в комнате Файзуллы, караулила его возвращение.

Окна его спальни во внутреннем дворе осенял старый зазеленевший тутовник. Воздух во всем доме стал чище — Файзулла приказал освободить подвалы от старых шкур и кож.

— Вы сегодня чем-то обрадованы, сынок, — сказала Райхон-биби, уставляя низенький столик едой.

— Спасибо, анаджан, вашим дастарханом! — пошутил Файзулла и засмеялся. Он окунул в шурпу кусок лепешки, стал с аппетитом есть. Мать, довольная, сидела в сторонке, подперев кулачком подбородок. — Нет, правда, анаджан! К вам домой возвращаюсь, как на праздник... Вот мы проповедуем, говорим людям, хотим, чтобы всюду жизнь была такой же, как под вашим крылом: любовь, доброта, уют...

— Ох, сынок... каждый божий день проповеди да споры... Будет ли вам польза от всех этих речей?

— Будут речи — будут и дела. Вот сегодня решили собрать средства — построить железную дорогу от великой Бухары до священной Мекки... Разве душа каждого мусульманина не озарится светом такого святого дела?! И я хочу внести посильную сумму. Благословите, мама...

— Хорошо, детка. Коли вы так решили... Отцовского наследства не убудет... — она помедлила, сказала тише: — Душа его будет довольна... да примет бог ваше пожертвование!

«Отцовское наследство...» — подумал Файзулла. Легко ему напрашиваться на людскую благодарность, расходуя готовое. А полагалось бы заботиться о новых прибылях, о приумножении... Таковы были все помыслы отца, о том он и перед смертью говорил... Но разве по силам Файзулле вся обуза этого громадного, неохватного, сложного, требующего неусыпных забот хозяйства?.. И снова радость его стала вянуть, как сорванный с куста цветок.

Он представил себе несметные каракульские отары, пасущиеся в Каршинской степи, в пустынях Туркмении, на яйлау Чули Малик и Нурата. Всех этих мест Файзулла не видел, помнил только некоторых перекупщиков, что разъезжают там во время окота; помнил он с детства и громадные подвалы, пропитанные запахами щелочи, золы, известки, преющей кожи, тяжелой вонью шкур; вспоминал склады готового каракуля, где зимой и летом висели на крючьях связки меха разных сортов и размеров; и дубильщиков со словно бы опаленными лицами; и сортировщиков в кожаных фартуках со скользящим взглядом. Его делами занимаются во всех громадных владениях Бухары, а лавки и магазины, торгующие каракулем, — где их нет только на громадной карте от Оренбурга до Варшавы! Вникать во все это... вносить изменения... нет! Он только запретит резать беременных овец, чтобы вынуть из нутра ягненка, предназначенного стать шкурой каракульчи. Впрочем, кто сможет проверить?.. Дела он поручит дядьям. Ходжаева, который правил Бухарой, сидя колена в колена с эмиром, все равно уже нет и больше не будет. А у него, Файзуллы, есть свой долг, есть дело души, куда более тонкое и не менее ответственное. Он свяжет свою жизнь не с богатством, а с людьми, не с кошельком, а с верой. Научиться быть добрыми и снисходительными друг к другу... Этот урок он извлек и должен преподать другим.

И все же с утра он снова поневоле занимался финансовыми делами, принимал прибывших издалека приказчиков, распорядителей работ продавцов, издольщиков, общался с десятками незнакомых и полужнакомых людей, сталкивался с их искренним усердием и бесчестными намерениями, с их жалобами и оправданиями,

в которых равно трудно было отыскать правду и ложь, с их несхожими характерами и одинаковыми страстями. Ему казалось, что он тонет в этом мире непосильных для него сложностей и дел, и все же невольно отмечал про себя: будь жива совесть, этот перекупщик не жадничал бы и не лгал, ведь, когда покупают десять тюков, не оплачивают всего три шкурки... а этот обнаглевший приказчик не стал бы нарушать старое правило: «На тысячу шкур — две связки аванса...»

Он только отмечал про себя, даже не ловил их на лжи. Незачем ему этим заниматься. Надо искать главное и начинать с причины. Шораджаб говорит недаром: «Ничто не движется без причин...»

После первого пятничного намаза Файзулла, жаждущий добрых дел, подписал банковский чек на двадцать тысяч золотых таньга, положил его в кожаный кошелек и отправился к дому Шоахсия-агяма.

Он прошел малолюдный перекресток, что у бани «Оби-оташ», и очутился в махалле Биби Махрук, где в конце улицы виноделов раскинулась, вся в зелени, обширная усадьба агяма, обнесенная глинобитным забором. Возможно, он жил тут один, ибо, когда Файзулла постучал цепочкой двери, откликнулся сам аглям. Безбородый старик, открывший калитку, тотчас исчез в темном проходе, не издав ни звука. В переднем дворе тоже никого не было. Бараны, привязанные к столбам навеса, жевали с тяжелым храпом, сунув головы в стойло. Через мгновение на айване, украшенном плетеными узорами, появился сам Шоахсий в распахнутом халате, но, увидев, что за гость пожаловал, смущенно осклабился, снова исчез и очень скоро вышел уже в чапане и чалме, намотанной на гладкую тюбетейку. Волоча кожаные калоши, надетые на цветастые сапожки, он на ходу вытирал поясным платком усы и бороду.

— Прошу, прошу, будь благословен ваш приход, Файзулла-ходжа, — говорил он, отвечая на приветствие и ведя гостя во внутренние помещения. — Только что завершил намаз, принялся было за прочие молитвенные обязанности, и тут вы постучались! Не сочтите за обиду, что пришлось ждать... — его смуглое лоснившееся лицо блестело, точно от пота, сам он был низенький, подвижный, маленькие плутоватые глазки так и бегали.

В гостиной, украшенной резьбой, Файзулла увидел готовый дастархан — ждал его аглям, что ли, откуда он мог знать?.. Файзулла замахал руками.

— Нет! нет! Я только на секундочку... — но аглям заупрямился, стал его усаживать почти насильно:

— К месту молиться, к месту и веселиться! Немножко можно и позволить себе, баймулла, прошу, прошу, садитесь!..

Файзулла сел поневоле, сказал, что пришел только вручить пожертвование и не может задерживаться. Хозяин словно бы пропустил слова насчет жертвования мимо ушей.

— В кои-то веки пришли разок, и то со священным делом, да будет это отмечено престолом всевышнего, как сказано в святой книге, да возвратится вам от бога, аминь! — он погладил бороду и снова принялся настойчиво угощать. — Садитесь поближе, Файзулла-ходжа. Во имя аллаха!.. — он разломил сдобную лепешку. — Редко выпадает вашему покорному слуге сидеть лицом к лицу с таким гостем! Восторгаюсь вами и речами вашими... Такой ум в такие молодые лета!..

Файзулла, откусив кусочек лепешки, пробормотал что-то в знак протеста против столь явной лести.

— Нет, нет, не спорьте! — настырно говорил Шоахий. — Уж я-то, покорный слуга ваш, могу оценить человека, указывающего другим путь истины! — и он заговорил о проповедях Зуфунуна, о грехах и добре, о каре и прощении... Файзулла пытался улучшить момент, чтобы встать и попрощаться, но все не получалось. Меж тем по мере собственных разглагольствований, точно опьяняясь ими, аглям мрачнел на глазах, и вскоре от жизнерадостности, с какой он встретил Файзулла, и следа не осталось. Он забыл даже о дастархане и своей хозяйской обязанности угощать гостя. — Да, да, — говорил он, — только молитвы и бдения очистят мир от зла и скверны! Истинны слова пророка: ислам будет торжествовать до самого светопреставления. А в чем его сила? Да в вере святой, в п о с л у ш а н и и — аллаху и пророкам его, и ангелам его, и святым его, и книге его... А иные муллы, якобы познавшие лучший путь, учат: наипервейшее — человек. А уж потом все остальное... Разве это не богохульство? Не попрание святынь?.. — он перевел дух, маленькие глазки зло поблескивали. — Между нами, драгоценный баймулла, Зуфунун все это одобряет. Иные его проповеди странны! Ох, странны, баймулла! Знаем мы таких, что утверждали: «Я есмь бог!» Ну, и где они?.. Содрали с них шкуру, и все.

Перепад в настроении, в словах агляма был столь ре-

зок, что Файзулла даже растерялся несколько. Потом разозлился.

— А мне, — сказал он, стараясь соблюдать учти-вость, — странно слышать ваши слова, таксыр... Разве грешно думать о человеке? И разве не для человека аллах сотворил сей мир?..

— Мы живем лишь в последнем ярусе девяти небес! В самом нижнем, именуемом «дун» — прахом! Над нами мир духов — валмалакут, а уж над ними — мир вечно нетленных... И еще выше воплощение духа — амри раббий, как сказано в священном коране... А дух тленен, и все мы, рабы божьи, лишь прах, прах, прах!..

— Зачем же рабу божьему ниспосланы душа и совесть?..

— Чтоб отличаться от скотины!

— А зачем отличаться от скотины?.. Ведь мы прах, прах, прах...

— Теперь и вы богохульствуете, баймулла!.. — лицо агляма прямо-таки почернело.

— Ничуть, — сказал Файзулла. — Это вы, таксыр, забыли о снисхождении, забыли о том, что аллах не только всемогущ, но и милостив!..

Аглям, казалось, опомнился; лицо его изобразило даже некое подобие любезной улыбки. Впрочем, ненадолго.

— Вот видите, баймулла... знакомые слова! Это ваш Зуфунун проповедует безграничное снисхождение!.. И бесчестных шиитов тоже призывает считать людьми... Вы видели, тогда, в Кукельдаше, я проявил немалое терпение... считаясь с его ученостью... и авторитетом... Но вы должны знать: шииты хозяйничают не только у себя в Джуйбаре. Среди них есть и носильщики с веревкой на шее... ходят и болтают на станции... есть и персы, что рассказывают тут о своей революции... А главное — сейчас, в месяце мухаррам, они, увидите, будут оскорблять своим святотатством всю священную Бухару! Остригут волосы, окровавят головы, напьются вина, примутся истязать себя на миру, размахивать своими вонючими факелами, вопить, как безумные... — он передразнил: — «Шохусайн-во Хусайн!..» А их неверы муллы... — он оборвал себя. — А, да что там! Аллах, прости и охрани!..

Файзулла смутно помнил эти шиитские шествия — раз или два видел в детстве, в самом деле, со стороны выглядит не бог весть как привлекательно... Ну и что,

оборвал он себя. А наши обряды все так уж хороши?.. В памяти снова всплыл Зайниддин — его-то лечил плеткой «правоверный» ишан!

— У всех свое, таксыр, — сказал он негромко.

Аглям и не услышал.

— А вы разве не знаете, — снова заговорил он, — их ходжи прикарманивают деньги, что собирают для поминовения имама Хусейна... А вместо святой Мекки они паломничают в Кербалу или Мешхед!.. Не-ет, вы, нынешняя молодежь, просто не знаете, до чего эти шииты коварны! Вот я помню, когда еще правил эмир Абдуллахад, наиб Кавказа пригласил его — попить, полечиться у источников... Так что придумали шииты? Распустили слух, будто эмир едет, чтобы сблизиться с шиитским шахом Насреддином! А? Скажите, не смутьяны, не подлецы?..

— Таксыр...

— А когда в халифы был избран Хазрати Умар, они что сделали? Оповестили через своего глашатая, бинни Билола, будто иноверцев лишат государственных пособий!.. Вот и надо их обложить налогом, как иноверцев. Да, да! Мы уже и указ заготовили!

— Но это несправедливо!

— Справедливо!.. Кто справедлив к врагу, несправедлив к себе...

— Какие там враги! Такие же рабы аллаха...

— Вот-вот... прямо слышу вашего Зуфунуна! Возлюбите ближнего... Мы любим ближнего — только не шиита. И так уж распустили их свыше всякой меры! Когда вы были в Москве, Астанкул-кушбеги отдал им всю власть в стране. А ревнителю истинной веры были попораны!.. Ну да мы взмолились августейшему — эмир эти безобразия прекратил, выслал многих. А что толку?.. Они снова подняли головы... Вон, сами видели, раис Мирбурхониддин вернулся... И казначей — опять шиит, и сборщик податей — шиит! Нет, с этим надо кончать!..

Файзулла промолчал. Противопоставлять разумные доводы этому взрыву ненависти было все равно что сражаться гусиным пером с дубиной. Он поднялся, передал агляму кошелек с чеком. Тот взял и, продолжая бурчать что-то, пошел в соседнюю комнату писать расписку. Перо закрипело, потом Шоахсий, подув на печать, шлепнул ею по бумаге, вынес Файзулле. Принимая расписку, Файзулла вдруг почувствовал запах вина и еще чего-то... кажется, терьяка. Померещилось,

подумал он. Да и что за диво — запах вина в махалле виноделов?..

В глубине дома послышался высокий мужской голос, окликнувший кого-то с капризной женской интонацией. «Так он тут не один», — подумал было Файзулла безразлично, но интонация показалась ему странно знакомой. Внутренняя дверь в соседней полутемной комнате отворилась, там мелькнула полуголая мужская фигура. Аглям засуетился, прямо-таки выпроваживая Файзуллу.

Нечисто что-то, думал Файзулла, шагая по улице. Кого все-таки напомнила та интонация?.. И вдруг вспомнил: голос дастарбанда! Ну да!.. И ведь Шораджаб намекал тогда на некую тайну, связанную с выбором этого подмастерья-красильщика... Неужели... мерзость какая!.. И это в святом паломничестве его больного отца! Гадость, гадость, гадость!.. А может, только показалось? Нет же, точно, он узнал голос! И аглям засуетился так подозрительно... Ах, негодяй! Поборник чистоты ислама!..

У него комок подступил к горлу. Аллах великий, что за грязь вокруг него! Чему можно верить?.. Он стал припоминать яростную вспышку Шоахсия. Сколько злобы в этом гнусном обманщике!.. А указ? Или аглям только прихвастнул? А вдруг это правда? Надо предупредить муфтия. Хотя что может сделать Шораджаб?.. Эмира проповедями не проймешь. Кого вообще проймешь проповедями?.. Ведь прошлый раз в Кукельдаше и впрямь только ловкий маневр того же Шоахсия предупредил свалку. Сразу после мудрых речей Зуфунуна... Наверное, они тешат себя пустой надеждой...

Пройдя через пустынный в эту пору Кавала-базар, Файзулла вышел к Оружейным куполам. Уже темнело, только угли, тлевшие в кузнице, словно бы указывали путь запоздалым прохожим. Здесь, на этой площади, сад Дилкаша-кари. По вечерам, когда возвращается домой, он, говорят, собирает друзей, играет им на своем знаменитом тамбуре. Кто же это говорил... а, Зуфунун! Муфтий и сам здесь бывает часто. Встретить бы его сейчас!..

С какого-то минарета донесся звонкий в вечерней тишине крик муэдзина, призывающего к вечерней молитве: «Хай-алас-сало-от! Хай-алас-сало-от!..» Муэдзин смолк, и до Файзуллы впрямь долетел стонающий звук тамбура. Значит, уже собрались, и Шораджаб, может быть, здесь.

У низенькой калитки со стершейся резьбой даже цепочки не было, Файзулла толкнул слегка, она беззвучно отворилась. Хотя Дилкаша-кари именовали садоводом, сад его состоял всего из нескольких деревьев. Говорят, когда-то у него и впрямь был большой прекрасный сад, но по решению казия отошел какому-то баю в счет невыплаченного долга, взятого под залог урожая... видно, год был неурожайный. С той поры Дилкаш-кари ухаживал за чужими садами. В конце его двора за деревьями стоял двухкомнатный домик с айваном. На айване при тусклом свете керосиновой лампы, висящей на столбе, сидели двое: сам Дилкаш-кари, белоусый и белобородый, с тамбуром в руках, и еще кто-то в темном углу... Файзулла вгляделся. Ну, да, Зуфунун!

Старый мастер играл «Муноджат». Файзулла последний раз слышал эту мелодию в прошлом году в руинах дядиного кишлака, когда ее играл слепой у дувала. Пронзительная музыка. Не мелодия — воспоминание. И, наверно, каждый, слушая, вспоминает свое — свои горести, свои утраты. У него, Файзуллы, уже есть много такого, о чем думаешь с тоской и горем, и стон тамбура словно рвется из его собственной груди. А что приходит сейчас на память устоду, который сидит, покачиваясь в такт переливам, перекатам звуков? Еще больше горьких воспоминаний, разбитых надежд, но каких, Файзулла никогда не узнает. Любой из нас заперт в собственном мозгу, в собственной грудной клетке, другим туда вовек не проникнуть...

Мелодия кончилась. Дилкаш-кари опустил тамбур, прислонив к подушке, тот блеснул перламутровой инкрустацией, точно вскрикнул. И тут хозяин заметил Файзуллу. Торопливо встал, спустился с айвана, пошел навстречу.

— О-о! — сказал он — Салом алейкум! Заходите, баймулла! Какой гость!..

Откуда он знает его в лицо?.. Зуфунун между тем тоже подошел, на лицах обоих светилась одинаковая неподдельная радость, хотя выглядели они на редкость несхоже: один — высокий, сухощавый, франтоватый, с молодежьим лицом, другой — низенький, полный, с окладистой бородой, совсем старик с виду, поверх дехканского исподнего длинный белый халат... Грустное выражение, с которым один играл, а другой слушал, разом улетучилось, они суетились, не зная, как получше усадить Файзуллу. Двое коренастых сыновей хозяина

обновили дастархан, нового гостя усадили на почетное место, всем принесли понемногу шурпы. Заговорили об искусстве игры на тамбуре, но скоро перешли на общие темы, и Файзулла, который собирался поделиться всем наедине с Шораджабом, вдруг стал рассказывать о беседе с аглямом и ее странном завершении. Кончив, он глянул на муфтия и ощутил раскаяние — лицо Зуфунуна стало пепельным. Муфтий провел ладонями по лицу, поднялся, стал прощаться. Дилкаш-кари тоже выглядел удрученным.

Муфтий шагал быстро, точно его толкал переполнявший гнев. Маленькие кусочки щебня, отлетавшие у него из-под ног, звенели на пустынной улице. Файзулла едва поспевал за ним. Они долго шли молча.

— Значит, — сказал наконец Шораджаб, — хочет получить от улема благословение на такой налог?.. что ж, и получит. Полу-учит!.. Не зря же его зовут «аглям с белой печатью» — Файзулла впервые слышал, чтобы обычно сдержанный Зуфунун повторял это прозвище Шоахсия. — Этот подлец снова хочет вызвать кровавую резню!.. А ведь каким деликатным миротворцем притворился в Кукельдаше... я чуть было не поверил... — Несколько мгновений они опять шли молча, потом Шораджаб продолжил: — Вы, баймулла, еще слишком молоды, я не могу все говорить вам прямо, но знайте, этот человек — истинное порождение ада! Назвать вслух все его грехи и то грех великий!.. Он поддерживает тесные связи с самыми фанатичными шейхами, что при мазаре Баховиддина... с изуверствующими ишанами... Мне давно говорили, но прежде я не верил, убедился, только когда мы отправились в паломничество с покойным вашим отцом... Такие люди — самые страшные, сын мой! Им надо замаскировать свой грех, и они прикрывают его яркой нетерпимостью!..

— Устод, он мне и самому отвратителен стал, меня даже затошнило, но, право, вы слишком гневаетесь, поберегите себя, ведь и в гневе — грех!..

— Он животное! Нет, хуже животного — в какой скотине уместится столько подлости и столько греха?! Это гадина, сын мой... ядовитая змея, которую не грех прибить палкой!..

Файзулла не узнавал Зуфунуна.

— Устод... теперь вы говорите, как тот аглям... — он сказал это почти шепотом, но муфтий услышал,

даже приостановился, как-то боком оглянулся на Файзуллу и умолк. У Ляби-хауза они расстались.

В воротах дома его встретили с фонарем. Он вошел, смятенно размышляя, как это позволил себе грубость по отношению к учителю. Но ведь тот сам себя опроверг! Куда девалась его прославленная мягкость, терпимость, которую он проповедует?.. Правду говорит дядя Шахабиддин: «Когда земля тверда, бык валит на быка!» Ну, а его так еще и не определившая себя душа, что ж ей, метаться меж ними, пока не растопчут, оставаться меж двумя жерновами, пока не смелют в муку?..

Долгое время он не видел Шораджаба вовсе, несколько недель жил словно в оцепенении. Машинально отдавал распоряжения по хозяйству; не вникая, подписывал бумаги и старался избегать беспокойных взглядов домашних. Большую часть времени проводил в комнатке, предназначенной раньше для управляющего делами. Там стоял низенький, покрытый бархатной скатертью столик, на нем большая чугунная чернильница, некогда привезенная из России, песочница для очистки камышовых перьев, медные подсвечники с наполовину сторевшими свечами... Комната была расположена рядом с калиткой, но оказалась самой тихой и укромной в доме, а в окно было видно всех проходящих и уходящих. По правде говоря, Файзулла ждал, что Шораджаб его навестит, даже отчасти караулил его приход у окна комнатки. Но Зуфунун не появлялся. Другие приходили — он нет.

Вчера Файзуллу навестил редактор газеты «Бухорои шариф», посидел полдня, но так, видно, и не решился заговорить о деле, ради которого пришел. Играл крышкой чугунной пепельницы, робко лепетал, что мечтает привлечь хозяина дома к сотрудничеству. Мы нуждаемся в вашей помощи, бормотал он, но, едва Файзулла пробовал заговорить о сути дела, редактор, точно боясь услышать что-нибудь не то, умолкал, прятался в свою скорлупку, как степная черепашка.

Так ни с чем он и ушел восвояси, но на завтра явился снова, уже не один, а с молоденьким на вид, аккуратеньким таким муллоу, подстриженным, как на картинке в парчовом чапане. Мулло этого, чрезвычайно учливого, с несколько книжной речью, звали Бурхони Гулджалик. Он повел себя, как старый знакомый, беседовал свободно, непринужденно и сумел «разговорить» Файзуллу, тот и сам не заметил, как оказался вовлеченным в

беседу о несправедливостях, царящих в стране, о бедствиях народа, нищете простого люда. И, хотя откровенничал, в основном, хозяин, сегодняшней гость тоже, казалось, не лишен способности критически мыслить — все, что Файзулла высказывал, он принимал с сочувствием, давая понять, что и его это давно занимает и мучит.

— Живущих помыслами о священном всегда было больше, чем людей с низменными душами, — сказал он. — Вся беда, баймулла, что люди благородные бессильны были предпринять что-нибудь!.. Так что надо приниматься за какое-то далеко идущее дело...

— Какое же?

— Прежде всего вырастить достаточное число образованных людей нации! Они тщательно изучат постановку преподавания в других странах, а потом будут и действовать соответственно. Могу вам сообщить: тридцать наших молодых мулл обучаются сейчас в Стамбуле, и эти люди — будущее Бухары. Не хотите ли и вы отправиться в тамошний университет? Это соответствовало бы нашим целям и, видит аллах, отвечало бы вашей жажде познания! Даже в этом коротком разговоре она дала себя знать, как и ваша кипучая, молодая энергия... Мы видим в вас надежду Бухары...

— Простите, эфенди, кто это «мы»?

— Мы — это Бухарское просветительское общество, таксыр. Общество достаточно влиятельно, оно гарантирует вам беспрепятственный проезд в Стамбул и возможность потратить на учебу столько времени, сколько вы захотите...

Вот оно что!.. Файзулла был разочарован. Он знал про это общество и видел его представителей, они вились вокруг богатых людей вроде него самого, угодили перед ними в надежде на их подачки и влияние. И этот лощеный эфенди — птица того же полета... А он-то, дурак, разоткровенничался, распустил хвост!.. Впрочем, они к нему и пришли, наверняка рассчитывая на его молодость и неопытность...

Бурхони Гулджалик все продолжал говорить, обещая свести почтенного баймуллу со стамбульским гостем Салихом-эфенди и с Абдуллахадом-эфенди из Гавкашона, который получил образование в турецком университете и входит в президиум общества «Единение и прогресс», и широко пропагандирует издания с лозунгами просвещения и общетюркского единства...

Но Файзулла его уже не слушал, а думал о другом. Как встретить Зуфуна и попросить у него извинения?..

— Да пребудет в раю душа вашего отца, — стрекотал эфенди, — святой был человек, и ведь капиталы свои поместил он большею частью в заграничных банках, не правда ли? Вот вы и сами отправитесь в те же места, может быть, окажется кстати...

Только эти последние слова и дошли до сознания Файзуллы.

— Благодарю вас... — сказал он растерянно и поднялся, как бы прощаясь. — Я никуда не могу ехать... здесь много дел... Всех благ вам, эфенди... и вам, почтеннейший...

Оба гостя, уходя, выглядели обескураженными.

Файзулла в тот вечер не мог уснуть, промаялся полночи и все размышлял. Завтра с утра, уговаривал он себя, следует самому пойти к Шораджабу. Прежде всего он попросит прощения... А потом... потом спросит напрямик, какой путь избирает для себя устод. И, если Файзулле с ним не по дороге, тогда... он, Файзулла, пойдет дальше сам. Он уже не мальчик. Ему ясна цель. А единомышленники найдутся... найдутся...

Небо Бухары бывает чистым лишь на рассвете. Когда проснутся сотни улиц, улочек, тупиков с их толстым слоем истолченной в серо-желтую пудру сухой лессовой пыли, подающей под ногами и смыкающей следом, как вода; когда очнутся от ночи базары, а крытые торговые ряды наполнит эхо голосов и шагов, под лучами солнца закружится пыльное марево, затмевая необычайно яркую синеву небесного свода. Пока Файзулла достиг ряда, где торгуют адрасом — кустарной полушелковой материей, мимо него прошли первые дехканские арбы, спозаранок прибывшие на рынок. Из конюшен Туракула доносился надрывный кашель конюхов-наркоманов; горбатый старец, который подогревает воду в передней бань, где совершают омовение, и приглядывает за обувью посетителей, еще спал на улице у перекрестка.

И вот в эту-то раннюю тихую пору из отдаленного городского квартала донеслись истошные крики, стенания, гул, словно издаваемый толпой сумасшедших. Уже через несколько мгновений стало казаться: этот страшный шум наваливается одновременно издали и из ближних улиц. Появились бегущие людские фигуры, запол-

ния пространство квартала, в узких улочках какие-то люди грузно спрыгивали с заборов и крыш, взрывая пыль. Слышался треск, словно что-то ломалось, падало, опрокидывалось. Из чайханы, где собирались обычно учащиеся медресе, вырвались вдруг человек пятьдесят, и эта топочущая толпа, как взбесившееся стадо, помчалась в сторону Джанкубада, где находилось святилище шиитов – гробница хранителя волос имама Хусейна. Теперь стало ясно, самый страшный шум доносится как раз с той стороны. Файзулла побежал вслед за толпой, хотя внутри него все сжалось – не то от страха, не то от возбуждения. Почему-то ему представилось заросшее бородой злобное лицо Шоахсия. Он вспомнил вдруг: говорили же, сегодня шииты должны справлять свой «ашуро шахсей-вахсей!» Вот куда все бегут!.. Но неужели началось самое страшное?! И уже секунду спустя сомнений не осталось: в городе резня. От моленной при мечети Диванбеги кто-то закричал:

– Сюда идут! Сюда-а! Закрывают лавки! Эй, правоверные! Во имя шариата-а!..

– Муллавачи режу-ут!..

И вырвавшаяся из боковой улицы обезумевшая толпа, окутанная облаком пыли и собственных воплей, как смерч, захватила Файзуллу краем и потащила вперед. С отдавленными ногами, со ссадинами на лице и всем теле, оглушенный, облепленный пылью, не чувствуя боли, а только ужас, он думал одно: «Лишь бы не упасть... не упасть!» Ноги подгибались, но он держался изо всех сил, а стены человеческой плоти с четырех сторон подпирали, давили, волокли его. И весь этот тысяченогий зверь, опьяняемый собственными громовыми криками «Во имя шариата! Эй, святой Ильяс! О, святая четверка!», неся, пока не застрял в узкой улочке. Тут он поднажал, задавил несколько человек, истошно вопивших, и снова понесся, как поток из ущелья, растоптав часть самого себя...

То, что Файзулла оказался с краю толпы, его и спасло. Чалма у него размоталась, конец волочился, попал под ноги бегущим, и Файзулла упал-таки, но откатился в сторону, в узкое пространство какого-то счастливо подвернувшегося тупичка. Когда он пришел в себя, ураган уже промчался.

Морщась от боли в коленях и всем теле, он поднялся на ноги, отряхнул подол, утер ключьями чалмы лицо,

протер глаза, огляделся. Сквозь пыльную тучу над улицей светил багровый глаз солнца. Город гудел, ревел поодаль, и на фоне этого шума Файзулла различил чей-то стон поблизости. Близ перекрестка лежало нечто, напоминавшее издали кучу окровавленного тряпья. На улице никого больше не было. Файзулла подошел. Лица, тела, изорванной в клочья одежды человека было почти не различить под слоем напитавшейся кровью пыли, комья грязи пристали к ссадинам, рядом темнела лужица натекшей крови; если б не стоны, трудно было поверить, что он еще жив. Но, когда Файзулла повернул к себе его голову, на страшной маске лица вдруг открылись глаза, наполненные ужасом. Файзулла поднялся.

— Эй, кто-нибудь! Помогите!..

Но ворота и двери были наглухо заперты. Никто не откликнулся. Файзулла крикнул еще раз, огляделся. Наконец отворилась с тихим скрипом калитка, выглянул худой старик, подошел, поминутно озираясь и ступая по мостовой, как по раскаленной плите. Вдвоем они втащили несчастного внутрь дома, раздели его, промыли ссадины, как могли, вымыли лицо. Это оказался молоденький парень. Он стоял, стыдясь своей наготы и боли.

— Кто ты? — спросил Файзулла.

Парень вдруг заплакал.

— Я разве виноват, мулла? — сказал он, всхлипывая. — Дедов моих пленили туркмены, продали сюда в рабство... а я при чем? — он судорожно глотнул, стараясь сдержать рыдания. Парень был иранцем, вот за что ему досталось.

Старик смотрел с горестным сочувствием.

— Близ Арка и у городской стены, и во всем центре города столпотворение... — сказал он тихо. — На улице Гулямон, говорят, забили палками одиннадцать иранцев!.. Большое побоище, молодой мулла, большое побоище! Что-то еще будет... Ишану Исламу-карболаи беременные женщины носили пожертвования... так многие мужчины мечтали отомстить, вот и разгромили его дом...

Так, подумал Файзулла, резня перешагнула уже границы сект! Пошло, покатилось...

— А из-за ишана, — продолжал старик таким же тихим голосом, — пострадали и бедняки с мельницы, и работники маслодавильни... а у этих, кроме слепого ишака, вообще ничего не было...

— С чего же началось, ота?

— Кто знает...

— А ты как в это попал? — спросил Файзулла раненого.

— Я... весовщик... с гузабазара¹ в Чикурлыке... — парень говорил с трудом. — Нас всех бить стали... и потащили за собой... А сперва, я слышал... бездельники какие-то... насмехались над шиитами... ну, что радели в хуснияхоне... на Джуйбаре... те не стерпели... погнали их... ходжи там драчливые... Ну, и побили... одного-двух... и пошло...

Что же я здесь торчу, подумал Файзулла, бежать надо, что-то делать. Страх, испытанный им в толпе, уже улетучился и он забыл, как сам выглядит после своего страшного приключения. Он полез за пазуху. Кошелек его чудом сохранился. Файзулла дал несколько монет старику.

— Вот, ога... может, лекарю... или костоправу...

Старик стал благодарить, раненый тоже, а Файзулла поспешил вон.

Город был страшен. Сломанные или обкромсанные деревья; полуобрушенные заборы и наружные стены: выдавленные ворота, двери, калитки; водосмы, заваленные обломками, ветками, клочьями одежды, на воде все это выглядело особенно дико. А по мере приближения к Джуйбару снова нарастали крики, вопли, вой, плач, сливавшиеся в чудовищную музыку светопреставления. На крышах ютились плачущие дети; обезумевшие женщины рвали на себе волосы. Файзулла только теперь представил масштабы бедствия. Если дело впрямь началось с хуснияхоны, подумал он, так непременно вяжется шейх Хасан-Машади, глава бухарских шиитов. С ним шутки плохи: богач и, главное, зять эмира! В родстве с ним состоит еще, говорят, имам Саид Бакр, потомок одного из тех четырех Бакров, что некогда проживали в Бухаре и оставили свое имя знаменитому мавзолею. Недаром Машади содержит при этом мавзолее молельню... Фу ты, какая ерунда лезет в голову посреди такого кошмара! Что может теперь сделать шейх Хасан — оживить своих покойников? Или потребовать новых — от противной стороны?..

Едва Файзулла вступил в махаллю Джуйбар, человек десять пронесли мимо два мертвых тела; один из

¹ Хлопковый базар.

мертвецов был старик с длинной белой бородой, другой помоложе. Двое из несших яростно вопили, третий рыдал. Файзулла вдруг почувствовал, что обессилел, и прислонился к чьей-то калитке. Из-за калитки доносился негромкий ровный шум ткацкого станка. Файзулла даже не поверил себе, заглянул в щель. Станок стоял на полуразвалившемся айване, на нем работала старуха в огромном конусообразном уборе, и ее худющие руки с обвислой кожей двигались стремительно и бесперебойно, словно демонстрируя полное равнодушие ко всему, что творится на улице...

Постояв и отдышавшись, Файзулла пошел дальше и у небольшой шиитской молельни увидел кучку нагих, хорошо одетых молодых. Это были «чапани», бухарская «золотая молодежь», лихие парни в пестрых чалмах. Вот уж они, наверно, знатно повеселились сегодня!.. Сейчас парни как раз выволокли из молельни двух дряхлых старцев, толкнули их в пыль; и один, верзила в парчовом чапане и с огромным, отделанным слоновой костью ножом у пояса, придавил кованым сапогом упавшего старика и в такой позе с кривой ухмылкой слушал, что рассказывает его приятель.

— Крикнули мы, значит: «Жизнь за веру, смерть за веру!» — и давай лупить направо и налево...

И тут верзила заметил Файзуллу. Ухмылка его стала еще наглее.

— Байвачча-а! — сказал он издевательски. — Салом! Полюбоваться пришли? А?.. Мы тут, значит, объявив газават, проливаем кровь за кровь, — он повел глазами на дружков, и те захохотали, — а вы приходите на готовенькое... И разинув рот, любуетесь! Так выходит? А? — Он оттолкнул ногой старика и двинулся на Файзуллу. — А ну, снимай свой пояс, ты, баба!

Верзила надвигался, но Файзулла не тронулся с места.

— Хорош газават! — сказал он ровным голосом. — Стариков бить... Отпустите их.

— Что, что?! — переспросил верзила с искренним удивлением, он даже приостановился. — А ну, повтори! — и он, кривляясь, приложил ладонь к уху. — Повтори, я послушаю!.. — Он снова пошел на Файзуллу, как медведь. Файзулла стоял, как прежде, неподвижно. И тут один из дружков верзилы тронул того за плечо и зашептал что-то ему на ухо. Лицо верзилы сперва стало глупо-удивленным, потом чуть растерянным и тут же начало изображать приторную угодливость. Он

попятился назад, приложил руки к груди и сделался ниже ростом.

— Ради аллаха, уж простите, Файзулла-ходжа! — заговорил он сладким голосом. — Не узнаешь — не уважишь, вот и я... Уж извините! Я свои непотребные слова обратно проглочу, ей-богу! Вы золотом, мы силой, а все за одно святое дело...

«Вы золотом, мы силой...» Этот мерзавец воображает, что и я заодно с ними в этой резне...

— Ступайте прочь отсюда! — закричал он гневно, мальчишески высоким голосом. Ярость, обида, ненависть душили его. Верзила сделал вид, что принял это как приказание действовать. Он заорал дружкам:

— Слышали?! Пошли дальше! На мазар хранителя волос! За мной!.. Эй, святой Ильяс! Эй, святая четверка! — и он побежал впереди бандитов-чалмоносцев.

Файзулла снова прислонился к стене, прикрыл глаза. Кто-то сунул ему в руки пиалушку. Он открыл глаза, пиалушка была с водой. Файзулла глотнул, потом глянул, кто подал воду. Это была та древняя старуха со двора, что работала на ткацком станке. Как она здесь оказалась?..

— Спасибо, бувиджан¹, — сказал он, возвращая пиалу. И, оттолкнувшись от стены, пошел дальше по улице. Его покачивало, мутило. Вокруг по-прежнему царил паника, какие-то люди пробегали, прижимаясь к стенам, лавки были закрыты наглухо, изредка справа или слева снова доносился взрыв рыданий, стоны, вой. Файзулла шел, даже не понимая, в какой части города теперь находится. Мимо него ошалело промчались два ишака, подгоняемые казенными водоносами, следом послышался знакомый топот и крики толпы. Он едва успел откаться в сторону. Толпа промчалась мимо, догнала водоносов, повалила наземь, сорвала с ишаков и растоптала бурдюки...

И тут появились эмирские солдаты, потом полицейские с длинными кинжалами, секирами, саблями. Грянул оружейный выстрел, еще несколько, запахло порохом. Точно война в городе началась!.. Где же они были до сих пор? Почему их не прислали раньше? Или надо было дать пролиться крови, чтобы иметь законный повод для нового кровопускания? Сколько еще невинных теперь погубят э т и?..

¹ Бабушка

Какой-то человек, появившийся рядом, твердил молитвенно:

— Слава аллаху, теперь усмирят! Усмирят теперь, слава аллаху! Да будет всемогущим августейший наш эмир, да будут острейшими его сабли, да поможет ему святой Баховиддин, да унизятся и сгинут его супостаты!..

Файзулла взглянул на него, и даже сердце екнуло, так человек был похож на Шораджаба. Такой же статный, молодежавый, с такой же бородкой...

Файзулла пошел прочь, почти побежал, инстинктивно выбирая направление к дому. Он торопился укрыться от всего, как дервиш, преследуемый собаками. Его гнали и страх некоей подстерегающей всюду опасности, и отвлечение к самому себе. Проклятие всему этому, проклятие...

Хорошо, что во дворе никого не было; он торопливо прошел пустую переднюю и гостиные, добрался до хасхоны — специального помещения, где прежде имел право находиться только отец. И теперь туда никто не мог войти, кроме него самого и матери. Там можно зарыться в подушку лицом и выплакаться наедине с собой... Но едва отворил высокую резную дверь, как тотчас понял — в хасхоне кто-то есть. Занавески окна, выходящего во внутренний двор, были слегка отодвинуты, и в слабом свете кончающегося пыльного дня на углу ковра стоял Шораджаб-муфтий... Файзулла быстро зажег свечу, он сперва и глазам своим не поверил. Нет, это был действительно Шораджаб, но мало похожий на себя: прямой стан сгорбился, взгляд потухший и какой-то жалобный... Другой человек, согбенный и старый; и с таким выражением лица, словно это не учитель его, а провинившийся ученик!..

— Извините, что вошел сюда, — сказал муфтий тихо. — Я, молящийся за вас, жду вас уже давно... и нетерпеливо...

— Садитесь, таксыр!..

— Нет, нет! Не хочу...

Файзулла удивился себе. Все последнее время он так мечтал увидеть Зуфунуна!.. И вот муфтий здесь — а никакой радости. И не хочется просить прощения за ту давнюю грубость. Что она теперь, рядом со всем, виденным сегодня...

— Есть жуткая новость... — сказал Шораджаб.

— Я знаю...

— Знаете?!

— Я сегодня весь день был в городе... и видел...

— Я не о том, мулла... Аглям исчез!..

— Исчез?.. — Файзулла удивился: что с ним могло случиться, он же был вдохновителем этой резни? Он сказал полувопросительно: — Наверно, просто еще не вернулся...

— Вы не понимаете, баймулла! — сказал муфтий нетерпеливо. — Он сбежал! Прихватил с собой все деньги, собранные для постройки дороги в Мекку, и сбежал!..

Новость резанула Файзулла, как ножом. Даже на фоне сегодняшних ужасов она его поразила. В первое мгновение он подумал только: очередная подлость Шоахсия, чего от него еще ждать!.. Но тут же понял: это крушение... крушение надежд, крушение дела, которому стоило посвятить себя...

— Может, это еще неправда? — сказал он, зная, что правда, и просто цепляясь за пустую фразу, как за продырявленный спасательный круг, от отчаяния.

— Правда, — сказал Шораджаб. — Есть живой свидетель... Пойдемте!

Файзулла покорно пошел за ним. В одном из соседних помещений в темном углу прижалась какая-то длинная фигура в белом тюрбане.

— Поди сюда! — сказал муфтий.

Человек выступил на свет. Это был дылда дастарбанд собственной персоной.

— Говори!..

Дылда, пожевав губами, пробормотал:

— Они иногда давали мне гиях... проявляли милость... А в ту ночь дали больше... я и пребывал в опьянении... Я ничего не знал, таксыр!

— Вас никто не обвиняет, — сказал Файзулла, чувствуя, как в нем поднимается волна тошнотворного отвращения к долговязому. — Скажите только... расскажите, как вы узнали.

— А я поднялся... Вижу, сундуки раскрыты, их комната в запустении... Ждал три дня и три ночи — не пришли... а потом... захотелось этого самого... Я и заглянул в коробку, где хранилось... А там...

И он, согнувшись в поклоне, протянул Файзулле клочок белой бумаги. Файзулла, одолевая отвращение, взял, взгляделся. Клочок был запиской: «Не ищи меня. Двор с садом и ты проданы по купчей баччамиршабу¹ Мулладжану...»

¹ Страж, полицейский.

— Все! — сказал Файзулла резко, не сдерживая себя. — Вы свободны... — Ему казалось, пробудь этот человек здесь еще минуту, он, Файзулла, задохнется. Дылда, безмолвно попятившись, поклонился, вышел.

Файзулла и Шораджаб вернулись в хасхону.

— Простите, таксыр, я должен переодеться, — сказал Файзулла с поклоном.

— Да, да, конечно...

Файзулла сменил на себе чапан, ичиги. На ичигах, в которых он был в городе, темнели бурые следы крови. Чья это кровь? Его собственная? Или того несчастного весовщика, которого он подобрал? Или кого-то из толпы?.. И в своем тихом доме он не спасся от сегодняшнего городского ужаса — резня словно потянулась за ним следом...

Файзулла, сам не сознавая, почувствовал на себе взгляд Шораджаба и поднял на него глаза.

— Не изнывайте так, мулла... — сказал муфтий. — Нашей вины тут нет ни капли. И, если раб божий не в силах поймать и покарать вора, это сделает за него всевышний...

Я еще собирался бежать к нему и просить прощения, думал Файзулла. Я — у него...

— Уж не думаете ли вы, таксыр, что я сожалею о своих деньгах?.. Нет, я увидел этот свой взнос на лицах сегодняшних трупов... в лужах пролитой крови... Шоахсий, сбежав, украл не деньги наши, нет — нашу веру!.. Сколько раз я уже разуверялся во всем за последний год... сколько раз! И каждый раз вы убеждали меня: верить можно! Необходимо верить!.. И я верил снова. Вам верил, устод... В сущности, это вы меня обманули!..

Файзулла говорил это страстно, горько; сегодняшние улицы говорили его голосом, вся разоблаченная ложь последних месяцев; а внутри него сидел другой Файзулла, маленький, как отражение на крышке фарфорового чайника, и удивлялся: как это он говорит такое Шораджабу?..

Муфтий стоял перед ним уничтоженный, не находя сразу и слов для ответа; щеки его вдруг старчески обвисли, морщины выступили. Его стало жалко.

— Молодой мой мулла... — сказал он наконец с трудом, — неужели... неужели вы вправду так думаете? Неужели вы... — он прервал себя. — Я виноват... виноват тем, что оказался бессилён перед всеми этими событиями. И сам себя казню... и, кто убьет меня, совершит

благое дело!.. Только не такими горькими словами... — он помедлил, наверно, хотел закончить обращением «сын мой», но не решился.

Не хочу больше никого жалеть, сказал себе Файзулла.

— Вы бессильны, таксыр? — сказал он вслух. — Бессильны?.. Не-ет, не совсем так... Была же у вас сила, чтоб увлечь меня за собой, и не одного меня... Нет, сила у вас была... Только служила она обману! Обман был в основе вашей силы!..

Почти выкрикнув это, он вдруг почувствовал, что все в нем иссякло. Он опустил голову, закрыл глаза.

— Вы сказали — он украл веру, — тихонько проговорил Зуфунун. — Не хочу вам больше читать проповеди, но... когда человек лишается веры... — он помедлил и закончил шепотом: — ...это духовная смерть...

Файзулла чувствовал, что погружается в какую-то полудремоту... в туман какой-то... Когда он поднял голову, муфтия в комнате уже не было. Ушел не попрощавшись. И пусть. Теперь уж не важно... Последние дни и месяцы замелькали перед ним в беспорядке. И всюду присутствовал Шоахсий! Что-то делал, что-то говорил, и теперь его незначашие, безобидные фразы исполнились какого-то дьявольского смысла. Файзулла вдруг вспомнил, что аглям в качестве знатока шариата сказал на похоронах отца: «Деньги, принятые в качестве пожертвования в Мекку, не считаются долгом...» И никто на это внимания не обратил, все забыли в траурной суматохе об этой изрядной в общей сложности сумме, что наверняка хранилась у Шоахсия. Так он и эти деньги прикарманил!.. И тут же Файзуллу жуткая мысль уколола: а не убили ли его отца ради тех денег?.. Он постарался отогнать ее, так и вовсе с ума спятишь.

Сколько же ему еще предстоит, прежде чем он научится понимать людей! Когда мать говорила ему «Ты еще молод», это только раздражало, а теперь видит: мальчишка он еще. Мальчишка!..

В комнате было уже совсем темно, он лег, не раздеваясь, такая усталость в нем накопилась, казалось, только донеси голову до подушки, тут же заснешь. А лег — и сон не приходил. Посреди бессонной ночи, измаявшись, он подумал: пойти сейчас к маме, прижаться к ней... Нет, это значило бы вовсе впасть в детство, да и мать будить стыдно.

Он не рассказывает матери о таких грязных историях, как эта, с Шоахсием, но мать чует все, что у него на

сердце. «Не было у тебя детства, сынок, хоть ты и сейчас еще ребенок,— сказала она ему однажды.— И раньше ты был полудитя, полувзрослый, и сейчас полувзрослый, полудитя... Ох, боюсь, отец оставил тебе не наследство, а тяжкий груз...»

— Нет, анаджан,— шепчет Файзулла, словно мать здесь и сказала ему это только что,— нет, вы слишком просто смотрите на вещи. Не груз, оставленный отцом, повергает меня в раздумья. С ним проще: наличные, бумаги, амбары, склады, сундуки... С этим можно разобраться. Но я стремлюсь к чему-то, чего нет!.. Если бы я знал, к чему! Сколько всего я уже принимал за это неизвестное... и сколько раз обманывался. Или обманывали меня... Наверное, я ни к чему не пригоден, айи?..

Мать, которую он видит в воображении, стоит, горестно качая головой, и не отвечает. И что она может ответить, если ответа не знает сам Файзулла?..

Он задремывает наконец перед самым утром, но вскоре просыпается, как от толчка. Догоревшая свеча оплыла на чугуна подсвечника растоптанной шляпой. За окном сумеречный рассвет, и темное мутное небо, кажется, придавило землю...

Он так и не увидел лета. Осень началась пронизывающей до костей стужей, какая бывает только в середине зимы, потом чуть отпустило, с карнизов саманных, обмазанных глиной крыш снова капали желтые, как сукровица, капли. Горбившиеся вдали развалины крепостей казались в тумане просто холмами. Файзулла, совершивший поездку в Шафирком, чтоб определить запасы в кладовых и прикинуть, как выдавать авансы на предмет предстоящей поры окота, вернулся, по сути, так ничего и не выяснив. Эти дела занимали его все меньше. Хотя в течение нескольких последних месяцев ему, как говорится, не елось, не пилося, что-то в его душе происходило благодетельное; мучительные раздумья, перебродив, высвечивались янтарной прозрачностью, какое-то главное понимание близилось, он чувствовал себя спокойней, сильнее, даже на коне держался более уверенно и прямо. И то, что происходило внутри него, казалось так существенно, так важно, что внешние обязанности лишь от этого отвлекали.

Его дядя Латиф-ходжа был, конечно, недоволен, что,

проездив столько, Файзулла вернулся с неопределенным отчетом. Но, чтоб соблюсти приличия, сохранить мир в семействе, не обидеть вдову брата, бай-биби, он не стал высказывать племяннику никаких порицаний. Этот человек с проседью в бороде, высокий, одновременно ширококостный и стройный, многоопытный и твердый характером, давно уже, конечно, хотел прибрать к рукам все хозяйство и преуспел в этом; а теперь это становилось просто необходимым! Главное, препятствий не было: Файзулла за это всей душой!.. Но странен человек: хотя равнодушие Файзуллы к богатству было на руку Латифу-ходже, оно его раздражало, как и прочих родственников. «Неблагодарный, — говорили они меж собой. — Оскорбляет память отца...»

Райхон-биби, счастливая тем, что сын вернулся — и притом явно встряхнувшись душой, даже внешне посвежев, — сразу сообщила новость:

— После вас приходили те ваши приятели, сынок...

Этих приятелей она не очень-то жаловала, но боялась, что сын станет сидеть в четырех стенах, в доме, ставшем для него обителью печали. Пусть хоть с кем-нибудь общается, развеется в беседах, отыщет себе развлечение по душе.

— Какие приятели, мама?..

— Ну, те, что все говорят друг другу «мой эфенди», «мой эфенди»... — мать улыбнулась. — Ну, один еще такой грубоватый, с рыбьими глазами, а другой... которого называют «мулла без намаза»!

Мать и сын засмеялись. В доме будто посветлело от этого смеха.

Эти приятели-«эфенди» и прежде появлялись в доме Убайдуллы-ходжи; Файзулла познакомился с ними, еще когда отец болел — те самые Захреддин-махзум и мулла Ахад. Пока «молодой Ходжаев» пребывал в смятении и печали, пока его держал под крылом Zufунун, они не попадались ему на глаза. Но потом как-то навестили и с той поры зачастили к нему, люди жизнерадостные, опытные в беседе, изобретательные в развлечениях, знающие несметное количество подробностей из жизни всех мало-мальски заметных людей столицы эмирата... С ними было забавно, весело, и это общение обещало все, по чему Файзулла втайне от самого себя давно соскучился.

Они были много старше его, но никаких этих «сын мой» у них и в заводе не было, вели себя с ним как

сверстники, как ровня и только изредка позволяли себе прохаживаться насчет его «несчастной любви к шейхам и ишанам». Файзулла, конечно, не обижался, напротив, поддерживал эту беззлобную игру:

— Небось не знаете, что значит по-арабски «шейх», а? «Ведущий вперед»! То-то!

— Да знаем, знаем, — отзывался мулла Ахад, — только наши-то давно уже ведут не вперед, а назад тащат! А вы за ними... Подумать-то, ведь спорят о чем: «Сколько раз должны перевернуться нечистоты в текучей воде, чтобы очиститься»! С ума сойти!

И оба хохотали, а Файзулла к ним присоединялся.

В прошлую пятницу они пришли к нему после намаза, долго сидели, пировали, болтали, веселились в его комнате, а прощаясь, мулла Ахад оставил страничку азербайджанского журнала «Молла Насреддин» с карикатурой, изображающей улема Бухары. Как следовало из рисунка и текста внизу, это шейх, имевший в каждом кишлаке по жене, предавался сладким мечтам о том, как сделать всю страну своим бесплатным гаремом. Нарисовано было смешно, изложено тоже, но Файзулле смеяться не захотелось. Тошно ему стало, точно карикатура имела некое отношение к нему самому. И весь день на завтра он бродил по комнатам, спотыкаясь о раскиданные там и сям овальные подушки.

К вечеру пришел Захреддин-махзум. Он теперь часто приходил и один. И в эту зимнюю пору он носил суконный чекмень бордового цвета, борода была подстрижена щегольски. Стоило ему завести мало-мальски серьезный разговор, одно слово так и лезло в уши: просвещение, просвещение... Неужто так просто решается все, над чем столько времени бился и теперь думает Файзулла? Хотя ведь и великие открывали свои истины в простых словах... Недавно Захреддин цитировал газель Навои:

*Так долго слушал шейха я, его тишайшие слова,
Но нету радости в душе — и беспокойна, и слаба...*

Продекламировав эти строчки, махзум тонко улыбнулся и продолжать не стал. Он вообще был лишен грубоватости и прямолинейности муллы Ахада.

— Мы знаем, Файзулла-ходжа, — заговорил он сегодня, — вы против всякой косности и невежества...

но, увы, и не заметили, как оказались именно в болоте невежества и косности!

— Вы не правы, мулла-ака! И не забывайте, пусть я теперь ищу иной путь, но ум и знания Зуфунуна уважаю по-прежнему! — он помедлил. — И к тому же, — добавил он, показывая страничку из «Моллы Насредина», — вот это... к нему... не имеет ни малейшего отношения!

— Сие допустимо, — сказал Захреддин. — Зуфунун, возможно, человек бескорыстный и знающий, недаром вы его так долго терпели! Арабское слово «улем» ведь и значит «знающий» — вы так любите арабские значения слов... Но для нас-то важны люди, не только знания имеющие, но и убежденные, что надо эти знания распространять! А то ведь иные образованные полагают, что народу знание вредно... Точь-в-точь как богачи, которые считают, что золото надо прятать от бедняков! — он сам засмеялся своему сравнению. Файзулла улыбнулся. — Я не о вас, Файзулла-ходжа... Вы оказали важные услуги и религии, и нации...

— Разве?... Что-то не помню за собой такого!

— Не прибедняйтесь... оказали!

— Видите ли, — сказал Файзулла серьезно, — у меня однажды вдруг появилось слишком много советчиков. Были и такие, что предлагали за пистолет взяться ради политики. Но я искал пути чистого, согласного с совестью. И спутников таких же... оттого и к устоду...

— Это понятно... — Захреддин поспешил взять слово с некоторым нетерпением. — Я хочу сказать, что главный враг прогресса — невежество. Ничего нельзя изменить к лучшему в неграмотном и полном предрассудков обществе... А единственное средство против невежества — просвещение! Разве это не очевидно, как разрезанный арбуз?... Конечно, просвещение требует многих добрых дел, самоотверженных поступков. По-вашему, надо сперва собрать и воспитать достаточно людей с чистой душой и цельной верой, а уже с ними изживать темноту... Нет, планы ваши — пустые иллюзии, байвачча. Не добрые люди делают добрые дела, а наоборот — добрые дела делают добрых людей!..

Файзулла помедлил, подумал.

— Прекрасно сказано, махзум, — сказал он, — но уж слишком категорично... Бывает по-всякому. И потом что это за дела?

— Мы открыли новые школы: я — в Сузангаране,

Юлдаш-кари — в Керки, Исламкул-туксабо — в Шах-рисябзе, домла Икрам — в трех кварталах Бухары. Икрам к тому же написал прекрасную и убедительную статью против несправедливых указов улемов. Молодые образовали общество «Воспитание юных». Фитрат-эфенди написал брошюру под названием «Спор» — о нынешних распрях реакционеров и джадидов, — издал ее на свои средства в Стамбуле, а кое-кто из бухарской молодежи перевез книжечки сюда на ишаках на дне хурджинов, тайком от царских властей... теперь раздадут в Чиракчи, Яккабаге, Китабе. Сейчас в библиотеку прибыла еще брошюра Исмаила-эфенди Гаспринского, ее тоже надо раздать... Главная наша сила и помощники — юноши, подобные вам!.. И дел им все прибавляется. Частный издатель Хайдар-ходжа-бай, собрав пожертвования, готовится издавать газету «Туран», уже получил разрешение у кушбеги. Газете нужно помочь — и писать в нее, и распространять... Нужно помочь и библиотеке «Просвещение», которая находится на бульваре, и библиотеке товарищества «Щедрость». Мы, интеллигенты, уже привлекли к этому общество «Тарбият ул-атфол». У нас есть много мест для общих собраний, бесед, споров, как бы там эти места ни назывались: лавками, артелями... Так что, видите, кое-что мы делаем. А если человек не делает ничего, как узнать, чисты ли его намерения?..

Файзулле прежде и в голову бы не пришло, что этот тщедушный человечек, столь вызывающе пестро одетый — в бордовом чекмене, в чалме, закрученной жгутом, в цветных сапожках, втиснутых в полосатые кожаные калоши, — что этот жизнерадостный искатель веселых бесед и развлечений имеет на самом деле столь серьезную жизненную программу и может подкрепить ее такой четкой и умной мыслью. Он был совсем не похож на ловкого Бурхони Гулджалика, что приходил к Файзулле с редактором. Тот плел свои корыстные сети под весьма прозрачным покрывалом: торопился эфенди!.. Может быть, Захреддин просто умней его и не торопится?..

— Мы, Файзулла-ходжа, — продолжал махзум, — заняты не молитвами или призывами к другим свершать благодеяния; мы заняты делом простым и практическим, которое люди видят и могут понять. Вы, наверное, знаете, кази-калян написал эмиру целую «Книгу о злостных происках джадидов»... Там он рекомендует не

только закрыть новые школы, но и вообще запретить все новое!.. Но и в это тяжелое время мы сумели отстоять главное, чего добились: сохранили татарские школы, газету «Бухорои шариф»...

Упоминание о газете неприятно кольнуло Файзуллу — значит, не зря он только что вспомнил визит того эфенди!.. Нет, сказал он себе, лоценый этот ловкач слишком уж не похож на Захреддина. И ведь махзум предлагает практическими делами заняться, а не ходить вокруг да около его миллионов...

— Понимаете, баймулла, — говорил Захреддин, — мы ведь можем привести доводы против всех этих запретов, против тирании улемов, против происков царского чиновничества, основываясь на том самом священном шариате, который они на нас нацеливают как главное оружие! Да, да! Мы не только моложе, энергичнее, мы образованней и умнее! их!.. И вас мы хотим видеть в своих рядах. Хватит вам метаться. Приходите на наши собрания, это будет полезно и вам, и нам...

Махзум говорил все это спокойно, как человек, настолько уверенный в своей правоте, что она уже не вызывает волнений, и притом без малейшего нажима, как бы давая Файзулле возможность вникнуть полнее. А Файзулла думал тем временем: выходит, о его духовных поисках догадываются и другие! А он-то думал, это спрятано внутри него. Стало быть, его метания на виду у всех?.. Вот одни говорят о чистоте души, другие — о практических делах. Пожалуй, вторые предпочтительней, они делают хоть что-то, а чего стоит личная чистота, когда разражается катастрофа, он уже видел!.. Но ведь и второй путь вовсе не обещает тех изменений в окружающей жизни, которые так явственно необходимы. Ну, обучат грамоте еще несколько сотен ребят... Ну, будут кропать дискуссионные статейки в своих газетах, исподтишка обличать улемов с помощью того же шариата... Правду сказать, все это так мало даже рядом с размахом хотя бы отцовских дел!.. Нет, нет, отцовская погоня за деньгами решительно не для него; и он готов отказаться от богатств, от каракульских отар в Кызылкумах и европейских магазинов, но во имя чего? Что настоящее, стоящее он мог бы сделать на свои деньги, чтобы до конца жизни сохранить к своей юности благодарность души? Чтобы изменилась жизнь вокруг и дышать стало легче?..

Махзум, видно, принял его задумчивость за результат

своего красноречия и, довольный, удалился, тихо поклонившись. Да и Файзулла рад был остаться один. Нет, все-таки он действительно не знает, чего хочет. В конце концов, ему предлагают реальную цель, на которую, во всяком случае, стоит тратить и деньги, и время, и душевные силы. Пусть это не решит никаких мировых вопросов, но что-то сдвинет с места... И будет он не одинок, а среди многих единомышленников... Но никак ему не удастся поймать кончик нитки и размотать клубок внутри самого себя! Хватит на сегодня...

Он лег на ковер и взял в руки изящно переплетенный рукописный диван Навои, который недавно принес Захреддин. Томик открылся на знакомой странице, и тот же бейт бросился в глаза:

Так долго слушал шейха я, его тишайшие слова...

Ему почему-то вдруг стало спокойно. Он отложил книгу, раскинул руки. Сон на него нисходил.

...В середине зимы снова потеплело, на улицах и базарных площадях сделалось пыльно, но воздух был чист, небо ясно, голубые купола сверкали.

А в доме почему-то стоял с утра запах стада; перепел, певший в нитяной клетке с тыквенным донышком, то и дело останавливался и трепыхался, как бы давая понять, что он голоден, а раз весь дом уже проснулся, пора бы и его покормить. Файзулла отодвинул занавес и увидел мать. Райхон-биби, устроившись около ниши, готовила чилим для старухи соседки, забредшей спозаранок. Для соседки, впрочем, удобного и неудобного времени суток не существовало, она слыла самой пронырливой свахой во всем квартале и в любое время дня, водрузив на голову поднос с приношениями, разгуливала по дворам. Чилим был ее слабостью. Рассевшись против Райхон-биби, она уже запустила свою шарманку болтовни: начала со своего, внезапно одолевшего ревматизма, потом ловким маневром перевела речь на всяческие отрезы и наряды, что хранятся в сундуках для приданого, а тут уж один шаг до девушек, достигших совершеннолетия, до их семей, готовых отдать то-то и то-то, лишь бы...

Файзулла нарочито кашлянул, мать и соседка обернулись, ойкнули, увидев его, заторопились, засуетились, исчезли: сваха пошла прочь со двора, мать поспешила проводить ее...

Файзулла ушел переодеться, а когда вышел снова, мать уже накрыла свежий дастархан, разложила лепешки, халву, слоеные язычки, пирожки с тыквой, поставила сметану и села против его обычного места, по привычке подперев голову кулачком. Так они сидели каждое утро, пока Файзулла завтракал. Он сел есть, а мать следила заботливо и тоскливо, в глазах ее был вопрос. «Что с тобой снова?» — казалось, вопрошал ее взгляд.

— Сегодня опять я не спала ночью, сынок, молилась, чтоб аллах даровал вам терпение и прозрение...

— Напрасно, мама, в душу мою и так приходит порядок. Слава аллаху... Это после смерти отца тьма втянула меня в свою пасть, и вы были в трауре. Оттого и впал в излишнее смирение...

— Тихая жизнь всегда была вам в тягость. О какую стену ударитесь вы теперь?..

— Ну, это мы увидим! — Файзулла засмеялся. — Чего в Бухаре хватает, так это стен! Улиц, улочек, тупичков... А вообще, как говорит Захреддин-махзум, жизнь представляет собою цепь разбитых надежд!

— Ох, сынок, часто вы стали поминать этого Захреддина, уж не наставник ли он ваш новый?.. Нельзя ведь увязываться за каждым, кто сказал что-то заманчивое, будьте осторожнее, дитя мое!..

— Ну, у этого-то человека ум ясный, айи! — Файзулла вытер полотенцем тонкие свои губы, над которыми, заметно чернея, пробивались уже усики. Вместе с ним мать прочитала молитву над дастарханом. Оба поднялись.

— Не думайте, сынок, что я не понимаю, — сказала Райхон-биби. — Я же вовсе не хочу, чтоб вы, как девица какая, засиделись дома. Наоборот! Истинный джигит живет людскими заботами, разделяет и радости людей, и беды их. Ищите свой путь, ищите, только вот эти ваши нынешние, эти эфенди... не нравятся они мне, и, сдается, они сами друг другу не нравятся, все косятся друг на друга..

Умница мама, умница!.. Он прижался к ней, прощаясь. Надо же, в точку попала, какое простое слово нашла для того, что неосознанно смущало его и чего он сам не мог выразить, вычленив изо всей смуты своих размышлений!.. «...сами друг другу не нравятся...» — мысленно повторил он с удовольствием, уже шагая по улице. Именно! Как же это, одним, общим делом заняты люди столь разные, и не только характерами, нет —

устремлениями, интересами... Он почувствовал себя легче, бодрее, даже воодушевление почувствовал, будто вынул старую занозу: слово нашлось!.. Конечно, это вовсе не сводит на нет самого дела; если делать его честно, бескорыстно... самоотверженно...

Утро сегодня было по-весеннему теплое, хотя до весны месяцы оставались. Реденький туман поднимался от земли, словно рассеиваясь, а на деле заволакивая округу и закрывая небо; солнце смотрит как сквозь кисею, воздух насыщен влагой. Миновав базар для пряжи, Файзулла направился в сторону Оружейных куполов. Где-то за ними в доме учителя предстояло сегодня собрание, на которое пригласил его Захреддин. Учитель встречал гостей у ворот дома рядом с кузней, он узнал Файзуллу, проявив крайнее почтение. Файзулла тоже его знал, правда, больше понаслышке. Этот человек с подстриженными усами, по имени Парсоходжа, был известен своим увлечением арабистикой и вообще изящной словесностью. Дом его, довольно неказистый снаружи, внутри выказывал признаки достатка; собрались все в большом квадратном зале, где единственная колонна в центре поддерживала крестообразно положенные балки потолка. Оказалось, все уже в сборе, Файзулла пришел последним, сопровождаемый хозяином.

Человек десять знакомых и незнакомых поднялись с места в знак приветствия, и Захреддин-махзум, то ли решив, что молодого гостя нет необходимости представлять, то ли сделав это заранее, просто указал ему на почтное место рядом с собой в глубине комнаты. Файзулла поздоровался, сел, искоса оглядел присутствующих и заключил, что его приход стал причиной некоторого оживления и волнения. Кроме Захреддина, муллы Ахада и хозяина здесь оказался еще один знакомый — Садир-макарджа. Этот купец, ходивший всегда в мелкостеганом чапане и в феске без чалмы, совершил однажды поездку в Россию и побывал на знаменитой Макарьевской ярмарке, откуда и происходило его прозвище «макарджа».

Впрочем, приглядевшись, Файзулла узнал еще двух: Тукли-охотника, могучего с виду парня, он и в этом холодном зале сидел в легком халате: и еще желтобородого человека по имени Салихджан. Тукли был известен скорее не сам по себе, а как сын знатока и ценителя драгоценных камней, владельца немалых земельных на-

делов; Тукли, правда, кичился своим происхождением — он, по его словам, происходил из аристократического рода барласов, — но в остальном был человек открытый, без особых предрассудков и собеседник приятный. Зато о Салихджане мало что знали; поговаривали, что он родом из Ферганы. Он снимал комнатушку в квартале Гавкашон, был прихвостнем муллы Ахада, открыто прислуживал ему и всем в его компании, встречал восторгами чуть не каждую его фразу. При случае мог спеть, выстукивая дробь на пиале, подоткнув за пояс полу не первой свежести халата и сдвинув набок тюбетейку с цветной каемкой.... Сейчас именно он и принялся расстилать большой дастархан и расставлять подаваемые кушанья. А мулла Ахад тем временем разговорился с таким видом, словно и был хозяином дастархана. Возможно, он продолжил тему, начатую еще до прихода Файзуллы, или Файзулла, разглядывая гостей, пропустил начало его речи, но прислушался он, лишь когда Ахад заговорил об эмире.

— На наше счастье, — говорил мулла Ахад в своей обычной грубоватой, напористой манере, — сам эмир Алимхан — человек высокопросвещенный, образование в Петербурге получил. Общим своим указом он положил начало многим реформам!.. Запретил давать придворным взятки под видом подарков — раз. Уменьшил налог с проселочных дорог — два. Другие налоги снизил — три. Увеличил жалованье сарбазам¹, военачальникам — четыре. Отменил помесячные взимания — пять... Все это радостные предвестия, уважаемые эфенди. Это начало нового... Да ведь в чем беда: ни в Хисаре и Каратегине, ни в Кулябе и Дарбазе еще и ведать не ведают об этих реформах! И подарки берут по-прежнему, и налоги взимают, как раньше... Наш долг, уважаемые эфенди...

— Наш долг, почтенный мулла Ахад, — вдруг перебил его, глядя вниз, Парсоходжа, — не воздавать хвалу высшей знати, а стремиться к искоренению предрассудков, невежества... и прежде всего в наших школах.

Он сказал это очень тихо, но все услышали, в том числе и сам мулла Ахад, и в зале, только что звеневшем от его голоса, наступила вдруг тишина. Впрочем, Ахада это смутило ненадолго.

¹ Стражники.

— Но я вовсе не хвалу возношу, уважаемый домла, я перечисляю факты!.. И продолжу, с вашего позволения: Насрулла-кушбеги сейчас как раз и проводит реформы в медресе. Введено жалованье и в школах — преподавателям богословия, художественного чтения, каллиграфии, арифметики. На все это дано уже высочайшее разрешение! Вы забываете, что во время предыдущего правления были запрещены даже татарские школы, вверенные русской администрации!..

Он замолк, может быть, просто чтоб перевести дух, но тут вступил Захреддин, лицо которого покраснело от раздражения:

— Насрулла-кушбеги вместе с самим его высочеством эмиром и имамом Кулибеском развлекаются перепелками, втайне предаются разврату, им до нужд народа и дела нет, а вы их нам восхваляете как просветителей!..

— Уж известно: каждую ночь тратят на свою похоть столько, что две школы можно содержать, — густым басом, разбудившим эхо в углах зала, сказал Туклиохотник.

Мулла Ахад промолчал.

— И мы, — сказал Захреддин, — мы не ограничимся тем, что выступим против мерзостных нравов и расточительства... — казалось, он сам себя прервал на этом, не решаясь сказать больше. Но и этого было достаточно, все уставились на него с удивлением и опаской. Напряженную паузу прервал Салих, который внес исходившую ароматным паром шурпу в больших мисках.

— Кушайте, прошу! — сказал Парсоходжа, приглашая всех, и обратился к Захреддину: — Мой эфенди, покончить со своеволием, с этим мнимым всезнайством в наших школах и медресе — первейшая наша обязанность! — он не то вернулся к теме, которую прежде начал, не то старался вернуть махзума на рельсы умеренности. — Сколько в наших медресе развелось мулл-недорослей, толкующих вкривь и вкось предания о пророках! Чуть не каждый, отставив книги, преподает по собственным комментариям, которыми заполнил пустые поля! Но самое безобразное, самое кощунственное: Шамсуддин-мавляви сделал свои комментарии обязательным для изучения предметом! Так скоро не останется ни времени, ни места для преподавания других наук!..

— Истинную правду сказали, таксыр, истинную правду! — проворковал Салихджан, все еще сновавший с мисками, блюдами, пиалами.

Файзулла сидел и слушал. Ему хотелось уловить основную мысль, ухватить главный стержень разговора, то, вокруг чего вертятся мысли всех, и ничего не получалось. Каждый видел действительность в меру своего ума, широты своего кругозора, своего душевного мужества — одних волновали серьезные проблемы, других мелкие факты. Но все обеспокоены или встревожены, или возмущены тем, что творится вокруг. Все хотят что-то делать. Это уже немало. Файзулла не раскаивался, что пришел сюда. А Захреддин-махзум, тот Файзулле сегодня понравился. О чем он теперь скажет?..

Но слово взял Садир-макарджа.

— В «Молле Насреддине» недавно напечатали: «Даже бродячий бухарский пес обидится, если его назвать муллой!» — он снял феску и снова ее надел. — И наш почтенный хозяин прав: слишком много полуграмотных недоучек развелось в Бухаре. А ведь когда-то здесь жили такие люди, как Дакики, Наршахи, Бальгами. Сам Ибн Сино отсюда!.. Была в почете подлинная философия, истинно изящное слово. Любой образованный человек мог запросто поспорить об учениях Сократа, Афлатуна и Арасту¹. А теперь? Эти имена и не произнесут-то правильно!.. Сплошное невежество! Где книжные базары? Где славные каллиграфы? Прежде высокородные правители сами не брезговали высоким искусством переписки книг... А нынче? Людей много — личностей нету... Где все это, о муллы мои, где?..

— Ах, верно говорите, таксыр, верно... — вздохнул Салихджан.

Файзулла глянул на Захреддина, ожидая, что он скажет, но тот истолковал этот взгляд по-своему.

— Уважаемые... у нас сегодня новый гость. Мне не хотелось бы, чтоб Файзулла-ходжа увидел в нас просто приятелей, собравшихся ради угощения и между делом болтающих о том о сем. Иные из нас лишь тем озабочены, чтоб дело ограничилось только просвещением. Положим, это и хорошо, что просвещение стало ядром наших действий... Но неужели мы этим ограничимся? Мы тут болтаем, хвалим благодетельные указы эмира, рассуждаем, как преподавать богословие, а тем временем по всей стране сдирают с народа шкуру. Посты кази и раиса, хакима и додхо, да и все прочие должности продаются, а купивший тут же нацепляет на чалму

¹ Сократа, Платона и Аристотеля.

эмирскую грамоту и отправляется в поход за «подарками для придворных», за податями, о каких подчас никто и не слыхивал и не вводил! Эта свора хуже ночных разбойников, ей-богу! От тех есть хотя бы замки, двери, дубины. А эти приходят среди бела дня, как завоеватели в собственной стране: плати — и не пикни! Кроме основных налогов теперь появились еще введенные эмиром подати на содержание водоносов, конюхов, музыкантов, писарей, ясаулов, придворных слуг и еще невесть кого... Я вам говорю, этим поборам конца нету! А кто не в состоянии платить, тех берут под стражу. Тюрьмы Балджувана, Ковалика, Каратегина переполнены. Сумму, которую железнодорожная компания выделила для оплаты рабочих на железной дороге, бек преспокойно положил в свой карман, а рабочих обрек на голод и холод. Кто попробовал заикнуться о плате, арестовали. И даже, когда все вскрылось, бека вместо того, чтоб наказать, повесили и отправили раисом в Шахрисябз!..

— Все от невежества, мой эфенди, — пробормотал Парсоходжа, — все от невежества... Если б... образование... — он явно чувствовал себя не в своей тарелке.

Захреддин опять не счел нужным обратить внимание на его отчаянный намек.

— Так ведь и с образованием то же, вы сами об этом говорили. Сколько раз новые школы то разрешались, то запрещались! И татарские школы... они-де под влиянием русских, и детям Бухары грешно их посещать! Может быть, вы забыли, как домлу Икрама, реформатора медресе, за то, что он отменил вступительный налог, выступил в защиту синематографа и в пользу мощения улиц, сослали в Пешку?... Нет, таксыр, дело образования — часть общего положения. И останавливаться на полпути нельзя. В эти дни такие вот собрания проходят по всей Бухаре. И надо объединиться, наладить материальную помощь нашим библиотекам, чтобы правдивое слово услышали и ремесленники, и мелкие торговцы, и бедняцкий люд, и даже женщины!..

Парсоходжа, побледнев, поднялся с места.

— Но в таком случае, таксыр... в таком случае к нашему делу примкнет разное отребье... разные смутьяны, которых и отцы родные стыдятся!.. Аллах милостив... и повелитель правоверных может нас пощадить... но русские власти в Кагане... их секретный отдел пощады не знает! Покайтесь, махзум-эфенди!..

Захреддин, чуть презрительно покачав головой и сурово насупясь, поднялся молча. Рядом с хозяином тоже молча поднялись мулла Ахад и Салихджан. Остальные в растерянности переглядывались, потом, молитвенно проведя руками по лицу, встали. Конец собрания вышел неожиданный, неприятный, без обычного оживленного переговаривания и прощальных слов. Получалось, их выпроводили. Хотя, казалось Файзулле, Парсоходжа этого вовсе не имел в виду...

Выйдя, Файзулла почувствовал себя совсем неловко. С кем пойти рядом?.. Он отнюдь не остался равнодушным. Конечно, по существу прав Захреддин, к тому же его, Файзулла, именно махзум пригласил сюда. Но он не должен был таким явным пренебрежением оскорблять хозяина... Пока Файзулла раздумывал, с ним рядом оказался Ходжи Сирадж.

Они не были знакомы раньше и представились друг другу. Им оказалось по пути — Ходжи Сирадж жил чуть западнее Газияна. Несколькими годами старше Файзуллы, он был тощ, с желтым, болезненным, но вместе с тем привлекательным лицом. Как узнал Файзулла из разговора, Ходжи Сирадж, еще недавно учащийся медресе, вынужден был оставить учение, чтоб прокормить больную мать. Потом присоединился к движению джаидов, теперь заведует библиотекой «Просвещение» и получает жалованье за счет взносов.

— Еще будучи в медресе, я слышал о вас много добрых слов, мечтал встретиться, вступить в беседу...

Речь у него была книжная, несколько не соответствующая его молодому возрасту. Да ведь это именно его прозвали «книгочий», вспомнил вдруг Файзулла. Теперь казалось, что это желтизна старых страниц и отсвет ночных свечей перешли на его лицо...

— Сегодня я был лишь покорным слушателем,— сказал Файзулла, приноравливаясь к его тону.

— Сегодня вообще... день, лишенный благословения...— Ходжи Сирадж глянул на темнеющее небо, на вспыхнувшие кое-где фонари под навесами ворот богатых домов и заговорил торопливо, точно боясь, что возможность побеседовать с Файзуллой-ходжой вот-вот исчезнет раз и навсегда.— Если вы пожалуете к нам в библиотеку, радость моя вознесётся до небес!.. Буду ждать вас в любой день, в любой час. Вы сможете у нас многое найти: от разных древних книг— и до свежих газет, где излагаются вольнодумные мысли...

— Богатая у вас библиотека?

— Мы стараемся заинтересовать молодёжь джадидскими изданиями. Раньше мы выписывали газеты и журналы из Стамбула, Крыма, Баку, Казани. Теперь, увы, средств на это нет. Ведь даже наше жалованье — от добровольных взносов... А ведь те, кого мы стремимся просветить, кто к нам приходит, люди не слишком состоятельные... сами понимаете... В этом году мы не смогли выписать даже журнал «Зеркало» из Самарканда... Тот, что издает Махмуд-ходжа-ишан...

На пыльной узкой улице с сырыми глинобитными заборами по сторонам было пустынно, они шагали прямо по колее, выбитой повозками.

— Знаете, — продолжал Ходжи Сирадж, — наши затруднения не только в этом. Я решил во что бы то ни стало сохранить наши редкостные книги... такие, как «Канон медицины» Ибн Сино, «Примечательные события» устода Дониша. Но помещение, где они хранятся, сырое, книги портятся... А ко всему этому, — тут голос Сираджа наполнился особой горечью, — за нами ведь неусыпно следят! И улемы, и придворные чиновники, и русская полиция. Да еще эти тайные осведомители!.. Многих из них мы, положим, знаем, но от этого не легче...

Файзулла взглянул на него искоса, стараясь, чтоб Сирадж не заметил его взгляда. Ластиковая чалма потерта, грязновата, шея тонкая, жалкая...

— А жалованьем своим вы довольны, Сирадж-эфенди?

— Ну, это не столь существенно, Файзулла-ходжа... Ваш покорный слуга свyksя с нуждой, я за любое даяние благодарю аллаха. Но вот с душевными муками совладать труднее. Да и болезнь матери меня согнула. Когда покидал медресе, решил освоить искусство врачевания. Увы, судьба превратна, не повезло мне... и желание мое не осуществилось, и сам потерял здоровье. Впрочем, это долгая история... когда-нибудь, если будет у вас время, я расскажу.

— Отчего же когда-нибудь, Сирадж-эфенди! Расскажите теперь, я не тороплюсь. Чем, кстати, больна ваша матушка?

— Ришта... Ришта, Файзулла-ходжа! Страшная болезнь, обитающая в Ляби-хаузе и грозящая всем в нашем городе! Несчастные, подобные моей матери, есть почти в каждом доме...

— В Ляби-хаузе?..

Где я это слышал, думал Файзулла. Говорил кто-то...

— Да, Файзулла-ходжа. Микробы ришты живут в воде хауза.

— Откуда вы знаете?

— Лет двадцать назад в Бухаре холера была, слышали, наверно?.. После того из Петербурга несколько русских врачей приехали, стали проверять скотобойни, мясные лавки, водоемы, каналы, канавы дренажные... Вот тогда и нашли в Ляби-хаузе микроба, который ришту вызывает. Они ходили по домам, объясняли, лечили... Но народ у нас темный, своей пользы не понимает, а про микробов они отродясь не слышали! Невидимое — значит, нету...

— Верят же они в духов, в шайтана, а ведь тоже не видели!

— Это другое, с детства вдалбливали... Ну, вот, с одним из русских врачей меня аллах свел: Ульян Владимирович Соломенцев. Святой человек, старик уже. Просвещал меня, учил — я тогда только из медресе ушел, может, и выучился бы чему-то, да не судьба была... Русских врачей выжили!

— Как выжили?..

— А так. Они требовали очистки всех зараженных мест... а эмир не хотел в расходы входить. Предоставил все молитвам улемов. Те решили: ежели микробы есть, то они твари божьи; уничтожить их — нарушить волю всевышнего! Великий грех... Русских врачей объявили «осквернителями веры», не давали житья... и царский посол посоветовал им немедля уехать. Так я своего учителя больше и не видел...

Да ведь про это Шульгин говорил, вспомнил вдруг Файзулла. Правда, приврал наполовину...

— И вы знаете подробности этой истории? — спросил он Сираджа.

— А как же. У меня и бумаги сохранились!

— Какие бумаги?..

— Ульян Владимирович однажды принес. На сохранение. Сказал, у него украсть могут. Да так и уехал, не забрал...

Вот это да, подумал Файзулла. Не чета всем пустым разговорам.

— Сирадж-эфенди, — сказал Файзулла осторожно, — не могли бы вы мне эти бумаги показать?..

— Да я их вам с собой дам. На такой случай и берег!

— А что там в них, не знаете?

— Зна-аю! Выводы работы комиссии... Прошу, Файзулла-ходжа, вот и мое жалкое пристанище!

Маленький дворик встретил их запахом кизяка и овечьих шкур. Айвана не было, они вошли прямо в дом, и Сирадж зажег лампу. Они были в комнатке с высоким потолком и высокими, до потолка нишами, полными пожелтевших книг и бумаг. В углу лежали обрезки кожи, книжные обложки, ножницы, нож, тиски. В холодном воздухе комнаты застарело пахло клеем и сыростью.

— От отца осталось,— сказал Сирадж, заметив взгляд Файзуллы.— Когда руки доходят, пропитания ради занимаюсь переплетным делом...— он достал из сундучка клеенчатый узел, перевязанный шпагатом, развязал, покопался и протянул Файзулле пачку пожелтевших бумаг.

— Спасибо!— сказал Файзулла. Он аккуратно сложил пачку и сунул за пазуху.— Будут целы! С божьей помощью, может быть, и пользу принесут... А теперь давайте попросим благословения вашей матушки!

Сирадж взял лампу, они вышли на улицу и вошли в другую дверь. В этой комнате было заметно теплее, чувствовалось, что под сандалом, накрытым одеялами, тлеют горячие угольки. Их приход и свет лампы, должно быть, разбудили больную, из угла послышался слабый голос:

— Будь благословен ваш приход, гость... Сынок, в сандале есть еще огонек, поставь кувшин с водой...

В полутемном углу лежала, казалось, кучка тряпья. Файзулла вгляделся. Крошечное, как у ребенка, высушенное тело старухи было прикрыто не полностью; из голеней и ступней словно вылезшие наружу косточки, виднелись тоненькие лучинки, обмотанные словно белыми нитками. На иссохшем, похожем на маску скелета лице читалось безграничное терпение. Файзулле пробрала дрожь; он сказал, что опаздывает, и поторопился выйти.

— Она принимает какое-нибудь лечение?— спросил он Сираджа, вышедшего проводить.

— За ней смотрит парикмахер Чары.

— Парикмахер?..

— Ну да, разве вы не знаете— этой болезнью занимаются парикмахеры... Тут у нас в парикмахерских часто висят связки высушенных червей ришты. Это

такая реклама: у кого связки толще, к тем больше народу лечиться идет. Каждые два-три месяца Чары приходит, наматывает червей из раны на лучинки. Если оборвется, останется в теле, беда, нога гнить начнет...

Файзулла почти бежал домой. Картина, увиденная в доме Сираджа, преследовала его, как кошмар. Он вспомнил слова библиотекаря: такие несчастные есть в каждом доме... Аллах великий, как же страшна их старая Бухара!

Райхон-биби, всегда с тревогой поджидавшая его, если он задерживался допоздна, вздрогнула от испуга, увидев его лицо. Он снял чапан, и тут плотная шелестящая пачка за пазухой напомнила о себе. Он вытащил ее, кинул в нишу. Зачем он попросил эти бумаги? Что ему делать с этим старым отчетом? У него вдруг появилось ощущение, что бумаги заразили его какой-то из страшных болезней, о которых говорили. Помыть руки и забыть это все и никогда к этому не возвращаться...

Нет, сказал он себе, уже лежа в постели. Бумаги-то старые, но та несчастная старуха мучается и сегодня. И тысячи других тоже. Бумаги-то старые, но все остается по-прежнему. Или он только красивые слова готов слушать да подбрасывать ловкие реплики, словно мелкие толики денежных подачек?.. Неужели на большее он не способен и останется навсегда пустым болтуном, не умеющим ничего сделать для людей так же, как и отцовское дело продолжить?.. Нет, он не позволит себе забыть об этом, да и не сможет забыть. Каждый водонос теперь покажется ему разносчиком беды. Страшная ризта въелась в тело благородной Бухары. Все в ней надо менять, все...

Со следующего собрания — в чайхане при лавке «Щедрость» — он возвращался вместе с Захреддином.

— Я слышал, — сказал ему Файзулла, — не хватает денег на то, чтобы выписать для библиотеки «Просвещение» газеты и журналы из Баку, Казани и Бахчисарая? Что вы скажете, Захреддин-эфенди, если ваш покорный слуга возьмет эти расходы на себя?

— Это было бы очень кстати, баймулла, — сказал Захреддин, не скрывая удовлетворения. — По правде сказать, мы рассчитывали на вашу щедрость, потому что с деньгами у нас довольно туго... Ваш взнос будет не просто щедрым жестом, но и выражением единодушия со всеми нами. Кстати, расходы на подписку для

библиотеки — не единственные, которых мы не можем оплатить. Есть и более важные. В Кагане, в типографии Хайдар-ходжи-бая, лежат новые учебники для джадидских школ, которые уже напечатаны и которые нам не на что выкупить...

— Я беру на себя расходы и по этому делу, Захреддин-эфенди, — сказал Файзулла.

— В таком случае, уважаемый, на следующем нашем собрании...

— Нет, нет, эфенди, не заставляйте меня краснеть перед собравшимися... Не надо ничего объявлять, просто дайте мне в помощь знакомых с делом людей, и мы всем этим займемся без шума.

— Ну что ж... Это очень скромно и благородно с вашей стороны. Что до людей, библиотекой занимается Ходжи Сирадж, типографскими заказами — Парсоходжа. Вы с ними знакомы...

Файзулла сам себе понравился в этом разговоре. Наконец-то он чувствовал себя участником дела! На другой день деньги были переданы. На учебники, оказывается, наложили арест за долги, а теперь Парсоходжа получил их, погрузил на арбу в Кагане и привез, оставалось распределить между учителями. Так же просто решилось дело и с подпиской. Несколько дней спустя Файзулла предложил деньги для издания нескольких брошюр, в том числе трактатов Дониша, Исмаила Гаспринского, Икрама-домлы. Молодежь общества смотрела на него с восторгом, среди городской интеллигенции только и разговоров было, что о Файзулле-ходже. В обеих библиотеках стало заметно многолюднее, «единомышленники» из числа тех молодых, что в отдаленных махалля, в скудных двориках учителей участвовали во всяческих собраниях-угощениях, теперь старались попасть на те большие сборища, где можно увидеть Файзуллу.

И Файзулла ощутил в себе уверенность, смелость. Пора было исполнить задуманное. Он положил себе, не оттягивая больше, сделать это на ближайшем собрании в библиотеке.

Там присутствовали почти все знакомые ему энтузиасты, в том числе Захреддин-махзум и мулла Ахад, Ходжи Сирадж, редактор «Бухорой шариф» Мирза Мухиддин, гость из Стамбула Салих-эфенди, Абдулахадкари из Гавкашона, учтивейший Бурхони Гулджалик и еще множество знакомых и незнакомых, среди которых,

как всегда, разнося чай и отпуская свои льстивые реплики, сновал Салихджан. Было шумно, дымно и так тесно, что насвай сплунуть некуда.

На Файзулле был сегодня легонький шелковый чапан; от огромной накрученной чалмы голова казалась чересчур большой. На его смуглом лице с пробивающейся бородой и усиками читалось не то волнение, не то нетерпение. На низеньком столике перед ним разложены были пожелтевшие бумаги из той пачки, что дал Ходжи Сирадж. Наконец после нескольких выступлений он взял слово.

В сущности, он еще не выступал никогда на этих собраниях. Но в последнее время о нем — его щедрости, размахе, уме — так много ходило толков, что, едва он встал, воцарилась мертвая тишина. Даже Захреддин — Файзулла отметил это краем глаза — смотрел с величайшим вниманием, слегка приоткрыв рот.

В первое мгновение Файзулла слегка волновался, но потом собственный рассказ захватил его. Он начал безо всяких предисловий и коротко рассказал историю русских врачей. Потом, не говоря, откуда у него бумаги, принялся переводить самые важные места отчета. Картина, которая вырисовывалась, выглядела кошмарной, неправдоподобно ужасной. Но каждый из сидящих в зале библиотеки сам знал, видел какой-нибудь уголок этой картины, и сомнений она не вызвала, напротив, ошеломила всех цифрами и общей своей бесприсветностью. Все слушали молча, потрясенные.

— Такие дела, уважаемые! — заключил Файзулла. — Хотя эти цифры и факты записаны несколько лет назад, они, сами знаете, нисколько не устарели. Ничего не изменилось! Те же зловонные скотобойни, те же заразные водоемы, каналы, места омовения, где кишат микробы. Отсюда разносятся по городу новые и новые болезни, и в каждом бедном доме лежат долгими годами страдалыцы, умоляющие бога послать им смерть. Но мы же не дикари какие-нибудь, не животные, не язычники, не кочевники — мы народ, имеющий свое древнее государство! До каких же пор мы будем такое терпеть? До каких пор позволим позорить себя перед другими странами? На что мы похожи в их глазах, если чужие врачи и ученые, подвергая себя опасности, приезжают, чтобы спасти нас от страшных недугов, а мы вместо благодарности издеваемся над ними и в конце концов выгоняем вон?! О каких других благах

стоит вести речь, если мы не умеем ценить даже собственные жизни?!

Вскочил какой-то молодой учитель.

— Это дело надо поднять заново! — закричал он. — Пусть правительство эмира выделит деньги, чтоб избавить нас от заразы!

Парсоходжа, поспешно отвернув край паласа и сплюнув насвай, ответил:

— Есть указ улемов, наши руки связаны, молодой эфенди!

Садир-макарджа поднялся, по обыкновению сняв и тут же надев феску.

— Знаем, знаем, таксыр! Болезни — от бога, голод — от бога, глупость — от бога, микробы — тоже божьи творения... Остается только вытянуть ноги и покорно ждать смерти. Ведь смерть — тоже от бога. А правительству этот указ улемов очень кстати! Заплатить за такой указ куда дешевле, чем заняться оздоровлением города... Дешевле и проще!.. Никаких хлопот...

— Зато вам легко говорить, собрат мой! — сказал Парсоходжа раздраженно. — Заплатить за указ... Нельзя по любому поводу оскорблять правительство и служителей бога...

Тут уже и Тукли-охотник не стерпел. Он сидел с краю, попивая чай и обливаясь потом, а теперь вскочил, вырастая над собравшимися всем своим огромным телом.

— Что это вы, таксыр, столь ревностно печетесь о престиже правительства и улемов?.. Разве мы для этого сюда собрались?.. Пусть они о своем престиже заботятся сами! А вы лучше вспомните, как во времена эмира Абдулахада, когда на поля Пешки и Керки напала саранча, улемы заявили, что и «саранча — божье творение», и запретили жечь ее. И эта зеленая напасть изглодала, пожрала все сады, посевы... Сколько народу с голоду поумирало!

Он сел и снова взял пиалу, а позади него поднялась грязноватая чалма Ходжи Сираджа.

— Это правда! — сказал он. — В тот голод умер и мой отец... Но я хочу сказать другое: по тому же поводу, что и русские врачи, был когда-то обвинен Ибн Сино. Этому великому целителю говорили, что бог, давший недуги, сам их излечит, а Ибн Сино, вмешиваясь, совершает богохульство. И его, и Шайхурраиса, благороднейшего из ученых, называли неверующими, кяфирами!..

Кто теперь посмеет сказать что-нибудь подобное?
Впрочем, он и сам ответил прекрасно:

Чтоб дух мой выразить — мой дар мне свыше дан.

А совести моей не надобно румян.

Ислама суть и власть я подкрепляю знаньем,

*И если я кяфир — нет в мире мусульман!*¹

В зале зашумели:

— Прекрасно! Прекрасно!

Многие и прежде знали это рубаи, но лишь теперь поняли, в кого оно метит.

Садир-макарджа снова поднялся.

— Уважаемые! Уважаемые! Тише... Пусть Файзулла-ходжа выскажется до конца!

— Да! Конечно! Пусть выскажется...

Файзулла сложил документы пачкой и поднял над головой.

— Прежде всего этот отчет надо через газету довести до сведения людей, всего населения! А потом — с соответствующим комментарием — направить их его величеству эмиру Саиду Алимхану и послу России в Бухаре господину Мюллеру!..

Раздались шумные крики одобрения, а когда они начали стихать, негромкий чей-то голос спросил ядовито:

— А от чьего имени?..

Голос принадлежал ходже Захреддину.

После мгновенной паузы зал снова взорвался:

— Ка-ак?!

— Как от чьего?..

Ходжа Захреддин, который сидел до сих пор и хмуро, теперь, подняв голову, оглядывал зал.

— А так! — сказал он. — От чьего?.. От нашего? А кто мы такие? Представители народа? Он нас не уполномочил! Или мы знатоки, врачи? Мы никто, господа. Ник-то!.. И все это пустое, вся эта наша говорильня. Чтобы совладать с болезнями и эпидемиями, так же как и с невежеством и нищетой, надо сперва покончить с главными, истинными микробами! Избавиться от злобных улемов и ненасытных эмирских чиновников. Наши враги — это они и есть: страшные микробы в обличии людей!..

¹ Перевод А. Наумова.

Такая тишина на это ответила, точно весь мир оглох. Или будто все ждали, что следом раздастся уничтожающий взрыв. Все сидели недвижно, не глядя друг на друга. Наконец кто-то не выдержал.

— Боже спаси и помилуй! — тихонько выдохнул панический голос.

Первым поднялся Абдулахад-кари, он встал, отрянул полу своего чапана и направился к выходу. За ним двинулись Бурхони Гулджалик и Салих-эфенди в красной феске. Потом встал, словно опомнившись, Парсходжа; обратившись к своему соседу в огромной чалме, он пробормотал:

— Как бы не пропустить полдневный намаз, таксыр, грех ведь... — и тоже вышел.

В несколько минут читальня опустела. Оставались только Садир-макарджа да Тукли-охотник, сидевшие на циновках, скрестив ноги и уставясь в пол, да еще Ходжи Сирадж, стоявший у дальней стены. И, конечно, Захреддин-махзум, он сидел с пиалой в руке, вид у него был невозмутимый, точно не он причиной всего.

— Таксыр, — сказал Файзулла, набычившись, — уже не в первый раз в моем присутствии вы высказываетесь так, что срываете собрание... Может быть, вы делаете это нарочно?

Захреддин взглянул на него с мрачной и издевательской усмешкой.

— И зачем же мне это, по-вашему, нужно?

— Ну... может быть, затем, чтоб нанести вред... сорвать все наше движение!..

— Во-он в чем вы меня подозреваете, байвачча!.. «Наше движение»... Вы, однако, быстро освоились... Оно и понятно: кто платит, тот и музыку заказывает!

Файзулла покраснел.

— Дело совсем не в этом... И вы это прекрасно знаете, таксыр! Но объясните тогда, зачем, пока цель наша — объединить, сплотить, привлечь, наконец, людей, вы их сознательно отпугиваете такими резкими... такими опасными словами?

— Это всего только вывод из ваших фактов!

— Но выводы можно делать разные и по-разному...

— К этому выводу рано или поздно придут все умные люди. Пусть привыкают!

— Именно: надо им дать привыкнуть, а не оглушать неожиданно такой политической дубиной! А теперь что? Все разошлись, и многих больше сюда не заманишь...

Вы умный человек, таксыр, и я не могу поверить, что сделали это просто по недомыслию...

Захреддин снова издевательски усмехнулся.

— Благодарю за комплимент... Вы не можете поверить просто потому, что сами так же боитесь правды, как все эти разбежавшиеся! — он повел рукой, показывая на зал. — И почему только вы не сбежали вместе с ними? А, тоже понятно: за спиной у вас все-таки деньги... не так страшно!.. Ну, а я вот вообще ничего не боюсь! — и он добавил с явной злостью и с непоследовательностью, которую, впрочем, Файзулла заметил, лишь когда потом прокручивал в памяти весь разговор: — Голому, байвачча, дождь не страшен. У меня нет миллионов, которые я боялся бы потерять!..

Файзулла точно оглушило. И он слышит это от человека, которому поверил, ради слов которого пришел сюда, влез в это дело! Издевательское это «байвачча»... Он не нашелся, что сказать в ответ, точно его уличили в миллионах, как в некоем постыдном грехе. Не глядя больше ни на кого, оскорбленный, яростный, униженный в своем обманутом доверии, обиженный почти до слез, он выбежал вон и зашагал стремительным шагом, почти бегом, в сторону Газияна, к дому.

Лето 1914 года затянулось. На календаре осень, а на небе все ни облачка, нестерпимый пыльный зной не отпускает ни на час. Файзулла, измотанный жарой, забросивший дела, в последние дни нет-нет да и вспомнит зеленый кишлак в Ромитане времен его детства.. Но благостные картины сразу сменяются в памяти другими: высохшие деревья, занесенные песками дворы... Чем-то заняты сейчас его дяди — Шахабиддин, Нуриддин Кушмак, Шоди, рябой Хамза? А бедняга Муминшо?.. «Да, — вспоминает он слова Хамзы, — пока город не загорится, кебаб дервиша не изжарится! Занесло нас песками, вот и научились ремеслам...»

С тех пор прошло два года без малого. Теперь им, наверное, совсем туго приходится — ко всему прибавилась война с Германией, которая и здесь, на другом конце света, дает себя знать. В Фергане и Самарканде, говорят, стали поголовно брать в мардикеры¹... Никто

¹ *Наемные сельскохозяйственные рабочие.*

здесь не может понять: к чему белому царю истреблять столько народа?..

Однажды в сумерки, после предвечернего намаза, к нему пришел Ходжи Сирадж.

— Махзум вас просит! — сказал он после приветствий. — Очень срочно! Собрание чрезвычайной важности!..

— Махзум? Срочно?.. — переспрашивал Файзулла. Он сразу решил, что никуда не пойдет, а глаза его меж тем обшаривали комнату в поисках брошенных вчера как попало сапог.

— Очень срочно! — повторил Ходжа Сирадж. Он в нетерпении потирал свою тонкую шею. Файзулла натянул сапоги. Мгновение спустя они шагали по улице.

— Зачем же он меня зовет? — спросил Файзулла. — И... настроение-то у него какое?..

Ходжи Сирадж понял.

— Не беспокойтесь, не обижаются они на вас, не такой человек... — он помедлил. — А все-таки вы, Файзулла-ходжа, напрасно им тогда наговорили.

— Напрасно?..

— Напрасно!.. Я уж знаю.

— Что знаете?..

— Да ведь махзум в тот день письмо из кишлака получил!

— Письмо? Какое письмо?

— Страшное! Их почтенные родители, можно сказать, слезами кровавыми писали. Махзум сидел, обуздывая свое горе, а вы не учуяли...

— Да какое же письмо, Сирадж-эфенди?

— В их кишлаке смутьяны убили хакима... хакима Каратегина! Четырех человек из кишлака схватили и казнили.

— И что же?..

— А то, что из тех четырех двое были единокровными братьями махзума, вот что!

Файзулла даже приостановился, точно его в грудь толкнули. Стыд какой! Как скверно вышло, аллах великий... Ну, почему, почему у него получается все невпопад!..

В зале библиотеки было, к его удивлению, полным-полно народу, так что многие не сидели, а стояли. Ни чаю, ни лепешек. И Салихджан не сновал меж гостями, а стоял у входной двери, словно на страже. Файзулла шел сюда и раздумывал, как поделикатней

извиниться перед махзумом, но, войдя, увидел, это было бы излишне. Махзум, очень серьезный и одетый на сей раз весьма обыкновенно, стоял у противоположной входу стены лицом к собравшимся; рядом с ним, укутав свое щедрое тело в чапан, горбился Парсоходжа. После того как вошли Файзулла с Ходжи Сираджем, а следом еще несколько человек, Захреддин решил начать и сделал полшага вперед.

— Уважаемые! — сказал громко и кашлянул. — Мы созвали вас так срочно, ибо получили весьма невеселые новости. Кази-калян Бурхониддин, воспользовавшись тем, что его величество эмир отправился к белому царю, снова принялся за школы. Выдавая муху за слона, а циновку за купол, он направил Насрулло-кушбеги послание «о вреднейшем влиянии джадидов», где предложил все школы закрыть. И теперь Бобобек-ясаул, присовокупляя всяческие угрозы, требует, чтобы все преподаватели школ дали подписку в том, что «не будут учить». Да, да, так он и сказал. Давайте же держать совет, что нам делать...

Собрание растерянно молчало. Захреддин выждал, переводя взгляд с одного лица на другое.

— Та-ак! — сказал он наконец. — Молчите!.. А ведь сколько среди вас было таких, что говорили: наше главное дело — школы, не надо заниматься ничем, кроме реформы школы... школы, школы, школы!.. Так вот теперь речь идет именно о школе! Где же вы, поборники просвещения? Язык проглотили?! — Он повернулся к Парсоходже. — Вот хоть бы вы, домла? Что вы скажете?..

Парсоходжа побледнел и как-то съежился. Он раздвинул было губы, но, явно не решаясь ничего сказать, снова закрыл рот. И тут кто-то из молодых учителей в зале крикнул:

— Не будем давать подписку!

— Не будем! — поддержали его еще два-три голоса.

Парсоходжа поднял руку.

— Дорогие! Уважаемые!.. С учителями школ вообще — это одно дело... но у членов нашего общества есть высочайшее разрешение их величества эмира! Мы...

Кто-то из зала прервал его:

— У школ тоже было разрешение!

— ...мы, — продолжал Парсоходжа дрожащим голосом, — должны дождаться возвращения его величества из поездки, а тогда...

— А тогда, — громко перебил Захреддин, — от школ уже и следа не останется!

— Правильно! — крикнул тот же, первый молодой учитель. — Не дадим подписки!

— Но ведь... если не дадим подписки... Бобобек-ясаул всех нас по одному кинет в тюрьму! — Парсоходжу просто дрожь била.

— Позвольте, домла! — сказал Захреддин. — Вы сказали, у членов нашего общества есть высочайшее разрешение... Зачем же нам давать подписку? — он подождал ответа, но Парсоходжа промолчал. — Или, может быть, вам известно, что это разрешение дали только для отвода глаз? Чтоб поссорить нас с остальными?..

— Вы... вы снова бросаете тень... на придворные круги! — еле выговорил Парсоходжа.

— О! Самое время защищать придворных!.. — Захреддин повернулся к залу. — Знайте, уважаемые!.. — тон его утратил сардонические нотки, стал жестким, отрывистым. — В Каратегине мятежники зарезали хакима. В Чиракчи забросали камнями казначея. В Чарджоу подожгли амбары Арабова. Голодный народ поднимается всюду. Бобобек послал против него аскеров. Если проявим послушание, не встанем ли в ряды карателей, что заносят сабли над сиротами и вдовами? Не обагряйте руки кровью народной... Подумайте, на чьей вы стороне, братья!

— Правильно! Не подпишем! — закричали из зала.

— Это нам оскорбление!

— Глумление!..

Кричали, конечно, не все. Те, что были несогласны с Захреддином, просто помалкивали. Гвалт, то затихая, то вспыхивая вновь, продолжался почти до полуночи, но толком так ничего и не решили. Стали расходиться, еще продолжая спор и перебранку, но, едва услышав в темноте трещотку ночного сторожа, сразу переходили на шепот.

— Йе, такой бурной ночи не было в Бухаре от сотворения мира! — сказал кто-то, обгоняя Файзуллу. Файзулла задержался у двери, ожидая Захреддина и Сираджа.

— Конечно, — сказал он Захреддину уже на улице, — если держаться за полу Парсоходжи, так и останемся ораторами без публики. — Он прервал себя, вспомнил: — Я должен извиниться за прошлый раз! Я не знал, что у вас такое горе, не почувствовал... — Захреддин только

кивнул молча, лица его в темноте не видно было. — Но вы, махзум, и сегодня вышли за рамки! Так мы не добьемся единства! Никогда!

— Только так, — сказал махзум. Тон у него был спокойный, сдержанный. — Ну, да ладно, слишком поздно для такого разговора...

Этой ночью Файзулла почти не сомкнул глаз, все думал, думал. Но последние дни приносили новые поводы для бессонницы, новости одну хуже другой. Джадидские школы действительно закрыли. Запретили газеты «Бухорои шариф» и «Туран». Эмир, вернувшийся из поездки с новыми дарами и наградами русского царя, объявил дополнительный военный налог. И смута охватывала эмират все сильнее. Спокойствию в городе тоже конец приходил. У редких прохожих на улице вид был какой-то напуганный.

Придя в библиотеку «Просвещение», Файзулла застал там одного Сираджа. Тот пожаловался, чуть не плача.

— К нам не ходят! И друзья наши перестали появляться...

Значит, и собраний не будет больше!..

Однажды он встретил на улице Парсоходжу. Тот, всплеснув руками, кинулся ему навстречу.

— Слава аллаху, вы живы-здоровы! А я так беспокоился...

— А что случилось, домла?

— Как? Вы разве не знаете?! — и домла, оглянувшись и ухватив Файзуллу за рукав, стал ему шептать на ухо: — Арестовали ходжу Захреддина... Да, да, мулладжан, со дня на день хуже!.. Захреддина и еще нескольких.

— Боже мой, какая беда!.. А кого еще?

— Еще Садира-макарджу, Тукли-охотника... двух других вы не знаете... Остальные так-сяк, но бедняга махзум... его кинули в яму, в клоповник... Ужас, мулладжан...

— Но за что, таксыр, за что? — спросил Файзулла, чуть не плача.

— Тсс... не спрашивайте, мулладжан, будьте благодарны судьбе, что вас не коснулось... Я очень беспокоился за вас... Слава всевышнему!.. Что стряслось, того не поправишь, но не унывайте совсем, наш кружок уцелел... если будем действовать с умом и осторожностью...

— Главное, с осторожностью, таксыр! — сказал Файзулла громко и горько. — Это теперь нетрудно, от неосторожных нас избавили...

— Тсс, баймулла, тише, ради аллаха...

— Ничего, ничего... Теперь вы снова начнете свою старую игру: реформа медресе, споры о толкованиях притч... Прекрасно и безобидно!.. Занимались бы этим в одиночку, таксыр, не обманывали и не отвлекали других от мужского дела!

— А вы-то, баймулла... — сказал Парсоходжа. Он тоже заговорил громче, но, скорее, не заговорил — зашипел: — Вы-то какое чудо хотите нам явить?..

— Никаких чудес... Я... я пойду к эмиру Алимхану! — Файзулла повернулся уходить.

— О-о... воистину смело! — с ядовитым подобострастием сказал Парсоходжа ему в спину. — Кому же и творить подобные чудеса, как не сыну почтеннейшего... славнейшего...

Файзулла ушел не дослушав.

В тот же день к вечеру ему встретился Ходжи Сирадж.

— Я вас караулю, баймулла! — сказал он. — Слава богу, встретил... Вы ведь знаете про аресты?

— Знаю.

— А еще... говорят, вы собираетесь идти к эмиру?

— Собираюсь... Но кто это говорит?

— Умоляю вас, таксыр... будьте осторожны... аресты продолжаются... среди нас полно шпионов.

— Так уж и полно!

— Да, таксыр... некоторых я знаю наверняка. Салихджан... и мулла Ахад...

— Не может быть!..

Ходжи Сирадж печально покачал головой и попросился.

Файзулла, глядя вслед, видел, как шагает «книгочий» — тощий, сгорбленный, как старик, от вечного сидения над страницами, с худенькой, цыплячьей шейкой, сзади едва видной, по щиколотку утопая в пыли своими стоптанными сапогами... Острая жалость пронзила Файзуллу. Почему он ему денег хотя бы не дал в свое время? Впрочем, себе Ходжи Сирадж и не взял бы, наверное. Пришел предупредить, а ведь сам, наверное, по острию ножа ходит... Ходжи Сирадж дошел до поворота улочки, скрылся.

Больше Файзулла его никогда не видел — на завтра «книгочия» арестовали. Узнав об этом, Файзулла решил твердо — идти к эмиру.

Файзулла прошел в Арк через ворота Алаффурушон, открытые только для дворцовой знати. В длинном проходе цитадели мерцали на стенах огоньки, традиционно возжигаемые в летнюю пору в честь святого Сиявуша. Начальник дворцовой стражи сразу узнал его, и весть, что «соизволили пожаловать Файзулла-ходжа, сын Убайдуллы-ходжи», по цепочке, из уст в уста, вскоре достигла ушей его величества эмира. Файзулла нигде не задерживали.

Он не бывал здесь со времен раннего детства, но чувствовал себя привычно. В пурпурном чапане и круглой собольей шапке, твердой, прямой походкой, сохраняя высокомерный вид, он быстро шагал по квадратным, так называемым мусульманским кирпичам длинного пандуса. Миновал монетный двор, резиденцию диванбеги. Впереди виднелись сверкающие башенки главных ворот. Внизу, под этими воротами, и находились самые страшные подземные казематы, где заживо замуровывали узников. Как раз под этими сияющими башенками... Там, может быть, и находятся сейчас Захреддин-махзум и Ходжи Сирадж! Он поймал себя на том, что замедлил шаг и чуть сгорбился. Нет, расслабляться нельзя и никому тут нельзя дать почувствовать своего волнения. Он ведь как раз достиг приемной...

В приемной, сооружении наподобие шатра, находилось много людей в златотканых чапанах и огромных белоснежных чалмах — именитейшие лица эмирата. Со времени возвращения эмира из Петербурга, где он в благодарность за помощь русскому императору в ведении войны был пожалован званием полного генерала русской армии, вся эта пышная толпа по утрам ожидала приема, приготовив шкатулки и мешочки драгоценных подарков. Они по-своему расценивали то, что Файзулла замедлил шаг, и ожидали выражений почтения. Файзулла их просто не заметил. Он думал о предстоящем разговоре с эмиром.

Долго ждать его не заставили. Высокий солдат-охранник в черном кавказском чекмене со сборками в талии и патронташами на груди, положив одну руку на витой серебряный эфес сабли, другой открыл створку резной узорчатой двери и, слегка поклонившись гостю,

пропустил его, Файзулла миновал еще несколько дверей и охранников и наконец в небольшом полутемном помещении, обставленном по-европейски, увидел Саида Алимхана.

Не знай его прежде, он бы, пожалуй, усомнился, эмир ли это собственной персоной. Так как входить полагалось, не поднимая глаз, Файзулла обнаружил сперва посредине красного ковра ноги в блистающих хромовых сапогах офицерского образца; и, лишь поклонившись по этикету и подняв наконец взгляд, увидел небольшого роста человека, облаченного в русский военный мундир. Повелитель правоверных подражал Николаю Романову. Военная гимнастерка, такого же цвета брюки-галифе, уходящие в голенища сапог; на плечах пышные эполеты, на груди Георгиевский крест и еще какие-то ордена величиной почти в ладонь. Впрочем, португеза, сверкавшая золотыми пряжками, и сабля с золотым эфесом, в золотых ножнах лежали рядом на бархатном пуфике. Эмир был красив, тщательно подстриженные усы и борода густо чернели, глаза лучились радушием.

— Где же это вы пропадаете, байвачча, — сказал он просто, чуть хрипловатым голосом. — С тех пор как мы вернулись из Петербурга, здесь перебивалась чуть не вся Бухара... — добрым хозяйским или даже родственным взглядом он осмотрел Файзуллу с головы до ног. — Какой, однако, молодец вымахал! А ведь я помню вас малышом... мальчуганом! Ну, как здоровье ваше, как дела?..

Такой прием обворожил бы любого. Но Файзулла знал: эмир редко произносит так много слов подряд, не говоря уж о тоне; он немолод, хотя по виду этого никак не скажешь, медлителен и вовсе не так сердечен и прост, каким хочет сейчас казаться. Могущественный хозяин затеял с ним, Файзуллой, какую-то игру, но как узнать ее цель и правила?.. Файзулла снова склонился низко.

— Благодарю, ваше величество, аллах велик...

Охранник в чекмене внес на серебряном подносе две миниатюрные чашечки и кувшин, поставил на низенький столик перед эмиром.

— Вы уже научились пить-наслаждаться, байвачча, или?..

Эмир налил алой жидкости в обе чашечки. Аромат вина наполнил комнату.

— Простите, ваше величество, но я...



— Понятно, понятно! Не настаиваю...

Что, думал Файзулла, он хочет превратить этот прием в развлечение?..

— Но вы, — продолжал эмир с улыбкой, — еще и не догадались поздравить нас...

— Поздравляю вас с высочайшей милостью, о... — Файзулла запнулся на какой-то миг, эмир подсказал с тою же улыбкой:

— О мой повелитель... — Это выглядело так, словно он учит малого ребенка этикету.

— О мой повелитель! — повторил Файзулла, как эхо.

— Ну вот, мы уже немножко продвинулись... — эмир погладил свою обритую голову и устремил взгляд куда-то вдаль. — Помню, мы часто проводили время за шутками с вашим почтенным отцом, да пребудет в раю душа его... — Взгляд у эмира стал мечтательный. — А вы, вам года три было, забравшись вот сюда, говорили, что раз вашему отцу принадлежит пол-Бухары, вы тоже когда-нибудь будете эмиром... — Эмир засмеялся. — Очень забавно звучало! — добавил он, и что-то в последних словах насторожило Файзуллу. Он поднял глаза. Эмир смотрел уже вовсе не мечтательно, а весьма зорко, испытующе на него, Файзуллу. — Так что, — сказал вдруг эмир сухо, — вы и теперь не отказались от этого намерения?..

От неожиданности у Файзуллы екнуло и покатилося сердце. Вот оно!.. Нет, сказал он себе, возьми себя в руки, это все пустяки, та же игра на иной лад!..

— Ваше величество изволите шутить, — сказал он как можно спокойнее, — мне ведь уже не три года, и я понимаю смысл слов!..

— Однако, — тон эмира был все так же сух, — вы и ваши... приверженцы, так скажем... произносили и произносите множество слов совсем не к месту! Осуждаете нашу политику... Разве не так?

— Нет, ваше величество! То, что мы осуждаем — закрытие школ и преследование учителей, запрещение газет и журналов, — мы считаем самоуправством казикаляна Бурхониддина, а вовсе не вашей политикой!

— Допустим... — сказал эмир и улыбнулся, но улыбка вышла ненатуральная, словно ее приклеили в спешке и неровно.

— Я надеялся на аудиенцию у вашего величества, чтобы повергнуть к стопам покорнейшую просьбу разобраться во всем, что натворили в ваше отсутствие!

В тюрьме честнейшие люди, а иные воры и взяточники благоденствуют!..

Эмир все еще улыбался.

— Видите, — сказал он, — я был недалеко от истины, полагая, что вы готовы присвоить себе мои права! Ведь это я решаю, — он резко повысил голос, улыбка стерлась, — где честные, а где воры! Вы поняли, байвачча?..

Я понял, думал Файзулла. Все, что делается руками кази-каляна... и всех прочих... всех беков и хакимов, которые якобы превышают власть, крадут, выдумывают несуществующие налоги... все это делается с его ведома. Я понял...

— Я понял, ваше величество, — сказал он вслух. — И все же я осмеливаюсь молить вас: измените решения кази-каляна... разрешите вновь открыть школы и газеты... Будьте милостивы к арестованным учителям, может быть, они и заблуждались в чем-то, я не знаю, но они отнюдь не враги ислама и благородной Бухары!

Та же деланная улыбка вновь возникла на лице эмира.

— Мы вас помним десятилетним ребенком, — сказал он. — Увы — или к счастью! — вопреки нашим опасениям вы не слишком повзростели. Вам все кажется таким простым. — Он чуть понизил голос, как бы желая придать беседе особую доверительность. — Разве вы не знаете, что идет война? И что Турция участвует в военных действиях против российских войск?.. А кто такие ваши джаиды... ваши неистовые просветители... как не ярые поклонники и проводники всего турецкого?.. И не только в деле просвещения! Отнюдь! Вы думаете, император от этого в восторге?..

— Простите, ваше величество, но вы сами дали благословение деятельности их общества!..

Эмир посмотрел на него с некоторым даже сожалением.

— Дали, конечно... Такое общество весьма полезно, байвачча. Не будь его, смутьянов пришлось бы опознавать и вылавливать поодиночке!

Файзулла едва не задохнулся. Кем же он его считает — сосунком? Или дурачком? Или он так уж циничен, что даже не считает нужным скрывать свой цинизм?..

— Ваше величество хотите сказать, что в обществе есть... правительственные соглядатаи?..

— Ну, конечно, байвачча. Это само собою разуме-

ется. И знаете, кто эти соглядатаи? Да те же джадиды, которым вы верите. Они продают своих собратьев весьма недорого... Что вы хотите?! Эти босоногие из медресе, эти нищие учителя...

Вот к чему он вел: эти нищие — не ровня вам, наследнику миллионов... Ужасно, что все говорят одно и то же — и внизу, и наверху!

— Ваше величество, среди этих нищих я знаю благороднейших людей...

— Вот-вот! Благородные люди выслушивают ваши пылкие излияния, отвечают чем-нибудь в том же духе, а потом бегут к нам и докладывают обо всем, что вы сказали... Мы знаем все, решительно все, что вы говорили. И если вы сами вспомните, то поймете: только заслуги вашего покойного отца берегут вас...

Это было уже совсем прямо. Что ж, и на том спасибо!

— Итак, прощайте, байвачча, и подумайте! Как следует подумайте обо всем...

Теперь он окончательно одинок в мире. Сам себя вверг в эту геенну одиночества. С какой целью?.. Цель! Нет у него теперь никакой цели! А была? Была, конечно. Что-то звало, радовало, торопило. Вера... чистота души... просвещение... справедливость... Неужто все это мираж? Еще недавно казалось невыслышимым, что его дорога так внезапно повернет к пропасти. Что он окажется так одинок, без единомышленников, без друзей, без опоры... Может, лучше было сгнуться, как Захреддин-махзум: пострадать хотя бы ради собственных устремлений... Так нет, видно, и этого ему не дано.

С тех самых пор, как отошла весна, Файзулла спит на крыше. Там устроено нечто вроде громадного шатра, все устлано коврами, мехами, одеялами, уставлено низенькими столами, деревянными возвышениями для сидения и лежания, огорожено занавесками. Файзулла лежит, глядя на звезды. Если смотреть долго и пристально, и звезды, и все небо словно бы начинают плыть или, вернее, эта его спальня-шатер, будто управляемая парусами занавесок, плывет куда-то по небесному простору, полному звезд. Но на этой звездной дороге нет ни пристанища, ни маяка. Небо необъятно, но кому и для чего нужны в нем молодые неистраченные силы Файзуллы, достояние его и жизнь?..

Он вдруг подумал о Сирадже и устыдился. Может быть, представил он себе, к несчастному «книгочию» заглядывает в щель одна из этих бесчисленных звезд

и кажется воплощением счастья, символом недоступной свободы, самой жизни... Одна-единственная звезда из всех мириадов, открытых обзорению Файзуллы. И ее достаточно. Не странно ли, что лишенному всего малое может служить всем, а ему, у которого, кажется, все есть, это все не дает и не значит ровно ничего?..

Зачем она тогда, эта его жизнь, если не нужна ему самому?..

— Другим она нужна, детка, другим...

Удивительно, как просто умеет мама ответить на самые неразрешимые его вопросы!

— Значит, я обязательно должен быть вместе с кем-нибудь?..

— Ну, конечно, детка. Одиноким конь, говорят, не поднимет и пыли...

Это воображаемая беседа, но она родилась из тысячи реальных. Удивительно, стоит ему заговорить с анаджан или только представить себе ее, он уж знает, что она скажет ему. И подчас такое, до чего сам вовек бы не додумался.

— Если у тебя большая душа, напрасно щадить себя, сынок... Я уж смирилась. Ты родился с огнем в душе!

Мать отходит, отдаляется, и он воображает себя наедине с Захреддином-махзумом. В подземелье темно, сыро, спертый воздух; черная твердь земли нависает сверху, капают холодные страшные капли.

— Махзум, вы боитесь смерти?..

— Боюсь, Файзулла-ходжа.

— Почему же вы не попросите прощения, помилования?..

— Для этого у меня только одна возможность — предать других...

Смерть! Смерть! Могила!.. Холодное подземелье стремительно сужается, наваливается, тяжело давит на грудь, спину, голову, лицо...

— Но разве потом не будет все равно? Ведь вы не верите в рай и ад, правда?..

Махзум только пожимает плечами.

И растворяется. Исчезает.

Тьма. Летучая тьма. Он несется куда-то, легонько натываясь на сгустки этой тьмы, на маленькие, отскакивающие прочь звезды. Его трясет, толкает...

— Баймулла, баймулла! — шепчет чей-то голос.

Кто это? Кажется, это голос Муминшо... При чем тут Муминшо?

Его в самом деле расталкивают. И темный силуэт над ним шепчет голосом Муминшо:

— Вставайте, баймулла, вам нужно скорее... скорее!

— Муминшо... ты?!

— Я, баймулла.

— Да... откуда ты взялся?

— Тсс... пойдете скорей.

— Куда?

— После узнаете... Скорей, только тихо.

Файзулла тряхнул головой, стараясь сбросить сон. Натянул кое-как сапоги, встал, набросил на плечи чапан.

— Пойдете же, баймулла... да нет, сюда!

Файзулла собирался спуститься по ступенькам вниз, во двор, но Муминшо, вцепившись в него, повел к крыше кладовки. Оттуда слезли на крышу конюшни, где плотными, упругими связками уложено было топливо, гузапая — сухие стебли хлопчатника; потом спрыгнули на улицу. Раздался глухой звук, вздыбившаяся пыль ударила в ноздри.

— Да куда мы идем? — он попытался в темноте разглядеть Муминшо. Приятель подрост, вытянулся, подбородок, кажется, уже покрыт мягкой щетиной. И силен, крепок!

— Вам нельзя дома оставаться, на рассвете придут за вами...

— Да кто это тебе сказал?.. Пустое это!

— Да уж сказали. Не пустое, все точно... Сюда, сюда идите! Скорей, вот-вот светать начнет...

Пройдя мощеную площадь у Медресе Бедных, они углубились в узенькие улочки. Темнота перед рассветом сгустилась, но трещотки ночных сторожей уже смолкли. Нигде ни признака жизни. Они миновали поросший полынью пустырь — Воронье поле. Вошли в явно заброшенную усадьбу. Едва калитка отворилась, Файзулла очутился в объятиях какого-то огромного, тяжело дышавшего человека.

— Слава аллаху, племянник, слава аллаху! — бормотал он, прижимая Файзуллу к груди.

У Файзуллы на глаза навернулись слезы.

Это был дядя Шахабиддин. Отпустив Файзуллу, он сбросил с плеча тулуп, его громадное тело выпрямилось.

Поверх короткого легкого чекменя он был перепоясан крепким арканом.

— Вам надо скорей скрыться, сынок. Эмир приказал взять вас и кинуть в подземелье. На вокзальной площади караулят люди из «рус полис», а Салихджан-мирза, из ваших же, должен явиться к вам с подходцем, выманить на улицу, там... Как там сестра наша, бай-биби?

— Здорова, тога...

— Так, так...

— Тога, не может быть, чтоб эмир приказал посадить меня! Это ошибка...

Шахабиддин покачал головой.

— Не ошибка, сынок... у нас известия точные.

Файзулла присел на глиняный приступок, Шахабиддин тяжело опустился рядом. За спиной у них, в глубине двора, в доме, зажегся свет, там были еще люди. Файзулла глядел на дядю растерянно, вопросительно.

— Я тут не один, сынок... — сказал Шахабиддин, словно отвечая на молчаливый вопрос Файзуллы. — Мои друзья вас знают... и о вас тоже. Хватит вам метаться, мыкаться...

Кто-то мне уже говорил те же слова, думал Файзулла. Кто?.. А, да! Захреддин!.. Он болезненно сморщился.

Шахабиддин глядел ласково, с сочувствием.

— У вас хорошая голова, племянник... Стремитесь найти настоящую цель... а увязываетесь чуть не за каждым... кто думает лишь о своих мелочных обидах.

— Вы правы, тога, — сказал Файзулла. — Стыдно сознаться, но я ухитрился поверить даже вору...

— Это кому же?..

— Шоахсию-агляму!

— А, этому! Этого знаем... Да он не просто вор! Написал письмо эмиру афганскому... дескать, самый момент ему напасть и захватить Туркестан... и Бухару... мусульмане, дескать, его ждут... Теперь, говорят, рыщет по Джизаку, призывая начать газават... Везде старается заварить бучу... один свой грех другим прикрыть... и поживиться на бедах народных... Ничего, придет время, мы его... он ответит.

Они помолчали.

— Ладно, племянник, — сказал Шахабиддин, — над прошлыми делами не очень горюйте... думайте о завтрашних. Сегодня уцелели... и славу богу. Могли вас уже и схватить...

Как же это я, думал Файзулла, за два года ухитрился ни разу к ним в кишлак не съездить! Чем только ни занимался...

— Наши дядюшки и тетушки... здоровы?

— Здоровы, слава аллаху... Только Шоди-бедод... самый молодой... ушел из этого мира... — он вздохнул. — Да будет место его в раю!..

Файзулла вызвал было в памяти лицо Шоди... старообразное, с редкой бородкой... Оно мелькнуло и расплылось. Бедняга Шоди...

Свет позади них погас. Подошел какой-то человек, сказал: больше здесь нельзя оставаться.

— А куда теперь, тога?

— В Каган.

— А там что я буду делать?

— Что совесть подскажет. Найдете единомышленников... Лишь бы не ваших прежних трепачей... Да пока не в том дело... Пока что вас спрятать надо...

— В Кагане? Там же самое гнездо русской администрации!..

— Там есть и другие русские... увидите. — Шахабиддин поднялся, ушел ненадолго и вернулся со стареньким серым чекменем, поношенной шапкой, истрепавшимся поясным платком. — Переодевайтесь, — сказал он. — Из города я сам вас выведу... А дальше Муминшо... на него можно положиться... из-под жернова выйдет цел. Такой крепкий стал, смысленный... и лет ему всего ничего... а уже побывал в Ташкенте... в Самарканде...

Выйдя из переулка, они сели у поворота в ожидавшую арбу с плетеным кузовом. И от хвороста, которым выложен был кузов, и от арбакеша пахло ароматными дынями. Должно быть, недавно перевозили.

— Тога, — сказал Файзулла шепотом, когда арба, погрохотывая, тронулась, — вы сказали «есть и другие»... Не тот ли ваш ночной гость... чернобородый? Помните?..

Шахабиддин усмехнулся по-доброму.

— Как же не помнить!.. Нет, не он... Он теперь в Ташкенте... наши друзья его видели... недавно...

Они вышли из арбы у ворот Саллохона. В этой стороне жили большей частью кожевенники-евреи, специализировавшиеся на выделке особого сорта белой кожи. Они сторонились политики, им и без того доставалось. Наверное, потому и выбрали это место для выхода из города, подумал Файзулла, здесь безопасней! Хотя

дорога на Каган в противоположной стороне. Они спокойно подошли к воротам. Шахабиддин переговорил с заспанным привратником, и древние створки со скрипом открылись.

— Знаю, вы не могли проститься с матерью, детка, — сказал Шахабиддин, снова заключая его в могучие объятия. — Но не тревожьтесь... навещу ее... скажу, уехали по делам торговли...

— Спасибо, тога... — сказал Файзулла. На глаза ему навернулись слезы. — Я за дом спокоен... А вот скитания мои... кончились ли этим?

— Нет, — сказал Шахабиддин, положив ему на плечо свою огромную, тяжелую, как кетмень, руку. — Не кончились... только начинаются! — он отпустил его плечо, сделал шаг назад, оглядел племянника. — Все, Файзулла-ходжа... Ждите Муминшо здесь!

Файзулла глядел ему вслед, пока он, не оборачиваясь больше, шагал обратно к воротам. Шахабиддин исчез в них, минуту спустя древние створки со скрипом закрылись, щелкнул опустившийся крюк.

И тут же бесшумно появился Муминшо.

Они пошли пешком вдоль городской стены, держась от нее в некотором отдалении. Силуэт Муминшо, мелькавший впереди, в полусумерках казался еще более длинным. Как вырос и повзрослел его недавний мальчишка-друг!..

Впрочем, два года прошло...

На межах уже обозначились тутовые деревья, осенние поля дышали прохладой и ширью. Узкие улочки Бухары как-то сразу отделились, остались позади, словно их относило ветром. С ними уходило и детство, и нежная опека матери, и двухлетние его метания, поиски, заблуждения. Что будет завтра... нет, уже сегодня? Этого он не знал, но утренний воздух был благодатно свеж, бодрящ, контуры деревьев, холмов, домов в отдалении обрели четкость. Мир определился. А на горизонте, над черной полосой, накапливался алый свет, готовилось грядущее.

Рассветало.

1977 — 1979

О ЮНОМ ФАЙЗУЛЛЕ

Восемь лет назад Аскад Мухтар закончил свою небольшую повесть «Узки улочки Бухары», а русский читатель познакомился с нею недавно. Первый вопрос, который встает: насколько органично «вписалась» она в круг чтения? За журнальными публикациями следят нынче весьма пристально. Причем, как правило, реальные жизненные трагедии волнуют сильнее надуманных коллизий. За судьбой многих героев наиболее горячо обсуждаемых в этом году романов и повестей встает наша общая драма — и в «Белых одеждах» В. Дудинцева, и в «Детях Арбата» А. Рыбакова. Наверное, в этом же одна из причин успеха, которым пользуется повесть А. Мухтара «Узки улочки Бухары» в кругу узбекских читателей. Ведь ее главным героем стал человек, фамилию которого носят улицы в Бухаре и Ташкенте, государственный деятель, хорошо знавший Свердлова, Фрунзе, Куйбышева. Файзулла Ходжаев в 1920 году возглавил революцию, свергнувшую эмира в Бухаре, и вскоре стал председателем Совета народных комиссаров Узбекистана, одним из председателей ВЦИК СССР. В памятном миллионам семей 1938 году он был расстрелян. Потом посмертно реабилитирован, а в 1978 году в Ташкенте вышли три тома его выступлений и публицистики.

Для узбекского читателя Файзулла Ходжаев — национальный герой, легендарная личность. Но художественная биография этого замечательного человека до сих пор не написана. Начиная работу над повестью десять лет назад, когда многие произведения о сложных периодах нашей истории оставались в писательских столах без особой надежды на публикацию, А. Мухтар предпочел ограничить время ее действия 1912—1914 годами. Он рассказал нам лишь о юности героя. Пятнадцатилетний Файзулла — единственный наследник миллионера из Бухары, владельца многочисленных отар, тор-

гующего со многими странами мира, человека, который, сидя «колени в колени с эмиром», решал дела эмирата. Два года поисков и размышлений — после возвращения из частной московской школы Файзулла другими глазами взглянул на узкие улочки и привычную для отца и родственников жизнь родной Бухары — определяют всю дальнейшую судьбу молодого Ходжаева. Писатель выбрал для повести такой период жизни будущего революционера, в котором более всего «белых пятен», а значит, и возможностей для творческого домысла.

Сегодня, когда мы столько спорим о молодых поветриях в молодежной среде, об инфантилизме подростков конца 80-х, рассказ о пятнадцатилетнем Файзулле обретает особую злободневность. Чистота и цельность натуры позволила герою даже не заметить привычных искушений — властью, богатством, развлечениями. Ведь в узких улочках Бухары за деньги можно найти все — и полуподпольные курильни, и самые дорогие наркотики, и дешевых рабынь. После смерти отца Файзулла — полновластный хозяин своей судьбы и огромного состояния. Даже родная мать называет любимого сына на «вы» и не вмешивается в его дела. И сразу вспоминаются известные сюжеты приключенческой литературы для подростков. Сколько пятнадцатилетних мальчишек мечтали найти клад! Но юного миллионера Файзулла, равнодушного к деньгам, волнует другое — он ищет себя, смысл и цель своей жизни. Ну что же, за прошедшие три четверти века бескорыстие сильно выросло в цене, и доверчивая искренность молодого Ходжаева пробуждает сочувствие у самого искушенного читателя. Файзулла в течение двух лет находится как бы на распутье, но итог его поисков предначертан, ибо, как заметил один из героев повести, русский революционер Шумилов, — «из каких только топей не выводит человека любовь к родной земле!». А именно это качество, как убеждает нас автор, основа личности наследника знаменитого торгового дома.

Чтобы добиться подлинной убедительности образа юного героя, автор придает всей повести форму внутреннего монолога. Писатель показывает, как умение взглянуть на себя со стороны помогает юноше лучше ориентироваться в окружающей жизни, глубже понимать других людей. Тонко переданы автором сложные психологические состояния юного Файзуллы, сомневающегося в каждом своем поступке и слове и все-таки осмеливающегося бросить в лицо своему наставнику жесткие обвинения: «... внутри него сидел другой Файзулла, маленький, как отражение на крышке фарфорового чайника, и удивлялся: как это он говорит такое Шораджабу». Прием, с помощью которого А. Мухтар передает внутреннюю раздвоенность

героя, близок художественной системе русских прозаиков поколения «сорокалетних». Вспоминается похожий эпизод из романа Сергея Иванова «Из жизни Потапова», опубликованного в начале 80-х на страницах «Нового мира»: «В нем жили сейчас как бы два человека. Один был огромный, умный, он занимал почти всего Потапова... И еще в Потапове сидел другой человек... он все знал и все думал правильно. Но поскольку он был маленький и слабый, то предпринять ничего по-настоящему не мог».

А. Мухтар тщательно описывает быт, с энциклопедической основательностью воссоздает обычаи, царящие в старой Бухаре. Причем почти каждая из деталей в его повествовании тонко сцеплена с другой и играет на общую сверхзадачу-замысел: ярче изобразить то сложное время, выразительнее раскрыть нравы и характеры героев. Даже одежда персонажа становится под пером прозаика одной из психологических характеристик: «... халат в мелкую полоску надет поверх сугубо европейского темно-коричневого костюма, на ногах выворотные сапожки, какие носят состоятельные кишлачные жители, а на голове тончайшая белоснежная шелковая чалма». Причудливая смесь европейских увлечений и трогательная привязанность к тому, что напоминает о детстве, проведенном в кишлаке, в семье братьев матери... Наверное, если нарисовать неизменно точно и зримо описываемые А. Мухтаром костюмы его персонажей, можно составить целый альбом национальной одежды со множеством самостоятельных разделов — в одеяниях отразилась четкость социальной дифференциации персонажей. Этнографические описания органично «вживлены» в художественную ткань, ведь перед нами историческая повесть, а сегодняшний европеец слишком плохо представляет себе быт и традиции узбеков, чтобы можно было хоть в какой-то мере опереться на уже имеющиеся у читателя знания. Еще тридцать лет назад в одном из своих программных выступлений писатель заметил, что, читая роман, каждый из нас как бы путешествует по чужому краю, близко знакомится с этим народом, а значит — узнает много нового о его быте, обычаях, поверьях, привычках, психологии, своеобразии природы, самобытной культуре и истории. Вот почему столь часто обращается А. Мухтар к популярному со времен «Одиссеи», любимому восточной литературой приему путешествия, дороги (в разной степени использован он и в романе «Чинара», и в повестях «Узки улочки Бухары», «Молния над обрывом»).

Поэт и романтик, А. Мухтар и в прозе нередко стремится поднять бытовую деталь до уровня метафоры. Так, в самом начале своего путешествия в зарослях полыни замечает Файзулла труп

ишака, над которым кружатся вороны с клювами, как «трехгранный кинжал». Мотив смерти, из которой каждый хочет извлечь свою выгоду в этом корыстолюбивом мире, проходит через всю повесть. Не бескорыстно вьются предприимчивые знакомые у постели умирающего, а затем возле тела покойного миллионера Ходжаева. Управляющий графа Антоновского умудряется получать доход с беглых каторжников, в критический для себя момент им же преданных и утопленных. Ишаны устраивают эффектное зрелище из псевдолечения замученного болезнями человека. И, наконец, страшная исповедь одного из героев, долгое время бывшего «стервятником хумаюна» — похитителем трупов. Оказывается, и кража трупов из ямы, куда сбрасывали казненных по велению эмира-хумаюна, может стать доходным промыслом. Надо просто выложить добытый ночью труп на середину улочки и требовать у прохожих денег «на саван для раба божьего».

Можно ли в существе, способном на столь позорные, отвратительные действия, увидеть не чудовище, а сломенную личность, еще способную к нравственному возрождению? — будто спрашивает себя Файзулла, не осуждая, но пытаясь понять ступени падения, пройденные спасенной им от бессмысленных истязаний жертвой. В повести постоянно звучит тема маленького, раздавленного жестокой системой человека, утверждается неизбежность драматического конфликта феодального государственного аппарата и независимой творческой личности, заставляющие нас вспомнить, что именно А. Мухтар в свое время переводил «Медного всадника» А. Пушкина на узбекский язык.

«Узки улочки Бухары. Не пройдешь, не испачкав платья», — поется в народной узбекской песне. Старательно ограждаемая от иноземных влияний, Бухара последние несколько столетий в искусственно культивируемом замкнутом мирке. Город славных традиций, великой культуры, но в XVIII—XIX веках кипучая некогда жизнь Бухары все замедлялась. Судьба Файзуллы сложилась так, что ему удалось увидеть иные города и тем сильнее стало его желание сделать жизнь на родине лучше, честнее, справедливее.

Как заметила критик В. Панкина, у А. Мухтара почти нет героев — «среднячков». Избежать схем с пороками и добродетелями автору помогает то, что он оставляет за персонажами право «саморазоблачиться» в исповеди или внутреннем монологе. Не случайно многие узбекские критики (У. Нарматов, А. Тагаев, С. Ширинов) отмечали, что А. Мухтар — мастер выразительного диалога. При помощи одной лишь сочной и ярко индивидуальной речи героя умеет он создать характер, показать людей, принадлежащих к различным слоям обще-

ства, в разной степени владеющих литературным и народным языками. Правда, именно эти диалоги менее всего поддаются адекватному переводу. В целом же повесть «Узки улочки Бухары» очень хорошо переведена Александром Наумовым, талантливым поэтом, прожившим в Узбекистане более двадцати лет и основательно знающим восточную традицию и творчество писателя. Автор самого совершенного на сегодня перевода знаменитой повести Г. Гуляма «Озорник», А. Наумов помог зазвучать на русском языке десяткам стихов А. Мухтара, но впервые обратился к его прозе. Переводить прозаика, в последние годы не чуждающегося стилистического изыска, становится все сложнее. В самой стилистике повести, в прихотливоусложненном построении фразы, пытается писатель передать ощущение тесных улочек, закоулков Бухары.

По свидетельству самого А. Мухтара, наиболее известный из его романов «Чинара» задумывался как история «большой семьи, которая могла бы дать представление о традиционной культуре, духовном богатстве узбекского народа». Тема семьи очень важна и для повести «Узки улочки Бухары»: в современном городе, где родство по крови все чаще сводится к обмену полезными услугами, семья показана как реальная гуманная сила. Недаром именно дядя Шахабиддин, рискуя многим, спасает своего доверчивого и наивного племянника от верного ареста. Притягательно-милым и нежным рисует автор образ матери Файзуллы, без слов чувствующей его состояние и оправдывающий его метания. В защиту традиционной семьи, где главное — духовность и жертвенность, выступают вслед за А. Мухтаром и узбекские прозаики младшего поколения: Эркин Агзамов (повесть «Ответ»), Мурад Мухаммад Дост (повесть «Мустафа»), Анвар Абиджан (повесть «Блестящая пуговица»).

Итак, мы расстаемся с Файзуллой в тот момент, когда ему, невинному, чудом удалось избежать зиндана (тюрьмы), куда приказал его бросить сам эмир, помнивший молодого Ходжаева четырехлетним малышом. В этом смысле финал повести знаменателен — в нем чувствуется скрытый намек: четверть века спустя другой деспот придет за Файзуллой своих людей, и тогда, в 1938, ему уже ничего не поможет — ни заслуги перед революцией и партией, ни высокий пост, ни родные, любящие люди. А пока ускользнувшего от стражников героя приветствует рассвет. Да, завершая повесть, не смог А. Мухтар отказаться от одного из своих любимых образов. Как заметил самаркандский литературовед Илхом Хасанов, в романе «Время в моей судьбе» писатель более пятидесяти раз использовал образы горизонта и зари, пытаясь каждый раз обыгрывать их по-

новому. Конечно, А. Мухтара можно понять — в течение столетий солнце оставалось излюбленным образом поэтов Востока, возрождаясь в сотнях, тысячах газелей. Но всем нам следует, очевидно, почаще вспоминать известное утверждение, что полная победа метафоры легко оборачивается ее поражением.

Беспокоит и стремление аксакала узбекской прозы абсолютно все прояснить и досказать. Нужно ли это? Сегодняшний читатель привык понимать автора с полуслова. Да и сам А. Мухтар в свое время начинал литературную деятельность с... загадки. С двенадцати лет выступая как корреспондент в местной печати, в пятнадцать он опубликовал в газете «Ленин учкуни» загадку в стихах. Вспоминая себя в пятнадцать лет — в возрасте своего Файзуллы! — писатель рассказывает: «Да и в самом деле, в ту пору вся жизнь для меня была загадкой. Лермонтов — загадка, девушка — загадка, математика, рифмы, музыка — загадка. И смерть Кирова, и Ван дер Люббе, поджегший рейхстаг, — тоже загадки...» Хотелось бы, чтобы в прозе Аскада Мухтара надосказанности, загадочности и доверия к своему читателю было все-таки несколько больше.

ЛОЛА САДЫКОВА

Содержание

3

Молния над обрывом.

Перевод с узбекского А. Наумова

83

Узки улочки Бухары.

Авторизованный перевод с узбекского А. Наумова

232

Л. Садыкова

О Юном Файзулле.

Для детей среднего школьного возраста

На русском языке

Мухтаров Аскад

Молния над обрывом

Узки улочки Бухары

П о в е с т и

Перевод с узбекского

Редактор Г. Г. Х а й д а р о в а

Художник В. М. В а л и е в

Художественный редактор Ф. К. Б а ш а р о в а

Технический редактор Е. В. Т о л о ч к о

Корректор Э. Д. Б а й г и л ь д и н а

ИБ № 0082

Сдано в набор 01.10.87. Подписано в печать 11.05.88.
Формат 84×108¹/32. Бумага типографская №1. Гарнитура
Банниковская. Высокая печать. Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-оттис-
ков 12,6. Уч.-изд. л. 13,42. Тираж 45000 Заказ № 4017
Договор № 64—87. Цена 95 к.

Издательство «Юлдузча», 700000, г. Ташкент, ГСП, ул. Ленина, 41.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по
делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ташкент—
700129, ул. Навои, 30.

Мухтар, Аскад.

Молния над обрывом: (Повести: Пер. с узб.): Для детей среднего школьного возраста. — Т.: Юлдузча, 1988. — 240 с.

Герой повести «Молния над обрывом» Ахмедов-ака, так называла его детдомовская ребятня, не был ни воспитателем, ни педагогом, а всего лишь завхозом. Но тем не менее оставил неизгладимый след в душах ребят, запомнился им на всю жизнь.

Повесть «Узки улочки Бухары» — о становлении и формировании характера Файзуллы, юноши, который приходит к неизбежному выводу: за счастье и свободу людей надо бороться.